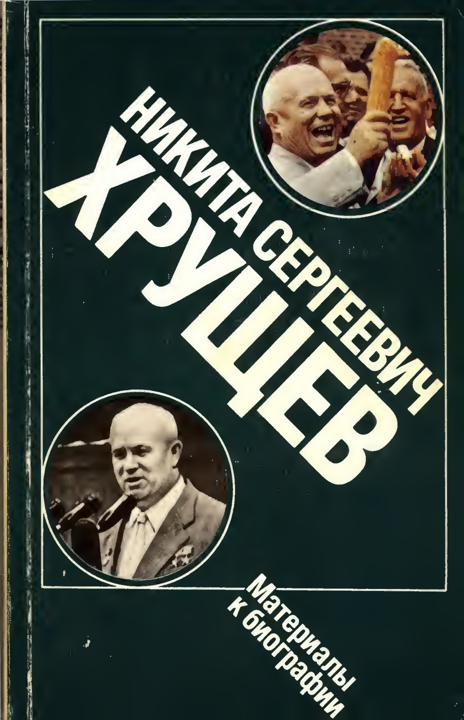

Никита Сергеевич
Хрущев
Материалы
к биографии



НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ХРУЩЕВ

Материалы к биографии

Москва
Издательство
политической
литературы
1989

ББК 66.61(2)8
Х95

Составитель кандидат исторических наук
Ю. В. Аксютин

Х95 Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии /Сост. Ю. В. Аксютин.— М.: Политиздат, 1989.— 367 с.: ил.
ISBN 5—250—00666—3

В сборник вошли очерки, статьи, воспоминания о видном политическом деятеле Н. С. Хрущеве, опубликованные в советской прессе. Разнохарактерность этих материалов, разнообразие оценок личности и деятельности Н. С. Хрущева авторами — историками, экономистами, публицистами, деятелями литературы и искусства — дают возможность составить более полное представление об этом непростом человеке, десять лет стоявшем у руководства партией и страной.
Книга рассчитана на массового читателя.

Х $\frac{0902020000-087}{079(02)-89}$

ББК 66.61(2)8

ISBN 5—250—00666—3

© ПОЛИТИЗДАТ, 1989

ОТ РЕДАКЦИИ

Время Хрущева — один из наиболее значительных и непростых периодов нашей истории. Значительных — потому что перекликается с идущей сейчас в стране перестройкой, с нынешним процессом демократизации. Непростых — потому что касается десятилетия, которое поначалу называлось «славным», а потом осуждено как время «волюнтаризма» и «субъективизма». А ведь именно тогда состоялись XX и XXII съезды партии, отразившие острые политические борения и определившие новый политический курс страны. Тогда же сделаны первые шаги к возрождению ленинских принципов и очищению идеалов социализма, начался переход от «холодной войны» к мирному сосуществованию, заново открыто окно в современный мир. На том крутом изломе истории общество вдохнуло полной грудью воздух обновления — и замерло... то ли от избытка, то ли от нехватки кислорода.

Долго, очень долго об этих бурных годах не принято было говорить. Как будто чья-то рука начисто вырвала целую главу из нашей летописи. Почти 20 лет лежало табу на имени Н. С. Хрущева. Но жизнь берет свое. В докладе о 70-летии Октября «Октябрь и перестройка: революция продолжается», с которым выступил М. С. Горбачев, мы услышали давно ожидаемое слово о том времени — что тогда было сделано, недоделано или сделано не так. О том, что дожило до конца 80-х, а что размыто, утрачено в годы застоя.

Что же это был за человек, Никита Сергеевич Хрущев?

Родился в 1894 г. в селе Калиновка Курской губернии, рано начал трудовую жизнь. С 12 лет уже работал на заводах и шахтах Донбасса. О своей рабочей молодости и слесарном ремесле он часто и, кажется, не без удовольствия вспоминал. В 1918 г. Хрущева принимают в партию большевиков. Он участвует в гражданской войне, а после ее окончания находится на хозяйственной

и партийной работе. Был делегатом от Украины на XIV и XV съездах ВКП(б). В 1929 г. поступил учиться в Промышленную академию в Москве, где был избран секретарем парткома. С января 1931 г.— секретарь Бауманского, а затем Краснопресненского райкомов партии, в 1932—1934 гг. работал сначала вторым, потом первым секретарем МГК и вторым секретарем МК ВКП(б). На XVII съезде ВКП(б), в 1934 г., Хрущева избирают членом ЦК, а с 1935 г. он возглавляет Московские городскую и областную партийные организации. В 1938 г. становится первым секретарем ЦК КП(б) Украины и кандидатом в члены Политбюро, а еще через год — членом Политбюро ЦК ВКП(б).

В годы Великой Отечественной войны Хрущев был членом военных советов Юго-Западного направления, Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Кончил войну в звании генерал-лейтенанта. С 1944 по 1947 г. работал Председателем Совета Министров (СНК) Украинской ССР, затем вновь избран первым секретарем ЦК КП(б)У.

С декабря 1949 г. он — снова первый секретарь Московского областного и секретарь Центрального комитетов партии. В марте 1953 г., после смерти Сталина, целиком сосредоточивается на работе в ЦК, а в сентябре 1953 г. избирается Первым секретарем ЦК. С 1958 г.— Председатель Совета Министров СССР. На этих постах находился до 14 октября 1964 г. Октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК освободил Н. С. Хрущева от партийных и государственных должностей «по состоянию здоровья». Персональный пенсионер союзного значения. Умер 11 сентября 1971 г.

Такова краткая биография Н. С. Хрущева.

Так в чем же сложность и противоречивость человека, с именем которого мы связываем один из переломных моментов нашего недавнего прошлого?

Историческая заслуга Н. С. Хрущева заключалась прежде всего в разоблачении культа личности Сталина, в активных попытках демократизировать общество и реформировать народнохозяйственный механизм, в большом внимании к социальным проблемам, к человеку. С его именем мы связываем поворот в международной политике от «холодной войны» к мирному сосуществованию, к разрядке...

Но при этом он оставался порождением административно-командной системы и был наделен всеми чертами

сформировавшей его эпохи. Его психология, восприятие действительности содержали в себе те самые стереотипы, которые он пытался разрушить. Одной ногой шагнув в демократию, другой он увяз в трясине догматизма и субъективизма. Его поиски путей реорганизации политической системы не опирались на коллективное мнение партии и общества. Импонирующая нам сегодня раскованность Никиты Сергеевича, его политическая смелость, энергия и порой необходимая политику готовность идти на риск уживались в нем с недостатком общей культуры, склонностью к поспешным и необоснованным решениям, грубостью. Все это, вместе взятое, определило трагедию его личности.

Ко всему прочему, Хрущев был великим утопистом XX столетия. Он искренне верил, что уже в наше время, в ближайшие десятилетия, можно привести общество к коммунизму. Назначенный срок наступил, но...

И все же мы сегодня часто вспоминаем времена «хрущевской оттепели», ищем истоки многих нынешних перемен в «том» десятилетии, сравниваем «то» обновление с нынешним очистительным процессом. Значит, не зря все это было? Хорошо сказал о Хрущеве известный советский кинорежиссер М. Ромм: «Пройдет совсем немного времени, и забудется и Манеж, и кукуруза... А люди будут долго жить в его домах. Освобожденные им люди... И зла к нему никто не будет иметь — ни завтра, ни послезавтра. И истинное значение его для всех нас мы осознаем только спустя много лет... В нашей истории достаточно злодеев — ярких и сильных. Хрущев — та редкая, хотя и противоречивая фигура, которая олицетворяет собой не только добро, но и отчаянное личное мужество, которому у него не грех поучиться всем нам...»

В предлагаемый читателю сборник вошли разнохарактерные материалы, опубликованные в последнее время в советской прессе,— мемуары, аналитические статьи, эпизоды биографии Н. С. Хрущева, личные впечатления о нем, заметки и т. п.,— дающие пищу для размышлений над его делами и судьбой. Кроме того, в книгу включены и наиболее интересные читательские отклики на некоторые публикации. Конечно, сборник не ставит задачу ответить на все вопросы о Хрущеве, он касается в основном тех 10 лет, когда Никита Серге-

евич руководил партией и страной. На некоторых материалах лежит налет поспешности или субъективности, иногда они в чем-то повторяют друг друга или, наоборот, расходятся в деталях, порой содержат противоположные оценки. Но все вместе они свидетельствуют, что Хрущев был яркой, своеобразной, противоречивой личностью, оставившей заметный след в душах и памяти людей. Есть среди этих материалов и такие, в которых о самом Никите Сергеевиче говорится вроде бы мало, но воссоздается обстановка, атмосфера того времени. Чтобы избежать явных повторов, часть включенных в сборник материалов публикуется с сокращениями. В процессе подготовки издания авторы внесли в тексты необходимые добавления и уточнения. В сборник вошли также фрагменты из воспоминаний, прямо не относящихся к Хрущеву, но в той или иной степени освещающих его деятельность. Названия некоторых отрывков и фрагментов даны составителем.


СТРАНА ЖАЖДАЛА
ПЕРЕМЕН...

Партия провела большую работу в связи с разоблачением культа личности Сталина и преодолением вредных последствий этого культа. Центральный Комитет пошел на это, проявив понимание ответственности и мужество. Помню, когда мы обсуждали этот вопрос во время XX съезда, у нас тогда в руководстве была очень сильная борьба. Мы поставили вопрос о том, что надо партии сказать правду, а некоторые люди, чувствовавшие большую вину за преступления, совершенные ими вместе со Сталиным, боялись этой правды, они боялись своего разоблачения. После долгих споров они согласились поставить этот вопрос на съезде.

Это был большой и сложный вопрос, вопрос огромной политической важности. Конечно, если рассуждать по-обывательски, то зачем было поднимать этот вопрос: Сталина уже нет, многих людей, которые оказались жертвами репрессий, тоже нет. Государство растет, сложилось руководство, и зачем все ворошить, поднимать, перестраивать? Но в политике нельзя терпеть обывательского подхода к делу. Надо было поднимать и обсуждать этот вопрос не для тех, которых уже нет, а для тех, которые живут, и для тех, которые будут жить. Здесь мы боролись не за свои личные интересы, а за партию, за чистоту ленинской партии, потому что к партии народ относится священно, партия — это самая высокая и великая правда, это — мозг и совесть народа, вождь народа, организатор народа!

Некоторые люди, входившие тогда в Президиум ЦК, говорили: а как съезд поймет, как партия поймет? Мы сказали им:

— Правильно поймут и съезд, и вся партия! Мы должны сказать правду о культе личности именно на XX съезде партии, потому что это первый съезд после смерти Сталина... Если ошибки и недостатки, которые имели место в период культа личности Сталина, не вскрыть и не осудить, то значит одобрить, узаконить их на будущее.

Наша партия на XX съезде осудила культ личности и наметила ленинский курс своей политики, она развернула работу по восстановлению ленинских принципов руководства и норм партийной и государственной жизни.

Н. С. ХРУЩЕВ

Ф. Бурлацкий

ХРУЩЕВ. ШТРИХИ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ

Как могло случиться, что после Сталина к руководству страной пришел именно Хрущев? Вроде бы Сталин сделал все, чтобы «очистить» партию от любых своих противников — подлинных и мнимых, «правых» и «левых». В 50-х годах передавалась из уст в уста якобы одна из его афористичных фраз: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы». В результате в живых остались, казалось бы, самые верные, самые надежные. Как же Сталин не разглядел в Хрущеве могильщика своего культа?

В последние годы, незадолго до кончины, Сталин подверг опале Молотова и Микояна, готовя им, вероятно, такую же участь, какая постигла других руководителей, уничтоженных при их помощи и поддержке. Создание на XIX съезде Президиума ЦК КПСС, заменившего более узкое по своему составу Политбюро, было шагом к «отстрелу» следующей генерации засидевшихся соратников. Но Сталин — парадокс! — «не грешил» на Хрущева.

Старческое ослепление? Пожалуй, нет. Никколо Макиавелли, этот блистательный разоблачитель тирании, бросил некогда фразу: «Брут стал бы Цезарем, если бы притворился дураком». Думается, Хрущеву каким-то образом удалось притвориться человеком вполне ручным, без особых амбиций. Рассказывали, что во время длительных ночных посиделок на ближней даче в Кунцеве, где вождь жил последние годы, Хрущев отплясывал гопака. Ходил он в ту пору в украинской косоворотке, изображая «щирого казака», далекого от каких-либо претензий на власть, надежного исполнителя чужой воли. Но, видимо, уже тогда Хрущев глубоко затаил в себе протест. И это выплеснулось на другой день после кончины Сталина.

Хрущев пришел к власти не случайно и одновременно случайно. Не случайно потому, что он был выразителем того направления в партии, которое в других условиях и, вероятно, по-другому оказалось представлено такими во многом несхожими деятелями, как Дзержинский, Бухарин, Рыков, Рудзутак, Киров. Это были сторонники развития нэпа, демократизации, противники насильственных мер в промышленности или в сельском

хозяйстве, а тем более в культуре. Несмотря на жестокие сталинские репрессии, это направление никогда не умирало. В этом смысле приход Хрущева был закономерным.

Но, конечно, здесь был и большой элемент случайности. Если бы Маленков столковался с Берией, если бы «сталинская гвардия» сплотилась в 1953 г., а не в июне 1957 г., не быть бы Хрущеву лидером. Сама наша история могла пойти по несколько иному руслу. Нам трудно сделать это допущение, но на самом деле все висело на волоске.

И все же история сделала правильный выбор. То был ответ на реальные проблемы нашей жизни. Все более нищавшая и, по сути, полуразрушенная деревня, технически отставшая промышленность, острейший дефицит жилья, низкий жизненный уровень населения, миллионы заключенных в тюрьмах и лагерях, изолированность страны от внешнего мира — все это требовало новой политики, радикальных перемен. И Хрущев пришел — именно так! — как надежда народа, предтеча Нового Времени.

Нас тогда глубоко волновало все, что было связано с XX съездом КПСС. Как решился Хрущев выступить с докладом о Сталине, зная, что подавляющее большинство делегатов будет против разоблачений? Откуда он почерпнул такое мужество и такую уверенность в конечном успехе? То был один из редчайших случаев в истории, когда политический руководитель поставил на карту свою личную судьбу и даже жизнь во имя высших общественных целей. В составе послесталинского руководства не было ни одного деятеля, который решился бы выступить с подобным докладом о культе личности. Хрущев, и только Хрущев, на мой взгляд, мог сделать это — так смело, так эмоционально, а во многих отношениях и так необдуманно. Надо было обладать натурой Хрущева — отчаянностью до авантюризма, надо было пройти через испытания страданием, страхом, приспособленчеством, чтобы решиться на такой шаг. Бесспорно, интересна его собственная оценка момента, прозвучавшая во время встречи с зарубежными гостями:

— Меня часто спрашивают, как это я решился сделать тот доклад на XX съезде. Столько лет мы верили этому человеку! Поднимали его. Создавали культ. И вдруг такой риск... Уж поскольку меня избрали Первым, я должен, обязан был сказать правду. Сказать

правду о прошлом, чего бы это мне ни стоило и как бы я ни рисковал. Еще Ленин нас учил, что партия, которая не боится говорить правду, никогда не погибнет. Мы извлекли уроки из прошлого и хотели бы, чтобы такие уроки извлекли и другие братские партии, тогда наша общая победа будет обеспечена.

Но дело было, конечно, не только в чувстве долга, о котором говорил Первый секретарь. Мне не раз приходилось слушать воспоминания Хрущева о Сталине. Это были пространные, нередко многочасовые размышления-монологи, как будто разговор с самим собой, со своей совестью. Он был глубоко ранен сталинизмом. Здесь перемешалось все: и мистический страх перед Сталиным, способным за один неверный шаг, жест, взгляд уничтожить любого человека, и ужас из-за невинно проливаемой крови. Здесь было и чувство личной вины, и накопленный десятилетиями протест, который рвался наружу, как пар из котла... Характерна в этом смысле его речь, произнесенная на банкете в Кремле, где присутствовали участники Совещания представителей коммунистических и рабочих партий в 1960 г.

Старшее поколение, конечно, помнит эту характерную личность, а младшее, наверное, никогда не видело даже его портретов. В ту пору ему было уже за 60 лет, но выглядел он очень крепким, подвижным и до озорства веселым. Его широкое лицо с двумя бородавками и огромный лысый череп, крупный курносый нос и сильно оттопыренные уши вполне могли принадлежать крестьянину из среднерусской деревни. Это впечатление, так сказать, простонародности усиливалось плотной полноватой фигурой и длинными руками, которые почти непрерывно жестикулировали. И только глаза, маленькие, серо-синие, с острым взглядом, глаза, излучавшие то доброту, то властность и гнев, только, повторяю, глаза выдавали в нем человека сугубо политического, прошедшего огонь, воду и медные трубы и способного к самым крутым поворотам.

Именно таким я увидел его тогда и таким запомнил, хотя больше все-таки привлекла меня сама речь. То, что я услышал, при мне повторялось по меньшей мере еще дважды в другой обстановке, более камерной, в присутствии всего нескольких человек. Но что удивительно — он повторял этот рассказ почти слово в слово.

— Когда Сталин умер, мы, члены руководства ЦК, приехали на ближнюю дачу в Кунцево. Он лежал на ди-

ване, и врачей возле него не было. В последние месяцы своей жизни Сталин редко прибегал к помощи врачей, он их боялся. Берия его, что ли, напугал, или сам он поверил, что врачи плетут какие-то заговоры против него и других руководителей. Пользовал его тогда майор из охраны, который был когда-то ветеринарным фельдшером. Он же и позвонил о кончине Сталина...

Стоим мы возле мертвого тела, почти не разговариваем, каждый о своем думает. Потом стали разъезжаться. В машину садились по двое. Первыми уехали Маленков с Берией, потом Молотов с Кагановичем. Тут Микоян и говорит мне: «Берия в Москву поехал власть брать». А я ему: «Пока эта сволочь сидит, никто из нас не может чувствовать себя спокойно». И крепко мне тогда запало в сознание, что надо первым делом Берию убрать. А как начать разговор с другими руководителями?..

И вот прошло время, и я стал объезжать по одному членов Президиума. Опаснее всего было с Маленковым, друзья ведь были с Лаврентием. Ну, я приехал к нему, так и так, говорю, пока он гуляет на свободе и держит в своих руках органы безопасности, у нас всех руки связаны. Да и неизвестно, что он в любой момент выкинет, какой номер. Вот, говорю, специальные дивизии почему-то к Москве подтягиваются.

И надо воздать должное Георгию — в этом вопросе он поддержал меня, переступил через личные отношения. Видимо, сам боялся своего дружка. А Маленков тогда был Председателем Совмина и вел заседания Президиума ЦК. Словом, ему было что терять, но в конце разговора он сказал: «Да, верно, этого не избежать. Только надо сделать так, чтобы не получилось хуже».

Потом я поехал к Ворошилову. Вот здесь сидит Клим Ефремович, он помнит. С ним пришлось говорить долго. Очень он беспокоился, чтобы не сорвалось все. Верно я говорю, Клим?

— Верно, верно,— громко подтвердил Климент Ефремович.— Только бы войны не было,— прибавил он почему-то не совсем кстати.

— Ну, насчет войны — это отдельный разговор,— заметил Первый.— Значит, поехал я тогда к Кагановичу, выложил ему все, а он мне так: «А на чьей стороне большинство? Кто за кого? Не будет ли его кто поддерживать?» Но когда я ему рассказал обо всех остальных, он тоже согласился.

И вот пришел на заседание. Сели все, а Берии нет. Ну, думаю, дознался. Ведь не сносить нам тогда головы. Где окажемся завтра, никто не знает. Но тут он пришел, и портфель у него в руках. Я сразу сообразил, что у него там! У меня на этот случай тоже было кое-что припасено...

Тут рассказчик похлопал себя по правому карману широкого пиджака и продолжал:

— Сел Берия, развалился и спрашивает: «Ну, какой вопрос сегодня на повестке дня? Почему собрались так неожиданно?» А я толкаю Маленкова ногой и шепчу: «Открывай заседание, давай мне слово». Тот побелел, смотрю, рта раскрыть не может. Тут я вскочил сам и говорю: «На повестке дня один вопрос. Об антипартийной, раскольнической деятельности агента империализма Берии. Есть предложение вывести его из состава Президиума, из состава ЦК, исключить из партии и предать военному суду. Кто «за»?» И первый руку поднимаю. За мной остальные. Берия весь позеленел — и к портфелю. А я портфель рукой цап! И к себе! Шутишь, говорю! Ты это брось! А сам нажимаю на кнопку. Тут вбегают два офицера из военного гарнизона Москаленко (я с ними договорился заранее). Я им приказываю: «Взять этого гада, изменника Родины, и отвести куда надо». И тут Берия стал что-то бормотать, бормотать... А ведь такой герой был других за холку брать и к стенке ставить. Ну, остальное вы знаете...

— Так вот, я хочу выпить,— тут он взял рюмку,— за то, чтобы такое никогда и нигде больше не повторилось. Мы сами смыли это грязное пятно и сделаем все, чтобы создать гарантии против подобных явлений в будущем. Я хочу вас заверить, товарищи, что мы такие гарантии создадим и все вместе пойдем вперед к вершинам коммунизма!

Впоследствии Хрущев многократно возвращался к своему рассказу об аресте Берии и вносил в него новые детали. Самые главные из них касаются реакции различных руководителей на предложение устранить этого палача. Колебался не только Ворошилов, долго приценивался Каганович, спрашивал настойчиво, кто за и кто против, и даже Микоян, с которым Хрущев, собственно, и начал первый разговор, считал вначале, что, быть может, Берия не безнадежен и еще сможет работать в коллективе. Несколько иначе выглядел и самый арест. В 1960 году Хрущев умалчивал о роли Г. К. Жукова,

поскольку он незадолго до этого добился его освобождения с руководящих постов. Позднее честность взяла верх над конъюнктурными соображениями. Хрущев признал, что главную роль в аресте сыграл Жуков вместе с Москаленко и другими военными. К слову, мне рассказывал интересный человек, В. Е. Лесничий, партийный работник одного из подмосковных научно-исследовательских центров, о выступлении Г. К. Жукова перед их коллективом. Жуков вспоминал о Берии, которого ненавидел всей силой своей неукротимой души.

По словам Жукова, в 11 часов в тот самый день, когда должны были взять Берию, раздался звонок. «Хрущев говорит: «Георгий Константинович, прошу приехать ко мне, есть очень важное дело». Сажусь в машину, приезжаю, открываю кабинет, он встает из-за стола, подходит ко мне, берет меня за руки и говорит: «Георгий Константинович, сегодня надо арестовать подлеца Берию. Ни о чем не расспрашивайте, я потом расскажу». Я вздохнул, закрыл глаза и сказал: «Никита Сергеевич, я жандармом никогда не был, но эту жандармскую миссию выполню с большим удовольствием. Что надо делать?» Хрущев сказал: «Вы берете с собой генералов, проводите их через Боровицкие ворота, приходите в приемную, где будет заседание Президиума, ждете звонка, заходите, берете его и сидите до трех часов утра, пока не будет снят весь караул, затем придет майор, назовет пароль, вы сдадите Берию. Вот и все».

Именно Хрущев по собственной инициативе выдвинул задачу создать прочные гарантии против рецидивов культа личности. Он вел бескомпромиссную борьбу за это внутри страны и на международной арене, не считаясь с теми издержками, которые такая борьба могла привнести в отношения с теми или иными странами, входившими в социалистический лагерь.

Главное значение Хрущев придавал идеологической стороне дела, необходимости до конца разоблачить культ личности, высказать правду о преступлениях 30-х годов и других периодов. Но сама эта правда, увы, была половинчатой, неполной. С самого начала Хрущев споткнулся на проблеме личной ответственности, поскольку многие в партии знали о той роли, которую сыграл он сам в преследовании кадров и на Украине, и в Московской партийной организации. Не сказав правды о себе, он не смог сказать всей правды о других. Поэтому ин-

формация об ответственности различных деятелей, не говоря уж об ответственности самого Сталина, за допущенные преступления носила однобокий, а нередко двусмысленный характер. Она находилась в зависимости от политической конъюнктуры. Например, разоблачая на XXII съезде КПСС В. Молотова и Л. Кагановича за избиение кадров в 30-х годах, Хрущев умалчивал об участии А. Микояна, который впоследствии стал его надежным союзником. Говоря о 30-х годах, Хрущев тщательно обходил период коллективизации, поскольку был лично замешан в перегибах того времени.

Хрущев стремился сформировать у всех членов Президиума ЦК общее отношение к культу Сталина. По его указанию каждый из выступивших на XXII съезде представителей руководства должен был определить свое отношение к этому принципиальному вопросу. После съезда, однако, оказалось, что многие из тех, кто метал громы и молнии против культа личности, легко пересмотрели свои позиции и вернулись, по сути, к прежним взглядам.

Проблема гарантий против режима личной власти натолкнулась на непреодолимое препятствие — ограниченность политической культуры самого Хрущева и тогдашней генерации руководителей. То была во многом патриархальная культура, почерпнутая из традиционных представлений о формах руководства в рамках крестьянского двора. Патернализм, вмешательство в любые дела и отношения, непогрешимость патриарха, нетерпимость к другим мнениям — все это составляло типичный набор вековых представлений о власти в России.

В этом отношении показательны события, последовавшие за июньским Пленумом 1957 г. На нем, как известно, представители старой, «сталинской гвардии» посредством так называемого «арифметического большинства» стали добиваться изгнания Хрущева. В результате голосования в Президиуме ЦК КПСС было принято решение об освобождении его с поста Первого секретаря. Это решение, однако, удалось поломать благодаря усилиям горячих сторонников Хрущева. Выдающуюся роль в разгроме сталинистов сыграл маршал Г. К. Жуков. Как рассказывали тогда, во время заседания Президиума ЦК КПСС Жуков бросил историческую фразу в лицо этим людям: «Армия против этого решения, и ни один танк не сдвинется с места без моего приказа». Эта фраза в конечном счете стоила ему политической карьеры.

Вскоре после июньского Пленума Хрущев добился освобождения Г. К. Жукова с поста члена Президиума ЦК КПСС и министра обороны СССР. Сделано это было в традиционном для того времени духе — в момент, когда маршал находился в зарубежной командировке. Ему не было предоставлено минимальной возможности объясниться, точно так же, как не было дано необходимого разъяснения партии и народу о причинах изгнания с политической арены самого выдающегося полководца Великой Отечественной войны. И причина изгнания была опять-таки традиционная — страх перед сильным человеком.

Сейчас, почти четверть века спустя, сравнивая период до и после октября 1964 г., мы лучше видим силу и слабость Хрущева. Главная его заслуга состояла в том, что он сокрушил культ личности Сталина. Это оказалось необратимым, несмотря на все трусливые попытки водворить пьедестал на прежнее место. Не вышло. Значит, вспашка была достаточно глубокой. Значит, пахарь трудился не зря. Мужественное решение о реабилитации многих коммунистов и беспартийных, подвергшихся репрессиям и казням в период культа личности, восстанавливало справедливость, истину и честь в жизни партии и государства. Мощный, хотя и не во всех отношениях эффективный и умелый, удар был нанесен по сверхцентрализму, бюрократизму и чиновному чванству.

Мирное сосуществование, провозглашенное на XX съезде КПСС, после потрясения в период карибского кризиса становилось все более прочной платформой для соглашений, деловых компромиссов с Западом. К эпохе «оттепели» восходят истоки Заключительного акта в Хельсинки, который закрепил итоги второй мировой войны и декларировал новые международные отношения, экономическое сотрудничество, обмен информацией, идеями, людьми.

Мне доводилось слышать, как Хрущев понимал свою роль в истории нашей страны. Он говорил, что Ленин вошел в нее организатором революции, основателем партии и государства, а Сталин, несмотря на свои ошибки, человеком, который обеспечил победу в кровавой войне с фашизмом. Свое предназначение Хрущев видел в том, чтобы дать мир и благосостояние советскому народу. Он не раз говорил об этом как о главной цели своей деятельности.

Проблема, однако, заключалась в том, что он неясно представлял средства для осуществления этих целей. Несмотря на весь свой радикализм, он отверг критическое замечание Пальмиро Тольятти, который советовал искать корни культа личности в сложившейся системе, хотя Тольятти конечно же не ставил вопроса о замене социализма капитализмом, а имел в виду только изменение режима личной власти.

Жажда новизны, деятельный характер были органическими чертами Хрущева. Широкая программа восстановления сельского хозяйства, создание совнархозов, интенсивное жилищное строительство, техническое перевооружение промышленности. Паспортная система в деревне, пенсионное обеспечение крестьян, повышение зарплаты низкооплачиваемым категориям трудящихся. Подготовка новой Программы партии, обновление основных законов, изменение принципов и стиля отношений с Западом. И даже знаменитая эпопея с кукурузой... Во всем отражался поиск своих путей и решений, его неуемный общественный темперамент. Хрущевское время было пропитано духовным возрождением, хотя процесс этот и носил явную печать прошлой эпохи, был противоречивым и нередко малоэффективным.

Во времена Хрущева положено начало перелому в развитии сельского хозяйства — повышены закупочные цены, резко уменьшено бремя налогов, стали применяться новые технологии. Освоение целины при всех недостатках сыграло свою роль в обеспечении населения продовольствием. Хрущев пытался повернуть деревню к зарубежному опыту, первой сельскохозяйственной революции. И даже его увлечение кукурузой было продиктовано благими намерениями, хотя и сопровождалось наивными крайностями. Худую роль сыграла также гигантомания в деревне, сокращение приусадебных хозяйств.

С именем Хрущева, напомню, связаны крупнейшие достижения в области науки и техники, позволившие создать фундамент для достижения стратегического паритета. До сих пор у всех перед глазами стоит встреча Юрия Гагарина с Хрущевым, ознаменовавшая прорыв нашей страны в космос.

В ту пору партия приступила к решению многих социальных проблем. Жизненный уровень населения в городе и деревне стал постепенно расти. Однако намеченные экономические и социальные реформы захлебнулись.

Серьезный удар по надеждам реформаторов нанесли трагические события в Венгрии в 1956 г. Но не последнюю роль сыграла и самоуверенность Никиты Сергеевича, его беспечность в вопросах теории и политической стратегии. «Хрущевизм» как концепция обновления социализма не состоялся. Если воспользоваться образом, который так любил главный оппонент Первого секретаря Мао Цзэдун, Хрущев ходил на двух ногах: одна смело шагала в новую эпоху, а другая безвылазно застряла в тине прошлого.

Вопрос о гарантиях против повторения где бы то ни было культа личности и его отрицательных последствий занял большое место при подготовке Программы партии. Мне довелось участвовать в этой работе. Помню, в частности, как готовилась записка в Президиум ЦК КПСС о переходе от диктатуры пролетариата к общенародному государству, что имело важное значение, поскольку стереотип диктатуры пролетариата использовался в 30-х годах для обоснования репрессий. Записка была направлена О. В. Куусиненом и вызвала буквально скандал среди многих руководителей. Я сидел в кабинете у Куусинена, когда один из членов руководства кричал ему по телефону: «Как вы могли покуситься на святая святых ленинизма — на диктатуру пролетариата?» И только благодаря энергичной поддержке Хрущева эта идея попала в Программу партии.

Один из практических выводов, если говорить о прошлом, был связан также с более последовательным осуществлением принципа сменяемости кадров. Этот вопрос вызвал больше всего споров. Идея ротации кадров, которая исходила непосредственно от Первого, претерпела ряд изменений. Было проработано не менее 10 вариантов формулировок, которые бы дали ей адекватное воплощение. Хрущев хотел создать хоть какие-то гарантии против чрезмерного сосредоточения власти в одних руках, «засиживания» руководителей, старения кадров на всех уровнях, начиная с первичных организаций и кончая верхним эшелоном. Что касается первичной организации, то это не вызвало особых споров. Но относительно ротации наверху мнения разошлись кардинальным образом. В этом пункте даже ему, с его авторитетом, упорством и настойчивостью, пришлось отступить.

В первоначальном проекте фиксировались принципы, согласно которым можно находиться в составе высшего руководства не больше двух сроков. Это вызвало бурные

протесты более молодой части руководителей. Им казалось крайне несправедливым, что представители старшего поколения, которые уже «насиделись», пытаются ограничить их возможности. В следующем проекте два срока были заменены на три, но и эта формулировка была отвергнута. В окончательном тексте весь замысел — создать новую процедуру сменяемости кадров — оказался препарированным до неузнаваемости.

Кроме того, немалую роль в этом сыграла и известная слабость Хрущева как руководителя. За ним давно закрепилась репутация человека, который ходит «в стоптанных тапочках». Была замечена еще в период его работы в Киеве, а затем в Москве неспособность разбираться в кадрах. Он был всегда склонен скорее полагаться на льстецов, чем на подлинных сторонников его реформаторских преобразований. Поэтому он окружал себя такими людьми, как, например, Н. Подгорный, которые в рот ему глядели и готовы были взяться за любое его поручение. Поэтому же ему мало импонировали самостоятельные, крупные личности, независимые характеры. Хрущев был слишком уверен в себе, чтобы искать опору в других. И это стало одной из причин его падения. Люди, которые в глубине души не разделяли его реформаторских взглядов, считали их проявлением некомпетентности или даже чудачеством, при первом же удобном случае избавились от него...

Правда, одно время Хрущев тянулся к более интеллигентным кадрам в партийном аппарате. Достаточно напомнить его отношение к Д. Шепилову, которого он выдвинул на посты секретаря ЦК, министра иностранных дел. Однако поведение Шепилова в ходе июньского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС навсегда отвратило Хрущева от «интеллигентиков».

Сыграли свою роль в отношении Хрущева с интеллигенцией и торопливость, стремление вмешаться в любой вопрос и быстро его решить. Тут он нередко оказывался игрушкой небескорыстных советчиков, а то и скрытых противников, готовивших его падение. Хорошо помню, что посещение им художественной выставки в Манеже было спровоцировано специально подготовленной справкой. В ней мало говорилось о проблемах искусства, зато цитировались подлинные или придуманные высказывания литераторов, художников о Хрущеве, где его называли «Иваном-дураком на троне», «кукурузником», «болтуном». Заведенный до

предела, Хрущев и отправился в Манеж, чтобы устроить разнос художникам. Таким же приемом тайные противники Хрущева втравили его в историю с Б. Пастернаком, добились через него отстранения с поста президента АН СССР А. Несмеянова * в угоду Лысенко, рассорили с многими представителями литературы, искусства, науки.

Человек идет дальше всего, когда он не знает, куда идет, говорили древние. Но шаг его при этом извилист и неровен — он то резко вырывается вперед, то сильно откатывается обратно. Так выглядели многие экономические и социальные реформы Хрущева.

Экономическая политика оставалась одним из наиболее уязвимых мест в его деятельности. Он видел задачу в основном в изменении методов руководства экономикой на аппаратном уровне — в Госплане, совнархозах, министерствах, но не понимал значения глубоких структурных реформ, которые меняют условия труда и жизни непосредственных производителей — рабочих, крестьян, научно-технической интеллигенции.

Особенно неблагоприятно такой подход сказался при подготовке Программы партии 1961 г. Самые большие споры вызвало предложение включить в Программу цифровые материалы об экономическом развитии страны и ходе экономического соревнования на мировой арене. С этим предложением приехал на одно из заседаний председатель Государственного научно-экономического совета Совмина СССР А. Засядько. Доклад, который он сделал в рамках рабочей группы, показался всем участникам легкомысленным и ненаучным. Выкладки о темпах развития советской экономики и экономики США фактически были взяты с потолка — они выражали желаемое, а не действительное.

Однако сам Засядько легко положил конец разгоревшейся дискуссии. Он открыл первую страницу книжки в синем переплете с машинописным текстом примерно на 80 страницах и показал резолюцию: «Включить в Программу» и знакомую подпись Первого. Так в Программу партии оказались включены цифровые выкладки о том, как мы в 80-х годах догоним и перегоним Соединенные Штаты. Порывы были высокие, но, как говорится, кроме амбиций нужна еще и амуниция.

* В 1961 г. А. Н. Несмеянова на посту президента АН СССР сменил М. В. Келдыш.

Надо, впрочем, попытаться представить себе общий дух того времени. Хотя мало кто верил в цифры Засядько, энтузиазма и оптимизма у нас хватало. И базировались эти чувства вовсе не на пустом месте, все были убеждены, что принимаемая Программа открывает этап крупных структурных преобразований и сдвигов — иначе зачем было бы принимать и утверждать новую Программу. И даже уход Хрущева не остановил дела. В сентябре 1965 г. состоялся-таки Пленум ЦК КПСС о хозяйственной реформе. Отрицательное отношение к ней Брежнева свело, однако, на нет усилия предыдущей эпохи.

Еще хуже обстояло дело с преобразованиями в области государственного управления и структуры партийного руководства. Кто «подсунул» Хрущеву идею разделения обкомов и райкомов партии на промышленные и сельскохозяйственные? Интуитивно я убежден, что это было сделано не без злого умысла — чтобы окончательно подорвать его авторитет среди партийных руководителей.

Названные ошибки были поставлены Хрущеву в вину на октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС. На нем сложился странный симбиоз политических сил — от сторонников последовательного продвижения по пути XX съезда до консерваторов и затаившихся сталинистов, все они сплотились против лидера, который вывел «наверх» большинство из них. Последующие события не оставили сомнений в том, что Хрущев был отстранен не столько за волюнтаризм, сколько за неуемную жажду перемен. Лозунг «стабильности», выдвинутый преемниками, надолго затормозил назревшие реформы. Само слово «реформа», как и упоминание XX съезда, стало опасным и стоило многим сторонникам этого курса политической карьеры.

Время не рассеяло бесчисленные мифы вокруг имени Хрущева у нас и за рубежом. Разделив судьбу других реформаторов, Хрущев не снискал объективного признания в массовом сознании. Народ, который когда-то возвышал Ивана Грозного и осуждал Бориса Годунова, не мог принять после Сталина общественного деятеля, лишенного мистической магии, земного и грешного, подверженного ошибкам и заблуждениям. Шолохову еще в период «оттепели» приписывали фразу о Сталине: «Конечно, был культ, но была и личность». То был скрытый упрек Хрущеву как куда менее значи-

тельной фигуре. Упрек человеку, который будто бы, подобно шекспировскому Клавдию, стащил корону, валявшуюся под ногами.

А тем временем в странах Запада Никиту Хрущева ставили на одну ступеньку с Джоном Кеннеди и папой Иоанном XXIII и видели истоки ухудшения международного климата в конце 60-х годов в том, что эти лидеры по разным причинам сошли с политической арены. Появилось множество книг, посвященных анализу «хрущевизма» как нового течения в социализме.

Можно было бы сказать — нет пророков в своем Отечестве, но это было бы неточно. Вопрос глубже и сложнее. Пожалуй, ближе других к оценке Хрущева подошел Эрнст Неизвестный, с которым Хрущев вел свою кавалерийскую полемику в Манеже. Созданный скульптором памятник на могиле Хрущева — бронзовая голова на фоне белого и черного мрамора досок — удачно символизировал противоречивость «оттепели» и ее главного героя.

Отвечая на вопрос, почему в 60-х годах реформы потерпели поражение, можно было бы сказать и так: консервативные силы смогли взять верх над реформаторами потому, что аппарат управления да и все общество были еще не готовы к радикальным переменам. Но это слишком общий ответ. Нужно попытаться выяснить, чем воспользовались консерваторы.

Одна из ошибок состояла, на мой взгляд, в том, что поиск концепции реформ и путей их осуществления был основан на традиционных административных и даже бюрократических методах. Хрущев обычно давал поручения о «проработке» тех или иных проблем — экономических, культурных, политических — министерствам, ведомствам, то есть тому самому аппарату управления, который должен был сам ограничить свою власть. Аппарат же всегда находил способ прямыми, косвенными, двусмысленными решениями уберечь себя от контроля.

Более или менее удачные реформы как в социалистических странах, так и в капиталистических обычно намечались группой специалистов, главным образом ученых и общественных деятелей, которые работали под руководством лидера страны. Так было, скажем, в Венгрии, Югославии, Китае. В Японии я встречался с профессором Охита, который считается автором японского «чуда». В ФРГ план реформ был составлен в свое

время профессором Эрхардом, который впоследствии стал канцлером страны.

Второе — «народ безмолвствовал». Теперь, опираясь па опыт гласности, мы особенно ясно видим, как мало было сделапо, чтобы проинформировать людей о прошлом, о реальных проблемах, о намечаемых решениях, не говоря уж о том, чтобы включать самые широкие общественные слои в борьбу за реформы. Сколько раз слышал в эту пору: «А чем Хрущев лучше Сталина? При Сталине хоть порядок был, бюрократов сажали и цены снижались». Не случайно в момент октябрьского Пленума ЦК КПСС в 1964 г. едва ли не большинство во всем обществе вздохнуло с облегчением и с надеждой ожидало благоприятных перемен.

И последний урок. Оп касается самого Хрущева. Этот человек, острого природного политического ума, смелый и деятельный, не устоял перед соблазном воспевания собственной личностп. «Наш Никита Сергеевич!» Не с этого лп началось грехопадение признанного борца с культом? Прилипалы топили его в море лести и восхвалений, получая за это высокие посты, высшие награды, премии, звания. И не случайно, чем хуже шли дела в стране, тем громче и восторженнее звучал хор прилипал и льстецов об успехах «великого десятилетия».

Древние говорили: «Судьба человека — это прав его». Никита Хрущев стал жертвой собственного права, а не только жертвой среды. Торопливость, скоропалительность, эмоциональность были непреодолимыми его чертамп.

Мне рассказывал один из помощников Хрущева об удивительном разговоре, который состоялся у его шефа с Уинстоном Черчиллем. Это было во время визита Хрущева и Булганина в Англию в 1956 г. Они встретились с Черчиллем, помнится, па приеме в советском посольстве. Вот что сказал старый британский лев: «Господин Хрущев, вы затеваете большие реформы. И это хорошо! Хотел бы только посоветовать вам не слишком торопиться. Нелегко преодолеть пропасть в два прыжка. Можно упасть в нее». Я рискнул бы добавить от себя: пропасть нельзя преодолеть и тогда, когда не ведаешь, на какой берег собираешься прыгнуть.

Литературная газета, 1988, № 8;
Новый мир, 1988, № 10

А. Бовин

СТРАНА ЖАЖДАЛА ПЕРЕМЕН...

После тяжелейшей войны, после долгих лет сталинской диктатуры страна жаждала перемен. Урожайность зерновых была примерно 8 центнеров с гектара. Промышленность требовала технического перевооружения. Люди остро нуждались в жилье, продуктах питания, товарах широкого потребления. И чем дальше в прошлое отходил энтузиазм победы, тем рельефнее проступали простые, будничные, касающиеся всех проблемы.

Н. С. Хрущев, как мне кажется, понимал это. Понимал и пытался поправить положение.

Клин клином вышибают. Арест и расстрел Берии и его ближайших сообщников были исполнены в классической сталинской манере. Но они стали предвестниками новых времен.

Мужественный, пронзительно откровенный, ошарашивающий доклад Н. С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда был первым — и поэтому самым трудным — шагом к объективной, партийной оценке Сталина. Осуждение сталинского террора, восстановление законности заметно оздоровили обстановку в партии и стране. Был открыт путь к переменам — и прежде всего к переменам в политическом режиме...

К сожалению, инерцию старого преодолеть не удалось. «Оттепель» осталась «оттепелью». Весна не наступила. Ленинские принципы партийной и государственной жизни не были восстановлены до конца. Сказывались преимущественно «верхушечный» характер перемен, острая борьба в руководстве партии, сильные позиции тех, кто стремился свести к минимуму резонанс от решений XX съезда КПСС. Сказывалась неподготовленность широкой партийной общественности, народа к столь крутой переоценке недавнего прошлого. Сказывалось и давление руководителей многих коммунистических партий, которые опасались, что наращивание критики культа личности будет использовано буржуазией для ослабления авторитета и влияния коммунистов.

Хрущев метался. Со свойственной ему импульсивностью то громил художников-«абстракционистов», ругал Евтушенко и Вознесенского, давал команду уда-

рить по «ревизионистам», остановить нарастающий поток критики сталинизма, то — как это было на XXII съезде — снова начинал яростные атаки на Сталина...

Столь же импульсивный, взрывной, часто непродуманный характер имела реформаторская деятельность Хрущева. Он многое начал делать для того, чтобы вывести сельское хозяйство из прорыва, модернизировать промышленность, улучшить жизнь людей. Стала меняться вся атмосфера в стране. Но его постоянно заносило. Кукуруза — прекрасная вещь. Нужная очень. Но заставлять выращивать ее в Архангельской области значило дискредитировать идею... Великолепны, видимо, и торфоперегнойные горшочки. Но видеть в них панацею, волшебную палочку-выручалочку значило пустить дело под откос.

Сделать более конкретным, эффективным партийное руководство промышленностью и сельским хозяйством — полезное дело. Но разъединить, разъять партию и ее аппарат значило рубить сук, на котором сидишь.

Подвела Хрущева и традиционная, впитанная в сталинские годы вождистская психология, неготовность всерьез принять коллективное руководство. Борец с культом личности сам оказался его жертвой. Некритическое отношение к самому себе, попустительство славословию в свой адрес, самолюбование подрывали авторитет Хрущева, служили пищей для злых насмешек и анекдотов.

Величие Н. С. Хрущева в том, что он решился сказать правду о сталинских преступлениях и взял курс на обновление, очеловечение социализма. Его слабости — непоследовательность, колебания, вера в собственную непогрешимость. Он не выдержал испытания властью и лишился ее.

В октябре 1964 г. Пленум ЦК КПСС освободил Хрущева от партийных и государственных должностей «по состоянию здоровья». С докладом на Пленуме выступил М. А. Суслов. В докладе были правильные, справедливые оценки. Основной мотив критики Первого секретаря ЦК КПСС — нарушение коллегиальности, коллективности руководства, нежелание считаться с мнением товарищей, возрождение «культовой» атмосферы, а также дестабилизация общей обстановки из-за непродуманных реформ и частой смены кадров. Труд-

но сказать, насколько искренни были докладчик и те, кто ему аплодировали, каковы были их действительные намерения. Если же отвлечься от намерений, если встать на почву фактов, то мы увидим, что прозвучавшая на октябрьском Пленуме ЦК КПСС критика в значительной мере оказалась лицемерной.

После ухода Хрущева давление сталинистов многократно усилилось. Отношение Брежнева к этой проблеме, насколько я могу судить, было неоднозначным. Как политик, он понимал, что «полномасштабная», гласная, точнее, громогласная реабилитация Сталина невозможна, что она окажет в целом отрицательное воздействие на обстановку в стране, на авторитет СССР за рубежом. Но как человек, сформировавшийся в сталинские годы и Сталиным выдвинутый на руководящие посты, он симпатизировал Сталину и внутренне не мог принять его развенчание. В этом он находил полную поддержку многих товарищей из Политбюро и Центрального Комитета, которые прошли сходный жизненный путь и примерно одинаково оценивали Сталина. Имя Сталина стало все чаще всплывать в мемуарной литературе, в различного рода книжках и статьях...

В отличие от Сталина или Хрущева Брежнев не обладал яркими личностными характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата.

Если же иметь в виду человеческие качества, то, по моим наблюдениям, Брежнев был в общем-то неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, хлебосольным хозяином... Так было примерно до первой половины 70-х годов.

А дальше — дальше Брежнев стал разрушаться, разваливаться как личность и как политик. Всякая власть портит, абсолютная власть портит абсолютно. Но то, что раньше было трагедией, теперь стало фарсом. Неумеренное славословие принимало гротескные формы. Обилие наград и званий превысило все допустимые «нормативы». Явные следы болезни, которой официально вроде бы и не было, делали ситуацию вообще какой-то ирреальной, фантасмагорической. Брежнев полностью утратил самокритичный контроль за своими действиями. Верил в собственное величие...

У меня такое впечатление, что все или почти все коммунисты — неважно, в «верхах» или на «низах»,— все, кто способен думать, отдавали себе отчет в нелепости, парадоксальности, постыдности, наконец, происходящего. И все-таки — вот оно, самое страшное, самое пугающее наследие Сталина! — вставали и аплодировали, аплодировали и вставали...

Предвижу вопрос: а где же народ, массы? Почему опять Хрущев и Брежнев, Андропов и Черненко? Почему снова просчеты и ошибки? Ведь народ — рабочие, крестьяне, интеллигенция — осваивал целину, строил КамАЗ и БАМ, создавал ракеты и спутники. Народ продолжал строительство социализма...

Да, народ продолжал... Но все дело в том, что, как и раньше, народ был лишен права принимать решения по фундаментальным вопросам, определявшим направление, характер, темпы развития. Ведь не народ же решил, что мы уже создали развитое, зрелое социалистическое общество. Не народ спустил на тормозах решения XX съезда, реформу 1965 г. Не народ довел нашу экономику до предкризисного состояния. И не народ решил ввести «ограниченный контингент советских войск» на территорию Афганистана.

При том уровне демократизма, который существовал в нашей стране, говорить о народе как творческой исторической силе — значит, вводить в заблуждение и себя и народ. Строить БАМ и строить социализм — не одно и то же. Народ мог строить и строил, но не мог сказать, что и как надо строить. Такова правда.

Иного не дано. М., 1988, с. 534—538

К. Симонов

ОН ОКАЗАЛСЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЕЕ И ЭНЕРГИЧНЕЕ, ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Фрагменты из размышлений «Глазами человека моего поколения»

Мое сегодняшнее отношение к Сталину складывалось постепенно, четверть века. Оно почти сложилось — почти, потому что окончательно оно сложится, наверное, лишь в результате этой работы, первую часть которой я заканчиваю. А своего отношения к Сталину в те годы я не могу точно сформулировать: оно было

очень неустойчивым. Меня метало между разными чувствами и разными точками зрения по разным поводам.

Первым, главным чувством было то, что мы лишились великого человека. Только потом возникло чувство, что лучше бы лишиться его пораньше, тогда, может быть, не было бы многих страшных вещей, связанных с последними годами его жизни. Но что было, то было, в истории нет вариантов. Варианты возможны только в будущем, в прошлом их не существует. Первое чувство грандиозности потери меня не покидало долго, в первые месяцы оно было особенно сильным. Очевидно, под влиянием этого чувства я вместе с еще одним литератором, любившим демонстрировать всю жизнь решимость своего характера, но в данном случае при возникновении опасности немедленно скрывшимся в кустах, сочинил передовую статью, опубликованную в «Литературной газете» 19 марта пятьдесят третьего года, в которой среди иного прочего было сказано следующее: «Самая важная, самая высокая задача, со всею настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина». В дальнейшем, правда, в передовой разъяснялось, что, рисуя образ Сталина, писатели создадут образ связанной с его деятельностью эпохи, свершений этой эпохи и так далее и тому подобное, но исходная формулировка была именно такая. Передовая называлась «Священный долг писателей», и в приведенном мною абзаце первое, что вменялось писателям как их священный долг, было создание в литературе образа Сталина. Никто ровным счетом не заставлял меня это писать, я мог написать все это и по-другому, но написал именно так, и пассаж этот принадлежал не чьему-либо иному, а именно моему перу. Мною же был задан и общий тон этой передовой, в которой как священный долг писателей прежде всего рассматривались мемориальные задачи, а не обращение к нынешнему и будущему дню.

На мой тогдашний взгляд, передовая была как передовая, я не ждал от нее ни добра, ни худа, в основу ее легло мое выступление на происходившем перед этим митинге писателей, смысл которого в основном совпадал со смыслом передовой. Однако реакция на эту передо-

вую внезапно оказалась очень бурной. Я к тому времени после долгой борьбы с разными людьми, не желавшими понимать, что я хочу продолжать хоть что-то писать, выговорил себе право еженедельно выпускать два из трех номеров газеты, а третий только вчерне подготавливать вместе с заместителем, этот третий, субботний, номер подписывал заместитель. Номер с передовой «Священный долг писателей» вышел в четверг. Четверг после его выхода я провел в редакции, готовя следующий номер, и на ночь глядя в пятницу уехал за город, на дачу, чтобы пятницу, субботу и воскресенье писать там, а утром в понедельник приехать в редакцию и с самого утра делать вторничный номер. Телефона на даче не было, и я вернулся в понедельник утром в Москву, ничего ровным счетом не ведая.

— Тут такое было,— встретил меня мой заместитель Косолапов, едва я успел взять в руки субботний номер, которого еще не читал.— А лучше вам расскажет об этом Сурков, вы ему позвоните, он просил позвонить, как только вы появитесь.

Я позвонил Суркову, мы встретились, и выяснилось следующее: Никита Сергеевич Хрущев, руководивший в это время работой Секретариата ЦК, прочитавший не то в четверг вечером, не то в пятницу утром номер с моей передовой «Священный долг писателей», позвонил в редакцию, где меня не было, потом в Союз писателей и заявил, что считает необходимым отстранить меня от руководства «Литературной газетой», не считает возможным, чтобы я выпускал следующий номер. Впредь, до окончательного решения вопроса — надо полагать, в Политбюро, это уж я додумал сам,— пусть следующий номер, а может быть, и следующие номера читает и подписывает Сурков как исполняющий обязанности генерального секретаря Союза писателей.

Из дальнейшего разговора Сурков выяснил, что все дело в передовой «Священный долг писателей», в которой я призывал писателей не идти вперед, не заниматься делом и думать о будущем, а смотреть только назад, только и делать, что воспевать Сталина,— при такой позиции не может быть и речи, чтобы я редактировал газету.

По словам Суркова,— не помню, прямо говорившего с Хрущевым или через вторых лиц,— Хрущев был крайне разгорячен и зол.

— Я лично,— сказал Сурков,— ничего такого в этой передовой не увидел и не вижу. Ну неудачная, ну действительно там слишком много места отведено тому, чтобы создавать произведения о Сталине, что это самое главное. В конце концов, что тут такого. Можно в других передовых статьях снять этот ненужный акцент на прошлом. Сначала хотел послать к тебе гонца, вызвать тебя, а потом решил не расстраивать, может, за это время все обойдется. Номер, как мне сказал Косолапов, был готов, я приехал, посмотрел его и подписал. Фамилию твою не требовали снимать, требовали только, чтоб я прочитал и подписал номер. Вот и подумал, стоит ли выбивать тебя из колеи, ты сидишь там, пишешь? Вернешься в понедельник, может, к этому времени все утрясется.

Так оно в результате и вышло. На каком-то этапе, не знаю где, в Секретариате или Политбюро, все, в общем, утряслось. Когда Сурков при мне позвонил в Агитпроп, ему сказали, чтобы я ехал к себе в редакцию и выпускал очередной номер. Тем дело на сей раз и кончилось. Видимо, это был личный взрыв чувств Хрущева, которому тогда, в пятьдесят третьем году, наверное, была уже не чужда мысль через какое-то время попробовать поставить точки над «и» и рассказать о Сталине то, что он счел нужным рассказать на XX съезде. Естественно, что при таком настроении передовая под названием «Священный долг писателей» с призывом создать эпохальный образ Сталина как главной задачи литературы попала ему, как говорится, поперек души. И хотя, видимо, его склонили к тому, чтобы мер, в горячке предложенных им, не принимать, невзлюбил он меня надолго, на годы, вплоть до появления в печати «Живых и мертвых», считая меня одним из наиболее заядлых сталинистов в литературе. Видимо, так. Кстати, перечитывая сейчас газеты того времени, я увидел то, что давно забылось: именно Никита Сергеевич Хрущев по иронии судьбы был председателем комиссии по похоронам Иосифа Виссарионовича Сталина, открывал и закрывал траурный митинг на Красной площади. Это не имеет никакого отношения к делу, но раз это попалось на глаза, не хочется проходить мимо.

Утром я пошел на Пленум ЦК *, который продолжался, по-моему, пять или шесть дней и на котором о

* Пленум ЦК проходил 2—7 июля 1953 г.

Берии было сказано все, что только можно было сказать о нем, по возможности при этом выгораживая Сталина, далеко не всегда убежденно и не всегда удачно.

О том, как поймали Берию буквально накануне подготовленного им захвата власти, на Пленуме рассказывал Хрущев. Слово «поймали» наиболее точно соответствует характеру рассказа Хрущева, его темпераменту и тому страстному удовольствию, с которым он рассказал обо всем этом.

Из его рассказа — что никто на Пленуме не отвергал и не оспаривал, никому это просто не приходило в голову,— самым естественным образом следовало, что именно он, Хрущев, сыграл главную роль в поимке и обезоруживании этого крупного зверя. Для меня было совершенно очевидным, когда я слушал его, что Хрущев был инициатором этой поимки с поличным, потому что он оказался проницательнее, талантливей, энергичней и решительней, чем все остальные. А с другой стороны, этому способствовало то, что Берия недооценил Хрущева, его качеств, его глубокой природной, чисто мужицкой, цепкой хитрости, его здравого смысла, да и силы его характера, и, наоборот, счел его тем круглорожим сиволапым дурачком, которого ему, Берии, мастеру интриги, проще простого удастся обвести вокруг пальца. Хрущев в своей речи не без торжества говорил о том, за какого дурачка считал его Берия.

Не буду больше писать об этом Пленуме, па котором, кроме речи Хрущева, на меня, пожалуй, наиболее сильное впечатление произвели особенно умные, жесткие, последовательные, аргументированные речи Завенягина и Косыгина. Это увело бы меня от главной темы моих записей.

Падение Берии, если угодно, было похоже на последний, самый последний, после долгой паузы разорвавшийся снаряд. А говоря не фигурально, все, что произошло, все, что хотел и пробовал сделать Берия, и все, что, поймав его за руку, ему предъявили разом за много лет,— все это было пусть не последняя, но самая явная, самая уродливая, самая дурно пахнущая отрыжка всей той эпохи, которая связана в нашем сознании с именем Сталина.

Знамя, 1988, № 4

Ю. Аксютин

Н. С. ХРУЩЕВ: «МЫ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ ПРАВДУ О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ»

Меня, как и многих людей моего поколения, можно отнести к «детям XX съезда». Этот съезд оказал определяющее влияние на формирование наших политических взглядов, на наше отношение к Сталину и сталинизму. Я серьезно думал даже посвятить проблеме культа личности свою кандидатскую диссертацию. Подобная тема тогда, во второй половине 60-х годов, разумеется, была «недиссертабельной». Но интерес к ней не пропадал никогда. Как и интерес к человеку, первым предавшему гласности преступления «дорогого и любимого вождя и учителя».

И вот сейчас, когда мы учимся постигать правду о том времени, когда много говорится о значении доклада Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» на закрытом заседании XX съезда КПСС, бросается в глаза, что ведь нам ничего не известно о том, как этот доклад готовился, какую борьбу пришлось выдержать Никите Сергеевичу за то, чтобы зачитать его делегатам съезда, и о последующей судьбе этого уникального документа. Тогда я обратился к своему архиву, в том числе к газетным отчетам о выступлениях Хрущева, записям своих бесед с людьми, близко и хорошо его знавшими, выпискам из журналов и книг, хранившихся в спецхране. И в результате родилась эта статья...

Июльский (1955 г.) Пленум ЦК КПСС постановил созвать очередной, XX партийный съезд 14 февраля 1956 г. Для его подготовки были созданы различные комиссии. В это время в ЦК работала еще одна комиссия: она занималась реабилитацией необоснованно репрессированных в предыдущие годы. И вот однажды, при обсуждении в Президиуме ЦК очередной ее рекомендации, Н. С. Хрущев предложил создать еще одну комиссию — по расследованию деятельности Сталина. В особенности, по его собственному признанию, он хотел это сделать в предвидении приближавшегося съезда.

Для него не было никакой неожиданностью, что самые старые члены Политбюро и Президиума ЦК Молотов и Ворошилов (оба — с 1926 г.), а также Каганович

(с 1930 г.) не проявили никакого энтузиазма по поводу этой идеи. Не поддержал его, по утверждению самого Никиты Сергеевича, и Микоян (с 1935 г.), хотя и не предпринял ничего, чтобы заблокировать ее. Но Хрущев был поддержан «молодыми» членами Президиума: Булганиным (с 1948 г.), Сабуровым и Первухиным (с 1952 г.), а также Кириченко и Сусловым (оба с июля 1955 г., во многом благодаря Хрущеву).

Возглавить эту работу поручили старому аппаратчику, секретарю ЦК КПСС и одновременно ученому академику П. Н. Поспелову.

Комиссия была создана, приступила к работе, а когда доложила в Президиум ЦК о первых результатах, там снова возникли разногласия. Для «молодых» они были полной неожиданностью. «Старики» знали, конечно, гораздо больше. Навряд ли намного меньше знал и Хрущев: ведь в середине 30-х и он возглавлял столичную парторганизацию, был членом ЦК, то есть в период великих «чисток» оказался в их центре. Как сам он позднее признавался, руки и у него были в крови. И все же он решительно настаивал на доведении дела до конца.

Тем временем приближался срок созыва съезда. Пока что о результатах работы комиссии знали четыре-пять ее членов да 10 членов Президиума ЦК. Обсуждение «дела Сталина» сводилось к обмену мнениями между ними при закрытых дверях. Ничто вроде бы не обязывало их публично «стирать грязное белье». И не только перед 1436 делегатами съезда, но и перед двумя сотнями членов и кандидатов в члены ЦК.

Однако благодаря Хрущеву события приняли иной ход. Он предложил открыто осудить ошибки и извращения Сталина. Молотов, Каганович, Ворошилов и Маленков выступали против, говоря, что это может вызвать в партийных рядах и в народе чувство горечи и недовольства, повлечет за собой издержки и минусы, создаст трудности для КПСС и братских марксистско-ленинских партий. Хрущев отвечал им:

— Если культ Сталина не будет осужден, его вредные последствия не будут преодолены, а ленинские принципы партийной и государственной деятельности не будут восстановлены, то это грозит отрывом партии от масс, серьезными нарушениями советской демократии и революционной законности, замедлением экономического развития страны, ухудшением благосостояния

трудящихся, ослаблением международных позиций Советского Союза, ухудшением отношений с другими странами и другими серьезными последствиями. Что же касается трудностей, с которыми партия может встретиться, если она открыто скажет народу всю правду, то здесь надо верить, что линия партии будет правильно понята народом.

И тем не менее, судя по всему, Хрущев в этом вопросе остался в меньшинстве, если не в одиночестве. Съезд начался без всяких потрясений. И хотя Отчетный доклад, с которым выступил Хрущев, был принят делегатами с воодушевлением, сам он был не удовлетворен. По его позднейшим признаниям, он без конца думал о тех страшных фактах, которые представила комиссия Поспелова. И в конце концов во время одного из перерывов между заседаниями решился спросить других членов Президиума ЦК:

— Товарищи, что мы будем делать с отчетными данными товарища Поспелова?

Сразу же разгорелся яростный спор. Те же Молотов, Ворошилов и Каганович выставили вроде бы логичные политические аргументы, не лишенные, казалось бы, здравого смысла:

— Что тебя, Никита, заставляет действовать таким образом?

— Что придется нам, и тебе в том числе, говорить о нашей собственной роли во времена Сталина?

— А как съезд поймет, как партия поймет?

Хрущев отвечал им:

— Правильно поймут... и съезд, и вся партия.

Он говорил о необходимости сказать партии правду, о моральном долге перед теми, кто, уцелев, недавно вернулся из лагерей. Но, вне всякого сомнения, наиболее убедительно прозвучало следующее его предупреждение:

— Напоминаю вам, что каждый член ЦК имеет право обратиться к съезду и выразить свою собственную точку зрения, даже если она не соответствует генеральной линии, намеченной в Отчетном докладе ЦК. Если вы будете выступать против постановки этого вопроса, то мы спросим делегатов съезда партии. Мы не сомневаемся, что съезд выскажется за обсуждение этого вопроса.

И тут большинство (в том числе Булганин, Первухин, Сабуров и, по всей вероятности, Маленков) реша-

ется поддержать Хрущева. Оставшиеся в меньшинстве предприняли еще одну, последнюю попытку: предложили отложить вопрос до следующего съезда.

— Нет,— решительно возразил Хрущев,— мы должны сказать правду о культе личности именно на XX съезде партии, потому что это первый съезд после смерти Сталина. Если мы будем об этом говорить только на XXI съезде или позже, то нас могут не понять. На XX съезде нас будут слушать, и думаем, что поймут правильно. Если ошибки и недостатки, которые имели место в период культа личности Сталина, не вскрыть и не осудить, то значит одобрить, узаконить их на будущее.

После долгих споров все наконец согласились поставить доклад «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС, но прочесть его на закрытом заседании. Хрущев предложил было, чтобы этот доклад огласил его составитель, Поспелов. Но его убедили, что, раз он так настаивал, то пусть сам, как Первый секретарь ЦК, и выступит от имени ЦК и ознакомит съезд с имеющимися в распоряжении комиссии Поспелова материалами.

Доклад «О культе личности и его последствиях» Хрущев начал читать на вечернем заседании съезда 24 февраля и продолжил на утреннем 25 февраля. Во время его чтения в зале отсутствовали гости, как отечественные, так и иностранные. Делегатам было запрещено делать какие-либо записи. Сам Хрущев так объяснил им это в конце своей обвинительной речи:

— Мы не можем допустить, чтобы этот вопрос вышел за пределы кругов партии, в особенности же чтобы он попал в печать. Вот почему мы его обсуждаем здесь, на закрытом заседании съезда. Нам следует знать пределы, мы не должны давать оружие в руки нашим врагам, не должны полоскать наше грязное белье у них на глазах.

Вряд ли эти слова были произнесены им искренне. Вероятнее всего, они были уступкой тем, кто возражал до самого последнего момента. Сам же он отнюдь так не считал. Об этом свидетельствуют все последующие события.

Хрущев в свое время немало слышал о «политическом завещании Ленина», о письме Владимира Ильича к съезду. И хотя оно было зачитано не на самом XIII съезде, а по делегациям, о нем узнали многие рядовые

члены партии. Всех их, полагал Хрущев, следовало бы и теперь осведомить о содержании его «закрытого» доклада. «Массы должны знать все»,— любил он повторять слова основателя большевистской партии. Кроме того, считал он, и братские партии не резон держать в стороне от вопроса, вроде бы и сугубо внутреннего, но в немалой степени затрагивающего и их.

Очень скоро главы делегаций братских партий были ознакомлены с содержанием доклада. Русским языком хорошо владели поляк Б. Берут, болгарин В. Червенков, венгр М. Ракоши, немец В. Ульбрихт. Более или менее понимали его француз М. Торез, итальянец П. Тольятти, испанка Д. Ибаррури, австриец Й. Копрениг.

Как они реагировали? По-разному. Ни Торез, ни Тольятти, например, не проинформировали членов своих делегаций. Вполне возможно, что они уловили взрывчатый характер услышанного и предпочли действовать осторожно.

В конце февраля 1956 г. текстом доклада располагал уже И. Броз Тито, срочно прочитавший его членам Исполкома Союза коммунистов Югославии. Тогда же Микоян пригласил к себе дочь Сталина, вручил ей доклад и сказал:

— Прочитай, а затем поговорим, если нужно.

Разумеется, и многие из остальных делегатов съезда не смогли удержаться от того, чтобы не поделиться впечатлениями, от которых их распирало. Ведь для всех доклад стал настоящим потрясением. Москва наполнилась слухами. 10 марта эти слухи доходят до американского посла Ч. Болена.

14 марта Тольятти, докладывая Центральному Комитету своей партии о XX съезде КПСС, подвергает критике собственные политические действия в прошлом. 16 марта «Нью-Йорк таймс» помещает статью своего московского корреспондента о закрытом докладе Хрущева. На другой день его основное содержание пересказало агентство Рейтер. 19—21 марта весьма смягченное резюме доклада напечатала газета «Юманите», орган Французской компартии. 20 марта изложение доклада публикует югославский еженедельник «Коммунист».

Приблизительно в эти же дни слушали чтение закрытого доклада и мы, тогдашние студенты. Помню, что в газетных киосках уже лежали номера «Юманите» с корреспонденцией из Москвы. Так как я знал, о

чем будет идти речь на собрании, то, чтобы не пропустить ни одного слова, уселся, изменив своим тогдашним студенческим повадкам, на первый ряд и раскрыл чистую, по дороге купленную толстую тетрадь. Вопреки строгим предупреждениям, исписал ее чуть ли не полностью. Но, к великому сожалению, секретарь институтского комитета комсомола у меня ее отобрала...

28 марта «Правда» напечатала редакционную статью «Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма?». В ней Сталин впервые публично был подвергнут критике. Причем с помощью тех самых аргументов, которые мы недавно слышали при чтении закрытого доклада. Там, например, цитировалось письмо К. Маркса к В. Блосу об антипатии к какой бы то ни было разновидности культа личности, а также о его и Ф. Энгельса требовании исключить из устава тайного общества коммунистов все положения, допускавшие возможность «суеверного преклонения перед авторитетами». И резко критиковалась «Краткая биография» Сталина.

Таким образом, вскоре весь мир уже знал о существовании закрытого доклада Хрущева и имел о нем общее, но довольно подробное представление. Однако полный и подлинный его текст пока еще хранился в секрете. Впоследствии нашлось много охотников присвоить себе пальму первенства в его «добывании». Не избежал этого соблазна и основатель и первый шеф западногерманской разведки (БНД) Р. Гелен. На самом деле все оказалось гораздо проще. После смерти Берута находившийся у него экземпляр доклада попался на глаза нескольким польским руководителям. И кто-то из них посчитал возможным использовать его для своих нужд и размножил.

Как бы там ни было, а копии стали быстро распространяться и вскоре продавались на черном рынке в Варшаве, где одна из них и была куплена неким американцем за 300 долларов. Шеф ЦРУ Аллен Даллес передает ее своему брату, государственному секретарю Джону Фостеру Даллесу, а тот воспроизводит доклад Хрущева 4 июня на страницах «Нью-Йорк таймс», а 6 июня — «Монд».

14 июня американский посол Ч. Болен обратился с вопросами по этому поводу к Молотову и Маленкову. Они ответили улыбаясь:

— Тот вариант доклада, который имел хождение за границей, был неточен.

На следующий день Болен спросил о том же самого Хрущева. И получил следующий ответ:

— Те переводы, которые напечатаны за границей, не соответствуют действительности.

Добавив, правда:

— Я еще не читал перевод, опубликованный государственным департаментом, поскольку потребовалась большая переводная работа на русский язык.

А затем сменил тему разговора.

Характерно, что советская пресса в то время предпочитала молчать, не начиная обычной в подобном случае «кампании против буржуазных фальсификаторов». Более того, когда 27 июня Генеральный секретарь Компартии США Ю. Деннис, говоря на страницах «Правды» о значении XX съезда КПСС, упомянул о распространении государственным департаментом перевода своей версии доклада Хрущева, редакция сделала в сноске довольно нейтральное примечание: «Автор имеет в виду материал, который госдепартамент США опубликовал в печати, назвав его докладом Хрущева на XX съезде КПСС». Подобная формулировка скорее не опровергала подлинности факта, а подтверждала ее.

30 июня ЦК КПСС принимает, а затем публикует постановление «О преодолении культа личности и его последствий». В нем не было тех страшных фактов, что переполняли закрытый доклад Хрущева на съезде, то есть его разоблачительная суть была обескровлена. Зато была сделана попытка дать ответ на вопросы о причинах возникновения и характере проявления культа личности, о его последствиях. И в этом заключался зримый шаг вперед.

Однако постановление содержало и немалую долю сугубо охранительных, перестраховочных моментов. В нем можно обнаружить довольно серьезные оговорки, с которыми сегодня трудно согласиться. Например, там говорилось, что было бы грубой ошибкой из факта наличия в прошлом культа личности делать выводы о каких-то изменениях в общественном строе в СССР или искать источник этого культа в природе советского общественного строя. А ведь мы теперь открыто признаем наличие определенных деформаций в социализме. Некоторые пробуют разобраться в том, что в самой системе сыграло роль факторов, способствовавших возникновению и укреплению авторитарной власти Ста-

липа, подмене диктатуры пролетариата диктатурой одного вождя. И уж совсем кажутся теперь несерьезными утверждения, будто ошибки, допущенные этим человеком, хотя они и нанесли ущерб и тормозили развитие общества, «но, само собой разумеется, не увели его в сторону от правильного пути развития к коммунизму». Нельзя признать и обоснованность бодрых оптимистических заявлений о том, что определенные исторические условия, породившие культ, якобы «ушли уже в прошлое», что только враги могут искать его корни в самой системе, в ее недемократичности и что подобные клеветнические утверждения опровергаются всей историей развития Советского государства.

С тех пор минуло уже свыше 30 лет. Закрытый доклад Н. С. Хрущева о культе личности давно уже принадлежит истории. Тем более что речь в нем идет о событиях не менее чем полувековой давности. Но, несмотря на давность времени, он для нас по-прежнему остается недоступным. А на его зарубежные издания (в том числе на перепечатку югославской «Борбой» в сентябре 1987 г. и польской «Политикой» в июле 1988 г.) ссылаться нам вроде бы негоже. Ведь мы привыкли не спрашивать: «Правда ли это?», а задавать вопрос: «Кто это сказал?»

Подобный «принципиальный» подход, выдаваемый за «классово выдержанный», нередко позволял и до сих пор позволяет нам скрывать нашу научную несостоятельность. И неужели же такова наша судьба, что строители первой в мире социалистической страны порой последними знакомятся с самыми важными политическими и литературными произведениями, созданными на ее родной почве? И это относится даже к «завещанию» Ленина, пролежавшему свыше 30 лет, пока мы смогли легально, без страха быть арестованными, прочесть его.

Дальнейшая судьба доклада Хрущева «О культе личности и его последствиях» отражала всю непоследовательность и нерешительность политики тогдашнего руководства, борьбу в нем между сторонниками и противниками демократизации, а также влияние внешних обстоятельств (событий в Венгрии, разногласий с албанским и китайским руководством).

В апреле 1956 г. журнал «Вопросы истории» публикует статью заместителя своего главного редактора

Э. Н. Бурджалова «О тактике большевиков в марте — апреле 1917 г.». В ней особо подчеркивалась неустойчивая позиция Сталина и показывалось, что он не был в то время стопроцентным и безусловным ленинцем. Но уже в марте 1957 г. статья эта подверглась строгой критике, а ее автор был снят с работы. В начале 1959 г., на внеочередном, XXI съезде КПСС, вопреки всеобщему ожиданию, не было прибавлено ничего нового к борьбе с культом личности. А два года спустя у писателя В. Гроссмана забрали все экземпляры рукописи его романа «Жизнь и судьба», в котором подробно говорилось о жизни не только в гитлеровских, но и в сталинских лагерях. И кто тогда мог предположить, какую яростную атаку на Сталина поведет Хрущев на XXII съезде КПСС в октябре 1961 г.? Объяснить ее нам, неосведомленным, было невмочь.

Новое наступление на культ на сей раз было открытым: средства массовой информации подробно известили о нем всю партию, все население. Кроме того, Хрущев был уже не единственным обвинителем. Более 20 ораторов рассказывали о том или ином сталинском преступлении и подробно останавливались на соучастии в них Молотова, Маленкова и Кагановича, а иногда и Ворошилова. Такого интересного политического чтения, как речи на том съезде, мы потом не знали целых четверть века!

У некоторых писателей появилась надежда, что теперь-то уж издательства напечатают их произведения, в которых шла речь о том, как калечилась жизнь людей в период культа личности. И уже в ноябре 1961 г. никому дотоле не известный человек представляет в редакцию «Нового мира» свою рукопись, озаглавленную «Один день Ивана Денисовича». Л. Никулин написал и успел напечатать книгу о маршале Тухачевском, о его сложных и трагических отношениях со Сталиным. Историк Р. Медведев стал собирать устные и письменные свидетельства о Сталине и его окружении. Другой историк, А. Некрич, попытался проанализировать причины поражений Красной Армии в самом начале Великой Отечественной войны и роль в них того, кто потом приписал себе чуть ли не всю победу.

В июне 1963 г., на Пленуме ЦК КПСС, посвященном задачам идеологической работы партии, Хрущев, вспоминая о днях XX съезда, как бы продолжал спор со своими бывшими оппонентами:

— Это был большой и сложный вопрос, вопрос огромной политической важности. Конечно, если рассуждать по-обывательски, то зачем было поднимать этот вопрос: Сталина уже нет, многих людей, которые оказались жертвами репрессий, тоже нет. Государство растет, сложилось руководство, и зачем все ворошить, поднимать, перестраивать? Но в политике нельзя терпеть обывательского подхода к делу. Надо было поднимать и обсуждать этот вопрос не для тех, которых уже нет, а для тех, которые живут, и для тех, которые будут жить. Здесь мы боролись не за свои личные интересы, а за партию, за чистоту ленинской партии...

Еще позже, находясь уже в вынужденной отставке и диктуя свои воспоминания, Никита Сергеевич возобновил этот спор, но теперь уже не столько с бывшими оппонентами, как с новыми — Брежневым, Сусловым, Подгорным. Судя по всему, эти новые партийные руководители в душе были бы рады открыто ревизовать решения XX съезда КПСС. Однако советы их помощников и собственный инстинкт самосохранения подсказывали, какая громадная политическая опасность может подстерегать их на этом пути. Поэтому они и предпочитали осуществлять свои намерения тихой сапой. Но как ни тихо пытались они вынести вопрос о десталинизации за скобки, для многих, внимательно следящих за общественной жизнью (а Хрущев оставался таким и в отставке), тенденции, к которым склонялось новое руководство, были достаточно очевидны.

Еще в 1965 г. успели выйти книги Г. Марягипа о Постышеве, Н. Кондратова о маршале Блюхере и А. Некрича о 22 июня 1941 г. Затем публикации, рассказывающие о жертвах 1937—1938 гг., а также критикующие Сталина, прекратились. Мало того, книга Некрича была решительно осуждена. Работа Р. Медведева «Перед судом истории» смогла появиться только за рубежом. И к тому и к другому были приняты суровые организационные меры — у них отобрали партийные билеты.

Новый заведующий Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС С. П. Трапезников обрушился с бранью на покойного Ф. Ф. Раскольникова за то, что тот в 1938—1939 гг. не только не согласился явиться на расправу, но и посмел сделать открытый, на весь мир, вызов Сталину. Редакции «Нового мира», среди прочего, припоминали и публикацию повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

А ведь Хрущев имел к ней прямое отношение. Когда Твардовский привез ему рукопись, он велел ее размножить в 20 экземплярах для членов и кандидатов в члены Президиума ЦК и для секретарей ЦК. И на первом же заседании спросил их:

— Хорошая вещь, не правда ли?

Ему никто не ответил.

— Молчание — знак согласия,— подвел Никита Сергеевич итог.

Да, уже лишившись власти, Хрущев начинает сожалеть, что десталинизация проходила слишком медленно, слишком робко, что в советской истории конца 20 — начала 50-х годов остались существенные пробелы, что реабилитация старой ленинской гвардии произведена не полностью:

— Мы до бесконечности откладывали вопрос о реабилитации Бухарина, Зиновьева, Рыкова и других. Сегодня я могу сказать, что это было ошибкой. Надо было все сказать.

Но те воспоминания, что теперь диктовались им во время прогулок по загородному лесу и записи которых его супруга пыталась затем расшифровать и перепечатать на машинке, он рассматривал как продолжение давнего спора, как защиту перед потомками своей политической линии.

Ему не дали сделать это до конца. Сначала все бумаги и все магнитофонные пленки были изъяты. Однако копии этих материалов каким-то образом попали за границу, были там подвергнуты солидной редакторской обработке и в 1971 г. напечатаны с предисловием, комментариями и примечаниями известного советолога Э. Кренкшоу. Для Хрущева эта публикация означала новые вызовы в Москву, неприятные вопросы и даже угрозы, новые сердечные приступы. Вполне возможно, что все это сократило дни его жизни.

А пока что оригиналы магнитных пленок с голосом Хрущева и машинописные листки с расшифровкой некоторых из этих пленок недоступны ни для его наследников, ни для исследователей. Давно идут разговоры о том, чтобы извлечь их на свет божий, обработать и опубликовать. Дело, таким образом, за малым.

Пора, давно пора.

Труд, 1988, 13 ноября

Р. Медведев

Н. С. ХРУЩЕВ. ГОД 1957-й — УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

18 июня 1957 г. в Кремле собрался Президиум ЦК КПСС. Это заседание было необычным, оно продолжалось три дня. Кремль был взят под усиленную охрану. Члены Президиума лишь поздно ночью могли отдохнуть, чтобы утром снова вернуться в комнату для заседаний. Не присутствовал только Ф. Р. Козлов. На 23 июня было намечено торжественное празднование 250-летия Ленинграда. В город на Неве приезжали делегации из других городов страны, многие из них возглавлялись секретарями обкомов. Ждали и Н. С. Хрущева во главе правительственной делегации. Но Хрущеву было не до юбилеев.

На заседании Президиума ЦК Молотов и Маленков неожиданно поставили вопрос о смещении Хрущева. Враждовавшие друг с другом оппоненты Хрущева на этот раз объединились и, соблюдая строгую конспирацию, обсудили вопрос о его отстранении. В основном Хрущева обвиняли в экономическом волюнтаризме, в самочинных и необдуманных действиях. Многие из этих обвинений были несомненно справедливы. Но главное обвинение, которое не высказывалось полностью, но наиболее важное для противников Хрущева, состояло в том, что он якобы зашел слишком далеко в разоблачениях Сталина, что он подорвал авторитет КПСС в международном коммунистическом движении и авторитет всего коммунистического движения. Таким образом, речь шла о пересмотре решений XX съезда КПСС. Противники Хрущева, рассчитывая на успех, обсудили заранее и судьбу самого Хрущева. В случае признания им своих ошибок и согласия на отставку предусматривалось понижение его в должности, например до уровня министра сельского хозяйства СССР. В иных случаях не исключалась возможность ареста Хрущева. Он был еще очень популярен не только среди населения, чем можно было и пренебречь, но и среди большинства членов ЦК КПСС. Поэтому оставлять его на свободе казалось опасным. На пост Первого секретаря ЦК КПСС предполагалось избрать В. М. Молотова.

Н. С. Хрущев, однако, решительно отверг все обвинения, ссылаясь на достигнутые экономические успехи и на существенные достижения во внешней политике. В острых прениях в поддержку Хрущева выступили три члена Президиума: Микоян, Суслов и Кириченко. Семь членов Президиума — Молотов, Маленков, Ворошилов, Каганович, Булганин, Первухин и Сабуров — выступили против Хрущева. Кандидаты в члены Президиума — Брежнев, Жуков, Мухитдинов, Шверник и Фурцева поддержали Хрущева, но они присутствовали на заседании лишь с правом совещательного голоса. Каганович очень грубо оборвал на одном из заседаний Брежнева, который, разволновавшись, был близок к обмороку. Несмотря на отсутствие решающего голоса у Жукова, крайне важной была его позиция, так как он ясно дал понять, что армия поддержит Хрущева. Шепилов вначале поддерживал Хрущева, но в ходе длительных дебатов неожиданно изменил свою позицию и присоединился к мнению большинства членов Президиума.

В конечном итоге Президиум ЦК вынес решение о смещении Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Но Хрущев, поддержанный сторонниками, отказался подчиниться этому решению. Он заявил, что на пост Первого секретаря ЦК его избрал не Президиум, а Пленум ЦК, и только Пленум может сместить его с этого поста. Он потребовал созыва Пленума ЦК, что было отклонено Президиумом. Однако группа Молотова — Маленкова возлагала слишком большие надежды на формальное решение Президиума. Хрущева поддерживала не только армия, но и КГБ в лице председателя КГБ И. А. Серова. В руках Хрущева оставался рабочий аппарат ЦК КПСС. Иначе говоря, именно Хрущеву принадлежала в эти решающие дни реальная власть в стране и партии. Поэтому «операция», которая удалась в начале марта 1953 г., когда небольшая группа лидеров смогла решить у гроба только что умершего Сталина все вопросы по распределению власти, не могла удаться в июне 1957 г.

Пока заседал Президиум, важные события происходили за его пределами. Для наиболее влиятельных членов ЦК не было секретом, что в Кремле обсуждается судьба Н. С. Хрущева. Дали знать в Ленинград Козлову, и тот с группой членов ЦК тотчас приехал в Москву. Серов и Жуков сумели быстро обеспечить прибытие в Москву почти всех других членов ЦК, которые стали

требовать созыва Пленума. Президиум ЦК отклонил это требование и даже отказался встретиться с представителями ЦК. Тогда большая группа членов ЦК направила в Кремль письменное заявление. В нем говорилось:

«В Президиум Центрального Комитета. Нам, членам ЦК КПСС, стало известно, что Вами обсуждается вопрос о руководстве Центральным Комитетом и руководстве Секретариатом. Нельзя скрывать от членов Пленума ЦК такие важные для всей партии вопросы. В связи с этим мы, члены ЦК, не можем стоять в стороне от вопроса руководства нашей партией».

Но и это заявление не возымело действия. Тем временем члены ЦК стали собираться в Кремле. Группа членов ЦК во главе с И. А. Серовым, которому подчинялась охрана во всех помещениях Кремля, появилась в здании, где проходили заседания Президиума. Большинство Президиума, считавшее Хрущева практически смещенным с поста главы партии, поручило Булганину как Председателю Совета Министров СССР и Ворошилову как Председателю Президиума Верховного Совета СССР вступить в переговоры с членами ЦК. Однако в приемную вышли также Хрущев и Микоян. Эта встреча началась не слишком вежливо. Ворошилов обрушился с бранью на Серова. Тот не остался в долгу. Он пригрозил, что если Президиум будет противиться созыву Пленума, то Пленум соберется и без одобрения Президиума, так как члены ЦК не позволят решать вопросы руководства партией без них. Эта угроза была вполне реальна, так как большинство членов ЦК уже находилось в Москве, и они были настроены весьма решительно. Стало очевидным, что сговор против Хрущева потерпел провал, и Президиум был вынужден согласиться на созыв Пленума ЦК.

Подавляющее большинство участников открывшегося Пленума безоговорочно поддержало Хрущева. Июньский Пленум был беспрецедентным не только по своему характеру, но и по продолжительности: он проходил с 22 по 29 июня. Пленум заслушал доклад Хрущева «О положении в партии». Молотову предоставили возможность подробно изложить свою точку зрения, но все выступавшие затем поддерживали не Молотова, а Хрущева. В сложившихся условиях Ворошилов, Булганин, Сабуров и Первухин решили выступить с покаянными речами. Признал свои ошибки и Маленков. До конца Пленума упорствовал только Молотов, и только он один воздер-

жался при голосовании за резолюцию Пленума. Все остальные участники его группировки голосовали за резолюцию, осуждавшую их собственное поведение.

Постановление Пленума и краткая информация о его работе были опубликованы лишь 4 июля 1957 г. В решениях Пленума говорилось об «антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова» и умалчивалось об участии в ней Ворошилова, Булганина и других. И Ворошилов и Булганин сохранили свои посты. Из состава Президиума и из ЦК КПСС были выведены Молотов, Маленков, Каганович и «примкнувший к ним Шепилов». Сабуров потерял пост члена Президиума ЦК, а Первухин стал лишь кандидатом в члены Президиума ЦК. Июньский Пленум увеличил численность Президиума ЦК до 15 членов, в состав Президиума вошли недавние кандидаты — Л. И. Брежнев, Е. А. Фурцева, Ф. Р. Козлов, Н. М. Шверник, Г. К. Жуков. Членами Президиума стали также А. Б. Аристов, Н. И. Беляев и О. В. Куусинен. Среди девяти кандидатов в члены Президиума появились имена А. Н. Косыгина, А. П. Кириленко и К. Т. Мазурова. Молотов, Каганович и Маленков потеряли посты первых заместителей Председателя Совета Министров СССР. На пост министра иностранных дел вместо Д. Т. Шепилова назначался А. А. Громыко.

Никто из противников Хрущева не был тогда исключен из партии, но все они получили назначение вне Москвы. Молотов направлялся послом СССР в Монголию. Каганович стал директором Уральского горно-обогатительного комбината в г. Асбесте, Маленков — директором Усть-Каменогорской ГЭС на Иртыше. Шепилов получил профессорскую должность в Средней Азии. В июле 1957 г. Первухин и Сабуров потеряли посты заместителей Председателя Совета Министров СССР, первыми заместителями Председателя Совета Министров СССР стали А. Н. Косыгин и Д. Ф. Устинов.

Вскоре после окончания Пленума Хрущев во главе большой делегации прибыл в Ленинград. Формально речь шла о вручении наград ленинградцам в связи с 250-летием города, фактически же состоялось повторение юбилейных торжеств. На Дворцовой площади прошла большая демонстрация. На трибуне стояли Хрущев, Козлов, Ворошилов, Микоян, Брежнев, Куусинен, Фурцева, Шверник и Аристов.

Еще через несколько дней Хрущев и Булганин выехали в Чехословакию, где провели около двух недель.

Хрущев без стеснения говорил югославскому послу Вен-ко Микуновичу о том, что он не имеет большого желания путешествовать в обществе Булганина, но что это пока еще необходимо по государственным соображениям. Естественно, что посол Югославии в своем подробном письме к И. Б. Тито о событиях в Москве сообщал, что позиции Булганина явно пошатнулись и смещение последнего с поста премьер-министра только вопрос времени.

В конце июля и в начале августа 1957 г. в Москве прошел VI Международный фестиваль молодежи и студентов, оставивший прочную память у москвичей. Впервые за всю историю СССР в Москву приехало так много гостей из других стран мира.

В сентябре 1957 г. Хрущев отдыхал в Крыму недалеко от Ялты. Это был для него первый большой отпуск за многие годы. Ни в конце 30-х, ни в первой половине 40-х годов об отдыхе не могло быть и речи. При Сталине Хрущев смог провести отпуск на море только один раз — в 1947 г. В 1953—1956 гг. у Хрущева было слишком много забот, чтобы он мог позволить себе продолжительный отдых. Теперь он провел в Крыму почти целый месяц и вернулся в Москву лишь 2 октября.

Аргументы и факты, 1988, № 25

В. Семичастный

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

— Жизнь тогда резко переменилась. Люди почувствовали: в доме открыли окна, стало легче дышать...— говорит бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Ефимович Семичастный в интервью журналу «Комсомольская жизнь».

— *Что из вашего опыта могут взять на вооружение сегодняшние комсомольцы? Ведь между тем временем и сегодняшним днем много общего. 50-е — годы романтики и дерзаний. Это новые города и электростанции на карте страны, это первый спутник и Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Это целина, за освоение которой комсомол получил орден Ленина. Что наиболее запомнилось из той поры лично вам? Как тогда работал комсомол?*

— Самостоятельно! И очень многое ему доверялось. К сожалению великому, в книге «Целина» Л. И. Брежнева, по-моему, даже слово «комсомол» не встречается. Нет, впрочем, один раз вскользь упоминается о том, что дежурили-де комсомольские активисты на вокзалах, встречали прибывавших на целину. Но ведь комсомол был — и это известно из истории — не только основной силой, обеспечившей успех в этой грандиозной эпопее, но и организацией, решавшей практически все — и кадровые, и материально-технические вопросы, связанные с освоением целины. По существу, в кабинете первого секретаря ЦК ВЛКСМ был штаб, где почти круглосуточно дежурили те, кто отвечал за это вместе с нами,— заместители министров, руководители главков. Я помню, как мы с А. Н. Шелепиным * ездили на целину, побывали во многих областях, а затем в Алма-Ате, в ЦК Компартии Казахстана, рассказали о своих впечатлениях тогдашнему первому секретарю ЦК Пантелеймону Кондратьевичу Пономаренко, условились, что и как делать дальше. Позже, уже в Москве, внесли в Центральный Комитет КПСС очень обстоятельную записку о состоянии дел на целине. Почти все наши предложения были приняты.

А Московский фестиваль 1957 г.? Ведь никаких правительственных комиссий по его подготовке и проведению тогда не создавали! Все решал ЦК ВЛКСМ. К нам, на Маросейку, 3/13, являлись руководители самых различных организаций и ведомств, докладывали все до последних мелочей.

Комсомолу доверяли не просто конкретные дела, а такие, от которых в немалой степени зависели успехи в экономическом развитии всей страны. Тогда, например, ситуация диктовала необходимость немедленно увеличить добычу топливных ресурсов, и в частности донецкого коксующегося угля. Когда Н. С. Хрущев во время одной из встреч с иностранцами сказал, что мы построим за год 37 шахт в Донбассе, ему не поверили, решили, что это блеф, выдумка. А шахты построили! И сделали это украинские комсомольцы. Республиканскую организацию ЛКСМ в 1958 г. наградили за это орденом Ленина.

— Потом... Вы уж меня извините,— продолжил Владимир Ефимович,— но мне кажется, мы «позубастее»

* А. Н. Шелепин в 1952—58 гг. был первым секретарем ЦК ВЛКСМ.

были, чем нынешнее поколение. Мы не боялись ссориться и с министрами. Пригласить на заседание Бюро ЦК ВЛКСМ руководителей любого союзного министерства, заслушать вопрос, касающийся работы этого министерства с молодежью, было обычным делом. Ну например, массу всяких безобразий выявила в то время группа работников ЦК комсомола, выезжавшая во главе с секретарем ЦК Л. К. Балясной на строительство Красноярской ГЭС. Разговор тогда на Бюро был очень резкий, причем на следующий же день итоги его были не только доложены в Центральном Комитете партии, но и опубликованы в «Комсомольской правде».

Вы полистайте «Комсомолку» тех лет. «Вопросы к министру» (так называли рубрику) занимали в газете целые полосы. Почему не хватает общежитий на стройках, куда мы послали молодежь, почему квалификацию, разрядность не повышают вовремя, почему заработки низкие — целые серии «почему?». И министры обязаны были ответить.

Мы говорили прямо: «Мы не биржа труда. И если вы просите молодежь, то будьте добры, создайте условия или извольте обходиться сами».

А первый урок в этом отношении преподал мне Н. С. Хрущев.

Когда я был еще первым секретарем ЦК ЛКСМ Украины, на одном из наших пленумов, когда речь шла о совершенствовании идеологической, воспитательной работы с молодежью, он, тогда первый секретарь ЦК Компартии республики, покритиковал нас, комсомол, за то, что мы так робко ведем себя по отношению к министерствам и ведомствам.

Разговор, помню, коснулся низкого качества фильмов для молодежи, выпускаемых в республике.

— Что ж вы миритесь с этим?! Вызовите, наконец, председателя Комитета по кинематографии к себе на Бюро да и объявите ему выговор!

Я потом спрашиваю:

— Никита Сергеевич, ну как же я ему выговор объявлю?

— Да ясно, что не твои это полномочия, но за то, что ты ему этот выговор — пусть незаконный! — объявишь, мне, может, тоже тебя наказать придется. Но я, если скрепя сердце и сделаю это, то я же через месяц с тебя этот выговор сниму! А вот за бездеятельность, за неумение и нежелание вмешиваться в эти

дела я тебе объявлю взыскание и год-два не буду снимать.

Потом добавил:

— Когда тебе в столовой на второе каждый день подают редьку, ведь надоест? А он же своими фильмами каждый вечер нам редьку дает. Так что ж вы молчите?! Не мы, старики,— вы должны думать о том, какую духовную пищу мы даем молодежи. Поэтому вы и спросите с него.

Ко мне тот председатель на следующий день прибежал в ЦК комсомола: «Что будем делать?»

Так было потом не только на Украине. Не знаю, может, здесь и возраст наш играл свою роль (как-то еще рано было оглядываться на то, куда трудоустроят после комсомольской работы), но мы всегда смело шли на любые трибуны, не боялись критиковать.

Меня, например, еще в партию не приняли, а секретарем райкома комсомола избрали. И только через месяц я вступил в ВКП(б) кандидатом. Было это в 1942 г. в Кемерове. А тут Донбасс освобождать начали. Меня и перебросили туда. На фронт по состоянию здоровья так и не попал — стал секретарем райкома в Красноармейском районе, где до войны сам кончал школу. В 1944-м уже был заведующим отделом рабочей молодежи Донецкого обкома комсомола, потом вторым секретарем, первым. Только избрали на конференции первым, я уехал на съезд ЛКСМ Украины. Ну а тут... в мою судьбу отчасти вмешался случай.

Съезд уже кончался, и накануне последнего дня его работы, ночью (при Сталине-то работали далеко за полночь — и до двух, и до трех) пришли к Н. С. Хрущеву согласовывать, кого назавтра избирать секретарями. И предложили на должность секретаря ЦК по кадрам работника, которому было 29.

— Что вы, это уже старик! Неужто помоложе нет?

— Есть, Никита Сергеевич, только уж очень молодой.

— Ну, кто же?

— Да в Сталино (Донецк так назывался).

— Что же, в Сталино может быть первым, а здесь по кадрам не сможет? А ну-ка, давайте его сюда.

И меня прямо из гостиницы (с постели подняли) привезли к нему. Я зашел.

— Вот мы тут решили рекомендовать вас секретарем по кадрам в ЦК комсомола.

— Так я еще первым в обкоме-то не успел толком побыть.

— Ну и хорошо. Приступай сразу к кадрам.

А буквально через семь месяцев меня избрали первым секретарем ЦК ЛКСМ Украины. Это было в период, когда из-за неурожая 1946 г. на Украине Н. С. Хрущева сместили с поста первого секретаря ЦК Компартии республики. Сталин прислал тогда первым Л. М. Кагановича. Ну а потом, через некоторое время, последнего опять перевели в Москву, а Н. С. Хрущева вернули секретарем ЦК. Я же работал на Украине до 1950 г., а в январе 1950 г. стал секретарем ЦК ВЛКСМ.

— Вы работали рядом с Н. С. Хрущевым и на Украине, и в Москве. Об одном эпизоде, ставшем для вас уроком боевитости и хорошей комсомольской задиристости, вы вспомнили. Может быть, об этом теперь поподробнее?

— Таких уроков действительно было немало. Вот хотя бы еще один. Однажды я пришел к Н. С. Хрущеву еще на Украине с какой-то запиской (уже не помню сейчас о чем). Он при мне ее читает и какие-то пункты один за другим начинает вычеркивать. Потом на меня посмотрел, говорит:

— Слушай, что ты все соглашаешься? Почему не возражаешь?

— Что ж я вам возражать буду?

— Но ты же, наверное, с секретарями ЦК комсомола сидел, готовился, прежде чем ко мне идти, вопросы-то, очевидно, обдумывали? Так защищай, доказывай!

Этот урок не прошел даром. Был случай, когда без нашего ведома из ЦК КПУ отправили в ЦК ВКП(б) записку с предложениями объединить редакции газет ЦК ЛКСМ Украины (то есть выпускать одни и те же газеты — детскую и молодежную, а дублировать их на двух языках). И записку эту подписал сам Никита Сергеевич. Мы, как узнали, за голову схватились:

— Никита Сергеевич, вы поймите, нельзя объединять! Украинский текст короче, чем русский. А в детской газете — шарады, загадки, ребусы. Как их с украинского на русский переводить?

Поначалу-то он не соглашался, но затем сам убедился, что не прав, и строго отчитал тех, кто не согласовал злополучную записку с нами. Потом все-таки удалось добиться, чтобы газеты не объединили. А Хрущев впредь ни одной бумаги по комсомолу не подписывал без моей визы.

Я позже ему сказал, что воспользовался, мол, его же уроком. Он смеется: «Молодец! Правильно сделал! Подсунули, понимаешь...»

Нас приучали к самостоятельности. Вот, пожалуйста, еще пример. Готовили съезд комсомола Украины. За несколько дней до съезда я приношу Никите Сергеевичу папку:

— Вот,— говорю,— доклад, проект решения, все документы.

Он послушал, послушал:

— Ну и что? — спрашивает.

— Почитайте.

— Почему мы должны читать ваши доклады? У вас есть Бюро, есть пленум? Вы обсуждали? Зачем же мы еще будем смотреть? У меня, конечно, есть о чем сказать. Но я об этом на съезде скажу сам. Ведь ты хочешь. чтобы я выступал у вас?

— Да, мы вас очень просим.

— Вот тогда, если будет плохой доклад, покритикую, хороший — поддержим, похвалим.

И действительно, на съезде, выступая, пересказал практически весь наш разговор:

— Я обещал, если будет хороший доклад, поддержку. Так вот я поддерживаю!

— Вас с должности первого секретаря ЦК ВЛКСМ перевели на работу в ЦК партии, и сразу заведующим Отделом партийных органов. Не было боязни: а вдруг не справлюсь?

— До самого последнего дня я отказывался, считал, что рано. И прямо сказал об этом Н. С. Хрущеву. Он же тогда ответил:

— Мы знаем, что вы еще не заведующий отделом. Но мы берем вас потому, что вы с собой приведете в кадры партии новых, интересных людей из комсомола, которых мы не знаем — вы их знаете.

Примерно то же случилось и через два года, когда меня вызвали к Хрущеву и сказали, что назначают председателем КГБ СССР. Я тогда тоже начал отказываться: какой, мол, из меня чекист? На это мое заявление Хрущев ответил резко:

— Хватит! У нас там «чекистов» было много! Дров наломали столько... Шелепин начал расчищать (Александр Николаевич тоже некоторое время работал в КГБ, я шел буквально по его стопам), а вы давайте продолжайте. Нам сейчас важно иметь во главе органов не

столько специалиста, сколько человека, который бы хорошо понимал, для чего эти органы существуют, и проводил в них политику партии.

Так что меня даже и не спрашивали.

— *А как провожали тогда из комсомола?*

— Это я очень хорошо запомнил. В один из дней работы XIII съезда ВЛКСМ, когда нам уже было известно, что А. Н. Шелепина переводят в ЦК КПСС, а меня будут предлагать к избранию первым секретарем, вечером звонит Н. С. Хрущев:

— Слушай,— говорит,— давайте хорошую традицию заведем, чтоб из комсомола по-доброму провожать. Вот Шелепин уходит... А ну-ка, придумайте что-нибудь этакое...

Мы ребят собрали и решили установить звание «Почетный член ВЛКСМ» и прямо на съезде присвоить его Александру Николаевичу. Сообщаю об этом Хрущеву. Он: «Здорово. Мы, пожалуй, еще и решением Президиума ЦК одобрим и поддержим». Проходит немного времени — опять звонок. Голос Никиты Сергеевича: «А что, если и Михайлову * то же самое?»

Я Михайлова нашел, тот простуженный, с насморком.

— Николай Александрович, хоть ползком, но вы должны быть.

И, закрывая съезд, вношу на рассмотрение делегатов предложение присвоить звание почетных членов ВЛКСМ Михайлову и Шелепину. Зал взорвался, такую овацию устроили. А перед этим еще один был любопытный эпизод. Захожу я — уже первый секретарь ЦК, только что на пленуме избрали — перед заключительным заседанием в комнату президиума в Большом Кремлевском дворце... Там весь Президиум ЦК партии. Подхожу к Хрущеву:

— Никита Сергеевич, когда я буду о Шелепине объявлять... вот тут в тексте сказано: «В связи с переходом на большую партийную работу». Но для работника комсомола и инструктор ЦК партии — это большая работа. По существу, ведь впервые будем сейчас провожать секретаря ЦК комсомола на работу зав. Отделом парторганов ЦК КПСС, а почему-то боимся сказать об этом во всеуслышание.

---

* Н. А. Михайлов в 1938—1952 гг. был первым секретарем ЦК ВЛКСМ.

— Нет,— отвечает,— еще решения Президиума ЦК.
— Так вот же он, Президиум...
— Да нет, и не приставай! Это надо организованно решать.
— Я и не предлагаю неорганизованно.
— Ну и нахальный же ты парень. Вот, право, заладил...
Походил-походил, потом говорит, обращаясь к присутствующим: «Послушайте, вот Семичастный подал мне эту мысль, теперь не могу из головы ее выбросить...»
Быстро все обсудили, и мне сказали:
— Ну, давай...
Когда я объявил, что А. Н. Шелепин утвержден зав. Отделом парторганов ЦК КПСС, зал просто ликовал. Другого слова, пожалуй, и не подберешь.
Все понимали, что таким решением давалась и оценка работы комсомола, и показывался пример для местных партийных комитетов.

Комсомольская жизнь, 1988, № 7


ОБЕСПЕЧИТЬ МИР
НА ЗЕМЛЕ

В международных делах, в решении спорных проблем успех возможен, если государства будут ориентироваться не на то, что разделяет современный мир, а на то, что сближает государства. Никакие социальные и политические различия, никакие расхождения в идеологии и религиозных убеждениях не должны мешать государствам — членам ООН договориться о главном — о том, чтобы принципы мирного сосуществования и дружественного сотрудничества свято и неукоснительно соблюдались всеми государствами...

Мы готовы идти на любые шаги для обеспечения мира, в частности в вопросе о разоружении. Но для того чтобы прийти к соглашению, требуется взаимное желание достигнуть полезных результатов. Возьмите вопрос о разоружении. Готовы ли вы сейчас ликвидировать военные базы на чужой территории и отвести войска в национальные границы? Мы к этому готовы!

...В наше время, видимо, только сумасшедшие могут надеяться на решение спорных вопросов между государствами путем войны. Об этом неоднократно говорил и президент Соединенных Штатов Америки.

Например, в речи в американском университете... президент Кеннеди заявил: «Тотальная война не имеет никакого смысла в век, когда великие державы могут держать большие и сравнительно неуязвимые ядерные силы и отказываться сдаться без того, чтобы прибегнуть к применению этих сил». Президент Кеннеди призвал строить отношения с Советским Союзом на новой основе, с тем чтобы сохранить мир и не сгореть в ракетно-ядерной войне.

Н. С. ХРУЩЕВ

С. Кондрашов

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА,

или Экскурс в историю, навеянный событиями дня

Лицом к лицу лица не увидать... Если распространить лирическую истину Есенина на международную политику, получится: текущий день нельзя как следует разглядеть из него самого, из сегодняшнего, текущего дня. Чтобы увидать лицо, надо отойти, отдалиться. Чтобы оценить значение того или иного политического явления, требуется взгляд из прошлого (еще лучше, конечно, взгляд из будущего, но, увы, он может быть представлен не более чем футурологическими сценариями). Лишь история дает нам объемное ви́дение настоящего.

Визит М. С. Горбачева в Организацию Объединенных Наций, его выступление на сессии Генеральной Ассамблеи приводят на память событие почти тридцатилетней давности. С 19 сентября по 13 октября 1960 г., едва ли не целый месяц, в Нью-Йорке находился другой советский руководитель — Н. С. Хрущев.

Между двумя визитами — дистанция времени, плотно забитого историческими событиями, и разительная эволюция советского политического мышления. Для наглядности, для легкости восприятия эту огромную разницу можно обнаружить в политическом смысле двух внешне созвучных слов, которые тогда и сегодня мы подарили международному языку,— тройка и перестройка. Тройка уже канула в Лету, оставшись лишь в книгах по дипломатической истории. Между тем осенью 1960 г. она была у всех на устах. Недовольный действиями тогдашнего генерального секретаря ООН Д. Хаммаршельда в конголезской операции по поддержанию мира, Н. С. Хрущев требовал, чтобы разделение мира на социалистические, капиталистические и нейтральные (неприсоединившиеся) государства было организационно оформлено и в структуре исполнительного органа ООН, ее Секретариата — вплоть до назначения трех генеральных секретарей вместо одного по Уставу. Отсюда — тройка. В ней выражалось не только настаивание на принципе равного представительства и участия в ООН, где в общем-то заправляли тогда западные державы, но и более широкая стратегическая установка, оценка будущего. После оцепенения последних сталинских

лет, после предельного ожесточения «холодной войны» это были первые выходы Советского Союза «в свет». Подразумевалось, что, освободившись от «последствий культа личности», социалистическая система, не нуждаясь в перестройке, триумфально будет набирать очки и что ее политический союз с неприсоединившимися странами, которые, разумеется, тоже пойдут по социалистическому пути, обречет на скорое неминуемое поражение загнивающий лагерь капитализма. Вот какая ставка на противоборство (но политическое, а не военное!) стояла за хрущевской ооновской тройкой, которая, по правде говоря, была больше похожа на лебедя, рака и щуку и которая «не прошла» и ненадолго задержалась в международном лексиконе.

Тройка и перестройка... Это дистанция между старым мышлением и новым, вызванным к жизни уроками истории. Хотя огромные различия среди государств — членов мирового сообщества остаются, советская политика делает теперь акцент на общности мира, проистекающей из осознания общности его судьбы. И нигде этот акцент не был поставлен так сильно и резко, как в недавней речи М. С. Горбачева в ООН. Перед самой представительной из международных аудиторий советский руководитель подчеркнул, что мы сейчас особенно заинтересованы в том, чтобы **быть правильно понятыми:** в нашей перестройке «заключен колоссальный потенциал мира и международного сотрудничества».

Это потенциал не разъединения, а объединения.

И в горбачевской ооновской речи как никогда сильно звучал уже знакомый нам в последние три года лейтмотив:

«Сегодня мы вступили в эпоху, когда в основе прогресса будет лежать общечеловеческий интерес».

«Дальнейший мировой прогресс возможен теперь лишь через поиск общечеловеческого консенсуса в движении к новому мировому порядку».

«...Надо совместно искать путь к верховенству общечеловеческой идеи над бесчисленным множеством центробежных сил...»

Кто мог из осени 1960 г. узреть декабрь 1988-го? И кто может заглянуть на 28 лет вперед, в 2016-й? Не обладая даром провидения, давайте, однако, вернемся в ту нью-йоркскую осень, чтобы углубить свое видение движущейся истории.

Итак, Н. С. Хрущев прибыл в Нью-Йорк на тепло-

ходе «Балтика» для участия в работе XV сессии Генеральной Ассамблеи, с десяток раз выступал с ее трибуны, и, вне сомнения, тогда это было мировым событием номер один, тем более что, откликаясь на призыв Москвы, в Нью-Йорк слетелись лидеры социалистических стран Европы и ряда влиятельных неприсоединившихся государств. Тем более что, демонстрируя свой темперамент, грубоватую откровенность и упрощенно-пропагандистский подход к международной дипломатии, Хрущев рубил правду-матку сплеча и нарочито превращал зал Генеральной Ассамблеи в арену прямой конфронтации с США и, как он выражался, с «другими государствами монополистического капитала».

Дитя своего сурового и в чем-то высокомерного времени, Хрущев «по-пролетарски» пренебрегал всякими манерами. И в историю, которая любит регистрировать казусы, вошло его — на виду у всех, в зале Генеральной Ассамблеи — стучание башмаком по столу: ему что-то не понравилось в выступлении филиппинского делегата. На Западе это окрестили «башмачной дипломатией», у нас сконфуженно замалчивали или, напротив, пытались преподнести как мастерский ход дипломатии нового типа: вот, дескать, на что приходится порой идти ради утверждения «классового подхода» и выражения презрения к «марионеткам американского империализма».

Все это, однако, лишь пестрые аксессуары, которыми не хотелось бы загораживать суть. Глядя из сегодняшнего дня, видишь драму истории. Хрущев, несомненно, был «человеком мира», несомненно, выражал мирные устремления нашего народа, но его анализ обстановки, неся черты сталинского догматизма, не отличался точностью, преувеличивал агрессивность другой стороны, а избранные им средства отталкивали США и другие западные державы и по итогу скорее отдаляли, чем приближали, достижение мирных целей. Употребляя нынешнюю терминологию, можно сказать, что его подход (наш подход!) к межгосударственным отношениям был предельно идеологизирован. Пропагандируя принципы мирного сосуществования, он не уставал в тех или иных выражениях повторять дразнившую и ожесточавшую американцев мысль: «Мы вас закопаем». Он признавал за каждым народом право выбора того или иного строя, но одновременно заявлял: «Ликвидация капиталистической системы — это коренной вопрос развития общества». По его схеме, которая, впрочем,

усердно воспроизводилась многими из наших пропагандистов до последних лет, американский народ — хороший и миролюбивый, а правительство США — плохое и агрессивное и представляет не народ, а лишь воротил Уолл-стрита. Никоим образом не хочу создавать упрощенную схему противоположного порядка и идеализировать сложный механизм действия американской демократии, но это лобовое — и неверное — противопоставление правительства и народа бесило американцев. «Пожалуйста, не кусайте нас, вы нас кусаете»,— говорил Хрущеву телевизионный комментатор Дэвид Саскайнд. Хрущев отвечал: «Нет, это вы нас кусаете. Ведь посылка У-2 — это ваш укус».

Эпизод с американским высотным самолетом-шпионом, сбитым под Свердловском 1 мая 1960 г., находился в эпицентре тогдашнего советско-американского спора. Сейчас космические спутники-шпионы недосягаемы и, по существу, признаны как реально существующий элемент международной жизни в мире, начиненном ракетно-ядерным оружием. Но тогда эпизод с У-2 и его уцелевшим и попавшим к нам в плен пилотом вызвал настоящий кризис, послужил причиной срыва парижского совещания в верхах четырех держав (СССР, США, Франция и Великобритания) и отмены официального визита в СССР президента Эйзенхауэра и в конце концов привел Хрущева за океан, на сессию Генеральной Ассамблеи, в состоянии праведного гнева. К тому же 1 июля того же года другой американский военный самолет — РБ-47 попал в советское воздушное пространство в районе Кольского полуострова — и тоже был сбит. Вашингтон был изрядно сконфужен, президент Эйзенхауэр прекратил шпионские полеты, хотя в принципе оставлял за американским правительством право на разведывательные операции относительно державы, которая держит в тайне свою военную деятельность.

Так шумно, детективно и даже балаганно развивались события, создавая ощущение искусственно нагнетаемого и одновременно подлинного напряжения.

1960 год, кроме прочего, вошел в историю как год освобождения Африки. Там одно за другим провозглашались независимые государства вместо бывших колоний. Советский Союз горячо приветствовал этот процесс. В получившем независимость Бельгийском Конго не без подстрекательства вчерашних хозяев вспыхнула междоусобная борьба, сепаратистами был убит премьер-ми-

нистр Лумумба, брошенные туда силы ООН по поддержанию мира, по оценке Москвы, способствовали проискам империализма, а генерального секретаря ООН, шведского аристократа и мистика Хаммаршельда, погибшего позднее в том же году в том же Конго при авиационной катастрофе, Хрущев хотел изгнать из ООН и клеймил как «слугу монополистического капитала США». Все перемешалось в те дни хрущевской «бури и натиска» на Нью-Йорк: исторически значимая Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам и личные нападки на высшее должностное лицо ООН, отнюдь не укреплявшие наши позиции. И все это еще ждет своего объемного отражения в нашей исторической литературе, потому что и она нуждается в переосмыслении и перестройке.

Речи и интервью Н. С. Хрущева в ООН занимают 300 страниц во втором томе его внешнеполитических выступлений за 1960 год. Это поучительное чтение. На постаревших документах лежит выразительная печать времени. Прочтите — хотя бы для того, чтобы убедиться, куда и как далеко ушли мы, нынешние. Эпизоды с двумя самолетами советский лидер, думается, переигрывал, и если внутри нашей страны, при тогдашнем массовом уровне понимания Америки, это, может быть, оправдывало себя пропагандистски, то на Западе, среди широкой общественности, не говоря уже о политических кругах, переигрывание означало проигрыш.

Хрущев мало знал Соединенные Штаты и «другие государства монополистического капитала» — увы, это недостаток многих советских деятелей. Мало понимал их и не очень-то хотел понимать. Со всем «теоретическим», а также практическим, от времени своей шахтерской молодости, пылом ненавидел «капитализм», хотя на уровне непосредственного восприятия, встречаясь с отдельными «представителями» этого капитализма, будь то президент Эйзенхауэр или какой-нибудь журналист, обычно сдерживался, избегал оскорбительного тона и, напротив, несмотря на грубоватость, демонстрировал человечность, добродушие, симпатию. Вот тут в нем прорывалось нечто начисто отсутствовавшее в нашем тогдашнем политическом лексиконе, а теперь самыми крупными буквами написанное на знамени нового мышления — общечеловеческое. Или, скажу так, нормально человеческое, просто человеческое, человечное. То, что, как родимые пятна прошлого, десятилетиями выводи-

лось из наших людей наихудшими идеологами и практиками сталинизма. То нормально человеческое, что диктует нам сейчас, не колеблясь, принять иностранную помощь жертвам землетрясения в Армении, которую раньше мы, не колеблясь, отвергли бы,— и мы видим английских пожарников и французских и американских спасателей с их специально натренированными собаками на нашей земле через два-три дня после случившегося и вряд ли подозреваем в них агентов ЦРУ, Интеллидженс сервис и... как там называется французская разведка?

Невежество — демоническая сила, писал Маркс, не делая скидки и для марксистов. Демоническая сила умножается, вступив в союз с догматизмом, для которого даже законы развития входят в набор раз и навсегда установленных истин, удобных для ленивых умом или исполненных карьеристского рвения людей. Идеологизированный взгляд на мир лишь тогда годится, когда не искажает реальной картины мира. Ее-то, этой реальной картины, и не хватало Хрущеву и его окружению. Они недооценивали жизнеспособность и гигантский рабочий ресурс капитализма, прежде всего американского, и не предвидели, что именно система частного предпринимательства первой оседлает электронного коня научно-технической революции. Преувеличивали агрессивность Запада. Хрущев заверял вчерашние колонии, что на протяжении жизни одного поколения они смогут стать вровень со странами экономически передовыми, разумеется не предвидя нынешнюю проблему катастрофического внешнего долга, о поисках выхода из которой рассуждал с трибуны ООН Горбачев.

Чем объяснить эти вопиющие просчеты? Незнанием многих основных фактов, непониманием тенденций развития, той слепой, можно сказать, религиозной верой в искаженный догматический марксизм, которая несет в себе, как всякая религия, и упование на чудо. Ведь обещал же Хрущев тогда, что наше поколение будет жить при коммунизме. Если добавить к этому убежденность в упадке Запада, который, с его точки зрения, мы далеко оставили позади по параметрам демократии и вот-вот должны были перегнать экономически, если добавить надежду, что силы социалистической системы удвоятся крепким политическим союзом с миром неприсоединившихся государств, то получим и однозначно выигрышный широкий для нас фон, на котором, по представле-

нию советского руководства, шел тогда диалог Советского Союза с Западом.

Да, Хрущев искренне стоял за мирное сосуществование, доказав это своим поведением позднее, в октябре 1962 г., в драматические дни карибского ракетного кризиса. Тайком поставив тогда ракеты на Кубу, он потом согласился в открытую, под американским давлением, эти ракеты убрать, пошел на унижение, чтобы избежать ядерного конфликта. Да, он хотел мира, но при означенном выше мировосприятии, при обманчиво радужной перспективе нашего быстрого, нарастающего перевеса над другой стороной, его тяга к диалогу, к Западу не была, мягко сказать, всепоглощающей. (В своих заметках я почти не касаюсь политики и позиции другой стороны, но и она не так тянулась к диалогу, как сейчас, еще не пройдя через нравственно-политические испытания последующих десятилетий и не нагромоздив бессмысленные горы ракетно-ядерных вооружений.)

И средства советской внешней политики, ее дипломатический инструментарий, уровень понимания и учета законных интересов западных держав не соответствовали провозглашенным мирным целям. Надо признаться: было больше «работы на публику», чем скрупулезных, трудных поисков реальных рамок для компромисса. На XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН Н. С. Хрущев внес основные положения Договора о всеобщем и полном разоружении. Договор означал самое радикальное прощание с оружием — от уничтожения ядерных арсеналов до упразднения военных училищ. Но осуществить все это предполагалось в четыре года — явно нереальный срок. Хотя не исключался «иной согласованный срок», советский лидер не раз высмеивал тогдашнего британского премьер-министра Макмиллана, отводившего пять — десять лет на переговоры о достижении соглашения. Теперь, почти через три десятка лет, видишь, как торопились оба. Предложения о контрольном механизме были весьма расплывчаты, что тоже прекрасно видно с высоты минувшего времени и такого радикального опыта, как советско-американский Договор о РСМД.

Цель была благороднейшей, но, как и любую цель, ее нельзя оценивать вне средств, предлагающихся для ее достижения. Обсуждать проект Договора о всеобщем и полном разоружении предлагалось на Генеральной Ассамблее ООН, и это одно сводило работу над ним до

уровня международного пропагандистского мероприятия. Сейчас, после бесчисленных раундов Женевы, мы понимаем, что так такие обсуждения не ведутся и такие дела не делаются. Но тогда не удалось преодолеть и этот простейший камень преткновения: где обсуждать — на Генеральной Ассамблее или в политическом комитете, на чем настаивали западные державы? В очередной раз победу одержал не здравый смысл, а торжествующее непонимание. В очередной и далеко не последний.

...Когда Хрущев отбыл из Нью-Йорка, оставалось каких-то три недели до американских президентских выборов 1960 г.— и, между прочим, его речи ложились в контекст избирательной борьбы. Старый генерал Эйзенхауэр, готовясь покинуть Белый дом, произнес свое знаменитое предостережение насчет опасного нарастающего влияния военно-промышленного комплекса. Но молодой обаятельный Джон Кеннеди играл на «ракетном отставании» США от СССР, используя в свою пользу и живописное хрущевское описание одного советского завода, где ракеты, «как колбасы», сходят с конвейера. Утверждение Кеннеди было ложным, но помогло ему победить Никсона и стать президентом. Он развернул гигантскую программу строительства тысячи межконтинентальных ракет «минитмен». Осенью 1962 г. под американским нажимом Советский Союз вывел ракеты с Кубы, но советские руководители и военные сделали практические выводы из явного ракетно-ядерного превосходства Америки (по данным тогдашнего министра обороны США Макнамары, у них было в 17 раз больше ядерных боеголовок, чем у нас). Когда Хрущев был устранен двумя годами позже, наши военные, судя по всему, получили карт-бланш...

Известия, 1988, 14 декабря

В. Кобыш

УРОКИ КАРИБСКОГО КРИЗИСА

Сейчас, когда мы оказались жителями ядерного века, слабо представляющими себе, что может он принести нам завтра, особенно важно разобраться в событиях, случившихся четверть века назад, понять действие механизма, который привел их в движение. Повторяю, сейчас это более важно, чем когда-либо прежде.

Дело не в сенсациях, но, наверное, лучше сказать всю правду. А она ужасающе проста: в октябре 1962 г. мир оказался у порога третьей мировой войны, а человечество — на грани термоядерной катастрофы.

Вот как все получилось, и тут придется начинать с самого начала. 1 января 1959 г. на Кубе победила народная революция. Возглавила ее горстка героев во главе с Фиделем Кастро, в то время 32-летним.

Власти США открыто враждебно встретили рождение новой, свободной, революционной Кубы. По правде говоря, я до сих пор не пойму, чем руководствовались в те дни в Вашингтоне, о чем там думали, проводя такой курс в отношении небольшой страны, с которой, вероятно, можно было как-то поладить. В то время ни у Фиделя Кастро, ни у его сподвижников не было не только никаких контактов ни с Советским Союзом, ни с другими социалистическими государствами, но даже и элементарных познаний о марксизме-ленинизме, о коммунистическом учении. Нет, ни о чем не думали тогда в Вашингтоне: мелкие обиды и амбиции вылились в большую глупость.

Кубу стали травить, прежде всего экономически. Страну монокультуры, полностью зависящую от производства и сбыта сахара, наглухо блокировали: сахар пропадал, а то, в чем жизненно нуждалась республика, ее экономика, сюда не поступало.

Гордых, отважных кубинцев хотели поставить на колени. Добились же совсем иного. Чего именно — объяснил Фидель Кастро в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН осенью 1960 г. Это вы, сказал он, обращаясь к сидевшим в зале американцам, толкнули нас на поиски новых рынков и новых друзей. И мы нашли их в лице Советского Союза, социалистического мира. А уж после этого мы заинтересовались и социализмом как таковым, стали его изучать. И пришли к выводу, что без социализма нам не переделать Кубу. Это вы, американцы, нас научили, как действовать.

Летом 1962 г. правительство Кубы обратилось к Советскому Союзу с просьбой оказать их стране дополнительную помощь. В полном согласии с международным правом две наши страны договорились о ряде мер, направленных на укрепление обороноспособности суверенной Кубы. Меры эти, в частности, предусматривали доставку туда советского ракетного оружия. С нашей стороны решение это представлялось тем более оправ-

данным, что Соединенные Штаты начали в то время обкладывать Советский Союз по всему периметру его границ своими ракетными базами. Оправданно ли то, что, доставив на Кубу свои первые ракеты, мы не сделали об этом официального заявления, более того, отрицали, в частности, на Генеральной Ассамблее ООН этот факт? Полагаю, что независимо от того, каждый ли раз американцы объявляли о размещении своих ракет, наше молчание, а тем более отрицание факта, не было оправданным.

В США была развязана безответственная, если не сказать безобразная, антисоветская и антикубинская кампания. К кампании этой, к сожалению, подключились высшие американские руководители. 11 сентября 1962 г. Советский Союз обратился к правительству США с призывом «проявить благоразумие, не терять самообладания и трезво оценить, к чему могут привести его действия, если оно развяжет войну». Война, как видим, стояла у порога.

Советское предупреждение было проигнорировано Вашингтоном. 22 октября, грубо нарушив нормы международного права, власти США объявили о введении через двое суток «строгого карантина на все виды наступательного оружия, перевозимого на Кубу».

Советские суда между тем шли на Кубу. Американские военные корабли встали им на пути заслоном. И в Москве, и в Вашингтоне в высоких ведомствах несколько ночей не спали. Надо признать, что с обеих сторон было общее понимание: в любую минуту может случиться непоправимое.

Не случилось. Потому что опять-таки с обеих сторон хватило и мудрости, и мужества пойти на взаимные уступки. Начались интенсивные дипломатические контакты. Обмен посланиями между советским и американским руководителями, а также переговоры в рамках ООН дали возможность выйти из смертельно опасного тупика. 20 ноября правительство США отменило свой «карантин». Соединенные Штаты объявили, как обязательство, что Куба не подвергнется нападению или вторжению, причем не только со стороны США, но и со стороны других государств Западного полушария. Советские ракеты были вывезены с Кубы.

То, что случилось четверть века назад, меньше всего можно назвать чудом. Обе стороны — и советское руководство во главе с Н. С. Хрущевым, и американская ад-

министрация, которую тогда возглавлял президент Дж. Ф. Кеннеди,— заняв жесткую, твердую позицию, в конечном счете продемонстрировали здравый смысл, гибкость, благоразумие.

В сегодняшнем мире, в ситуации, в которой ныне оказалось человечество, такое не забывается.

Известия, 1987, 22 октября

А. Алексеев

КАРИБСКИЙ КРИЗИС. КАК ЭТО БЫЛО

После восстановления дипотношений меня назначили советником советского посольства в Гаване, и на этом посту я проработал почти два года. А в начале мая 1962 года меня неожиданно вызвали в Москву. На другой же день после приезда я был приглашен на беседу к Н. С. Хрущеву, от которого узнал о решении назначить меня послом в Республике Куба. Беседа один на один продолжалась в его кремлевском кабинете более часа. Я рассказывал Хрущеву о проблемах Кубы, о Фиделе, Эрнесто Че Геваре, Рауле Кастро, других руководителях страны. Он задавал мне немало вопросов, причем по ходу беседы, когда требовалось принятие каких-либо решений, не раз снимал трубку телефона и поручал секретарю ЦК КПСС Ф. Р. Козлову разобраться с тем или иным нашим ведомством.

Н. С. Хрущев с большой симпатией говорил о лидерах кубинской революции, уточнял известные ему факты и события. Чувствовалось, что он хорошо понимал положение в стране, о котором знал от многих людей, кому уже довелось побывать там. Особенно мне было здесь заметно влияние Микояна, который был по-настоящему очарован умом и мужеством Фиделя; много рассказывали Н. С. Хрущеву о Кубе его дочь Рада и А. И. Аджубей.

В общем, мне было легко разговаривать с Никитой Сергеевичем на тему Кубы и ее революции: он понимал меня с полуслова. В конце беседы Хрущев пожелал мне успехов в работе и сказал, что Советское правительство сделает все возможное, чтобы помочь революционному народу отстоять свои завоевания от происков американского империализма. Однако он ни словом не обмол-

вился и даже не намекнул, что у него уже есть намерение, в случае согласия Гаваны, разместить на Кубе наши ракеты. Он только пообещал вызвать меня еще раз, чтобы побеседовать о проблемах Кубы в присутствии других советских руководителей.

Через четыре дня в Кремле состоялась новая беседа, на которой кроме Н. С. Хрущева присутствовали Ф. Р. Козлов, А. И. Микоян, маршал Р. Я. Малиновский, министр иностранных дел А. А. Громыко, командующий Ракетными войсками маршал С. С. Бирюзов. Не хотелось вспоминать еще одного участника, но что было, то было: присутствовал и тогдашний кандидат в члены Президиума ЦК КПСС Ш. Р. Рашидов.

Я вновь рассказывал о кубинских делах, своими впечатлениями поделился также Микоян. Хрущев же постоянно задавал вопросы, акцентируя внимание собравшихся на обеспечении обороноспособности Кубы, на решимости ее руководителей и всего народа противостоять американскому нажиму. И вдруг прозвучал вопрос, неожиданность которого повергла меня в оцепенение: Хрущев спросил, как, по-моему, прореагирует Фидель на предложение установить на Кубе наши ракеты. С трудом преодолев замешательство, я все же высказал сомнение в том, что Фидель с таким предложением согласится, поскольку кубинские руководители строят свою стратегию на боеготовности всего народа и на солидарности мирового общественного мнения, народов Латинской Америки с кубинской революцией.

Мне на это возразил маршал Малиновский, который сказал, что в свое время республиканское правительство Испании открыто пошло на то, чтобы принять военную помощь Советского Союза, а у Кубы должно быть еще больше причин для этого.

Тогда Хрущев в обстоятельном выступлении сказал, что если Фидель сочтет наше предложение неприемлемым, то мы окажем Кубе помощь любыми другими средствами, которые, впрочем, вряд ли остановят агрессора. Я не дословно цитирую, а привожу смысл высказываний Н. С. Хрущева. Он сказал далее о своей абсолютной уверенности в том, что в отместку за поражение на Плая-Хирон американцы предпримут вторжение на Кубу уже не с помощью наемников, а собственными вооруженными силами: на этот счет у нас есть достоверные данные. Мы, продолжал он, должны

найти столь эффективное средство устрашения, которое удержало бы американцев от этого рискованного шага, ибо наших выступлений в ООН в защиту Кубы уже явно недостаточно.

Надо дать им понять, что, напав на Кубу, они будут иметь дело не только с одной непокорной страной, но и с ядерной мощью Советского Союза. Надо максимально повысить плату за военную авантюру против Кубы, в какой-то мере уравнять угрозу Кубе угрозой самим Соединенным Штатам. Логика подсказывает, говорил Хрущев, что таким средством может быть только размещение наших ракет с ядерными боеголовками на территории Кубы.

Поскольку американцы уже окружили Советский Союз кольцом своих военных баз и ракетных установок различного назначения, мы должны заплатить им их же монетой, дать им попробовать собственное лекарство, чтобы на себе почувствовать, каково живется под прицелом ядерного оружия. Говоря об этом, Хрущев подчеркнул необходимость проведения этой операции в условиях строгой секретности, чтобы американцы не обнаружили ракет до того, как они будут приведены в полную боевую готовность. Особенно важно избежать огласки в период накала в США политических страстей — кампании по выборам в конгресс, назначенным на 6 ноября 1962 г. А после этого, считал Хрущев, можно будет обнародовать соглашение о ракетах, если оно будет одобрено кубинским правительством. Тогда Куба окажется в фокусе мировой политики и американцам будет уже поздно что-либо предпринимать против нее. Мы же будем разговаривать с Америкой на равных.

Конечно, подчеркивал Хрущев, необходимо избрать такой способ противодействия американской угрозе в отношении Кубы, который не привел бы к началу термоядерной войны. Он высказал уверенность, что прагматичные американцы не отважатся на безрассудный риск — точно так же, как мы сейчас не можем ничего предпринять против нацеленных из Турции, Италии, ФРГ на Советский Союз американских ракет. Должны же здравомыслящие политики в США рассуждать так же, как сегодня рассуждаем мы, заключил Хрущев.

На совещании было принято решение направить в Гавану делегацию в составе Ш. Р. Рашидова, маршала С. С. Бирюзова и автора этих строк для обсуждения с

кубинским руководством идей, высказанных Н. С. Хрущевым. Перед самым отлетом мы были приглашены к нему на дачу в Горках. Там присутствовали все члены Президиума ЦК КПСС, находившиеся в то время в Москве. Хрущев повторил высказанные на прошлой встрече соображения и пожелал нам успеха. На этом совещании царило полное единодушие, и потому распространенная впоследствии западной прессой версия, будто в советском руководстве была оппозиция этим планам Хрущева, не соответствует действительности.

В конце мая мы уже прибыли в Гавану. Надо сказать, что мое положение было довольно деликатным: официально я еще не был назначен послом, хотя агреман уже был запрошен у кубинцев. Тем не менее в день приезда я встретился с Раулем Кастро и попросил его срочно организовать встречу с Фиделем. Я ничего не сказал Раулю о конкретных целях нашей делегации, но, поскольку в ее составе был маршал Бирюзов, прибывший в Гавану под другой фамилией, Рауль, как мне думается, понял, о чем пойдет речь. Через несколько часов вечером состоялась наша встреча с Фиделем, на которой присутствовал и Рауль.

Разговор начался с сообщения об озабоченности Советского правительства развитием событий вокруг Кубы, наращиванием агрессивных действий США, что могло привести к их вооруженному вторжению. Наши и кубинские оценки создавшегося положения оказались идентичными.

Затем было сказано, что правительство СССР всеми возможными средствами готово помочь Кубе в укреплении ее обороноспособности вплоть до рассмотрения вопроса о размещении на ее территории советских ракет средней дальности, если кубинские друзья сочтут для себя полезным такое средство устрашения потенциального агрессора. Далее были изложены приведенные выше мысли Н. С. Хрущева.

Фидель на минуту задумался, а затем сказал, что ему эта идея представляется очень интересной, поскольку она, кроме защиты кубинской революции, послужит интересам мирового социализма и угнетенных народов в их противоборстве с обнаглевшим американским империализмом, который повсюду в мире пытается диктовать свою волю. Таким образом, Куба могла бы внести свой вклад в общее дело антиимпериалистической борьбы. Но он пообещал обсудить этот вопрос с

ближайшими соратниками и лишь потом дать нам окончательный ответ. Мне показалось тогда, что Фидель еще до нашей встречи понял, о чем пойдет речь, и уже был почти готов к положительному ответу. На следующий день состоялась новая беседа, на которой с кубинской стороны кроме Фиделя присутствовали Рауль Кастро, Эрнесто Че Гевара, Освальдо Дортикос и Рамиро Вальдес. Ответ их был однозначен: да.

Проведение в Москве конкретных переговоров и выработка соглашения о размещении на территории Кубы советских ракет были поручены Раулю Кастро. Он прилетел в СССР в июне. В условиях абсолютной секретности состоялись его переговоры с Н. С. Хрущевым, маршалами Р. Я. Малиновским и С. С. Бирюзовым; переводчиком был я. К работе над соглашением были привлечены еще лишь два или три генерала, причем даже перевод проекта документа на испанский язык пришлось делать нам с Раулем вдвоем. Соглашение, которое должны были подписать Н. С. Хрущев и Ф. Кастро, было парафировано Р. Я. Малиновским и Р. Кастро. В нем было сказано, что сами ракеты и их обслуживание будут полностью находиться в ведении советского военного командования.

В самом начале августа я прибыл в Гавану уже в качестве посла и передал Фиделю текст соглашения. Он внес в документ некоторые поправки, и в конце того же месяца в Москву с исправленным экземпляром соглашения вылетел Эрнесто Че Гевара. Однако из-за обострившейся обстановки документ так и не успели подписать на высшем уровне. Поскольку переписки между Москвой и Гаваной на сей счет не было, никаких бумаг в архивах не осталось.

Между тем уже в июле началась подготовка к отправке на Кубу как материальной части, так и воинского персонала.

К 22 октября 1962 г., когда президент США Джон Кеннеди выступил по американскому радио и телевидению с сообщением об обнаружении на Кубе советских ракет, все 42 ракеты и боеголовки к ним, а также воинский персонал уже были на месте. Некоторые ракеты были приведены в боевую готовность. Часть наших кораблей еще находилась в пути, но на них было вспомогательное снаряжение и продовольствие для воинского контингента, без чего при случае можно было и обойтись.

Первые данные об огромном увеличении количества советских судов, следовавших на Кубу, американцы получили от западногерманской разведки уже в конце августа: в самом деле, число наших судов на Балтике и в Атлантике за два-три месяца, предшествовавших кризису, увеличилось почти в десять раз. Кроме того, кубинцы, бежавшие во время и после революции в США, начали получать от своих родственников письма, в которых сообщалось о завозе «странного советского вооружения». Хотя вся выгрузка ракет в портах и перевозка их к местам назначения осуществлялись по ночам и только советским персоналом, скрыть факт движения по дорогам даже надежно закамуфлированных 20-метровых ракет было трудно.

Судя по рассекреченным в США правительственным документам, фактически до начала октября американская администрация не придавала большого значения поступавшей на сей счет информации. И только 14 октября, после того как разведывательный самолет У-2, пролетевший над Кубой, сделал фотосъемку ряда стартовых площадок, специалисты пришли к выводу, что на острове устанавливаются ракеты средней дальности. Правда, сами ракеты сфотографированы не были, но подъездные пути и сконцентрированное на стартовых площадках оборудование убедили американских экспертов в том, что речь идет о ракетно-ядерном оружии. 16 октября об этом был проинформирован президент США, под председательством которого был сформирован специальный штаб при Совете национальной безопасности, начавший ежедневные заседания с целью разработки ответных мер. До 22 октября заседания штаба велись в строгой тайне. Ни в Москве, ни в Гаване тогда еще не было известно о том, что ракеты обнаружены американцами.

В своем обращении к американскому народу 22 октября президент Дж. Кеннеди потребовал от СССР вывода ракет и объявил военную блокаду Кубы (поскольку фактически это означало объявление войны, он назвал блокаду карантином).

Чтобы не обострять конфликта, ряду наших кораблей, следовавших на Кубу, было дано указание изменить курс, но несколько судов, не обращая внимания на предупреждения со стороны американских военных кораблей, все же прорвались к острову. Американцами было остановлено и проверено только одно зафрахто-

ванное Советским Союзом канадское судно, доставлявшее на Кубу сельскохозяйственные машины.

На другой день после речи Дж. Кеннеди Н. С. Хрущев направил ему большое письмо, в котором доказывал законность действий двух суверенных государств — СССР и Кубы, вынужденных в ответ на неприкрытые агрессивные действия США принять меры для обеспечения безопасности Кубы. Хрущев призывал Кеннеди не поддаваться милитаристскому психозу и не толкать человечество в пучину ядерной катастрофы. В послании звучали твердость и уверенность в правоте предпринятых СССР и Кубой действий, а также призыв к мирному урегулированию сложившейся ситуации. На следующий день Кеннеди ответил Хрущеву, что будет твердо отстаивать свои позиции, и повторил угрозу применить силу, если ракеты не будут убраны. Узел конфликта завязывался все туже и туже.

С 23 по 28 октября обмен такими письмами проходил ежедневно. Со всеми этими документами я знакомил Фиделя Кастро, и он, таким образом, активно участвовал в переписке, высказывая свои суждения об аргументах Кеннеди и Хрущева, подсказывая нам пути преодоления возникавших на переговорах трудностей. В те тревожные дни Фидель проявлял поистине олимпийское спокойствие и уверенность в том, что если мы сохраним твердость, то американцы не отважатся на осуществление своих угроз. Он прекрасно знал психологию своих северных соседей. В то же время он вел неустанную работу по мобилизации вооруженных сил республики и всего народа на отпор агрессорам.

Надо подчеркнуть, что революционная Куба не дрогнула перед этими испытаниями. Вся страна превратилась в четко управляемый и организованный военный лагерь. Мужество кубинцев передавалось и нам, советским людям, в том числе воинскому контингенту, готовому выполнить свой интернациональный долг. Не было никакой паники, никто не пытался покинуть Кубу.

А в субботу, 27 октября, над островом был сбит американский разведывательный самолет У-2. Его пилот Андерсон погиб. Обстановка в США накалилась до предела: тот день американцы называют «черной субботой». Президент, подвергавшийся сильному нажиму «ястребов», требовавших немедленного возмездия, расценил это событие как решимость СССР не отступать

перед угрозами, даже с риском начала ядерной войны. Если до этого он придерживался арсенала традиционных военно-политических средств, то теперь понял, что только дипломатия, только равноправные переговоры и компромиссы могут стать эффективными средствами разрешения кризиса.

Кстати, тогда был пущен слух, что самолет У-2 сбили кубинцы. Один эмигрант, называвший себя «очевидцем», даже доказывал позднее в газетной публикации, что «кнопку пускового устройства ракеты нажал сам Фидель Кастро». Президент США не поверил этим слухам, но он был убежден, что самолет сбит по приказу Советского правительства. На самом же деле, как нам стало известно позднее, самолет сбили по приказу командующего ПВО группы советских войск на Кубе.

Самолет появился на высоте 22 тысячи метров и через две минуты должен был оказаться в зоне досягаемости ракеты. Наш командующий ПВО, зная о приказе Ф. Кастро своим вооруженным силам сбивать без предупреждения все военные самолеты, появляющиеся в воздушном пространстве Кубы, и имея всего две минуты на размышление, отдал приказ о поражении цели. Самолет Андерсона был сбит первой же ракетой...

Сложившаяся ситуация подтолкнула президента США к решению искать любые средства для политического урегулирования кризиса. Почувствовав, что США находятся в преддверии войны, он поручил своему брату Роберту срочно встретиться с советским послом в Вашингтоне А. Ф. Добрыниным. В обмен на вывод советских ракет Дж. Кеннеди принимал на себя джентльменское обязательство не только не нападать на Кубу, но и удерживать своих союзников от этого шага.

В ночь на 28 октября Советским правительством без консультации с Фиделем Кастро было решено принять условия Кеннеди. Последнее письмо Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева президенту США Дж. Кеннеди было передано открытым текстом по Московскому радио. Позднее, во время визита Ф. Кастро в СССР в мае 1963 г., Хрущев рассказывал, что такая поспешность была вызвана полученными из США достоверными данными о принятом американским военным командованием решении начать 29 или 30 октября бомбардировку советских ракетных установок и кубинских военных объектов с последующим вторжением на

остров. Хрущев сказал, что ночь на 28 октября все члены Президиума ЦК КПСС провели в Кремле, готовя последнее письмо американскому президенту. По его словам, текст послания начал передаваться по радио, когда его конец еще не был отредактирован. Поэтому, говорил Хрущев, у советского руководства не оставалось времени, чтобы согласовать свое решение с Гаваной: мир висел на волоске.

За сутки до того, в ночь на 27 октября, Фидель довольно долго пробыл в нашем посольстве. Несмотря на присущую ему выдержку, он тоже оценивал обстановку как весьма тревожную. Однако ни он, ни мы в посольстве не ожидали того, что произошло дальше: подобный финал невозможно было предугадать и на основе полученных из Москвы шифровок.

И вот в воскресенье 28 октября, около 7 часов утра, мне в посольство позвонил президент республики Освальдо Дортикос и сказал, что радио сообщает о принятом в СССР решении вывести ракеты с Кубы. Помню, я ответил ему, что американское радио способно запустить любую «утку» и что из Москвы у меня нет никаких сведений на этот счет. Но когда Дортикос сказал, что речь идет о передаче Московского радио, я почувствовал себя самым несчастным человеком на земле, представив к тому же и реакцию Фиделя.

Да, Дортикос подтвердил, что Фидель был страшно разгневан этим сообщением и уехал совещаться с кубинскими военными начальниками. Меня же президент попросил немедленно проинформировать его, когда будет получено первое сообщение из Москвы. Через час или два я получил шифровку. На одной страничке текста сообщались мотивы этого срочного и не согласованного с кубинцами решения; конечно же столь скупо изложенные доводы не могли удовлетворить руководителей республики. Я сам отвез телеграмму Дортикосу, втайне надеясь встретиться у него с Фиделем. Но встреча не состоялась ни тогда, ни в последующие три-четыре дня.

А с Дортикосом я продолжал поддерживать постоянную связь. И вот к вечеру 28 октября пришла вторая — большая — телеграмма, в которой подробно излагался ход событий, предшествовавших решению Москвы, анализировалась обстановка вокруг Кубы и оценивались в этой связи перспективы кубинской революции. В шифровке подчеркивалось, что правитель-

ство СССР ни при каких обстоятельствах не откажется от выполнения своего интернационального долга и обязательств по защите Кубы, доказывалось, что любое иное решение в создавшейся ситуации означало бы мировой пожар, а следовательно, и гибель кубинской революции. Теперь, говорилось в сообщении, Куба получила определенное время для спокойного развития, поскольку ни сам Кеннеди, который, несомненно, будет избран на вторичный срок, ни последующие администрации не смогут нарушить торжественно данного слова не нападать на Кубу. Что же касается размещения советских ракет, то, несмотря на непредвиденный финал, оно было оправданным, ибо главная цель — спасение кубинской революции — достигнута.

Такая телеграмма несколько успокоила президента Дортикоса, однако с Фиделем я по-прежнему встретиться не смог и реакции его не узнал. Он же сам в то время выступал в воинских частях и на предприятиях, призывая народ крепить единство и быть готовым к отпору. Тогда-то он и выдвинул знаменитые «Пять требований кубинского народа», выполнение которых должно было обеспечить мир и безопасность, а также соблюдение суверенных прав республики:

1. Прекращение экономической блокады и всех мер экономического давления, которые США проводят против Кубы в разных частях света.

2. Прекращение всех видов подрывной деятельности, в том числе заброски на остров шпионов и диверсантов с оружием.

3. Прекращение пиратских полетов над Кубой с военных баз США.

4. Прекращение нарушений воздушного и морского пространства республики кораблями и самолетами США.

5. Уход американцев с военной базы Гуантанамо и возвращение оккупированной ими территории Кубе.

СССР официально поддержал эти требования, но, к сожалению, они не стали основой для переговоров с американцами: США и слышать об этом не хотели. Так что это была программа-максимум, недостижимая на том этапе переговоров.

29 октября 1962 г. Советское правительство приняло решение направить на Кубу для переговоров с руководством республики А. И. Микояна. По пути он остановился в Нью-Йорке для встреч с постоянным пред-

ставителем США в ООН Эдлаем Стивенсоном и бывшим верховным комиссаром США в Германии, а в ту пору советником президента по вопросам разоружения Джоном Макклоем (по поручению Кеннеди оба они вели переговоры с находившимся там заместителем министра иностранных дел СССР В. В. Кузнецовым).

2 ноября А. И. Микоян прибыл в Гавану.

Анастасу Ивановичу предстояли нелегкие переговоры в Гаване. Ведь как бы ни были сильны аргументы в пользу спешного вывода ракет, все же объяснить наше одностороннее решение, без консультации с главным участником событий — Республикой Куба, было не так-то просто.

К сожалению, как это нередко случается в столь сложных ситуациях, ни мы, ни кубинцы не продумали заранее всех альтернативных вариантов, связанных с конкретным развитием обстановки после размещения на острове наших ракет. Такие варианты пришлось потом вырабатывать буквально на ходу. Следует иметь в виду и тот факт, что к операции был привлечен очень малый круг людей. Я и до сих пор не нахожу объяснения, почему из Москвы не была послана телеграмма Фиделю хотя бы с уведомлением о готовившемся решении относительно вывода ракет...

Впрочем, могу предположить, что Н. С. Хрущев, зная непреклонный характер кубинского руководителя, сознательно пошел на такой шаг. Думаю, он понимал, что Фидель сразу не согласится с нашим решением и время будет упущено. А промедление, как, очевидно, представлялось Хрущеву, было смерти подобно. Усмотрев в заверениях Кеннеди выход из тупиковой ситуации и поняв, что в результате такого шага кубинская революция не только получит передышку, но и будет спасена, Хрущев, как мне кажется, решился даже на временную утрату своего авторитета у кубинцев. Он, думается, твердо верил в то, что такой дальновидный политик, как Фидель Кастро, со временем поймет и по достоинству оценит наш поступок.

Так оно и произошло. Полгода спустя после карибского кризиса Фидель, выступая 23 мая 1963 г. на митинге в Москве, заявил: «Во всем величии будет сиять страна, которая во имя защиты маленького народа, на много тысяч миль отдаленного от нее, положила на весы термоядерной войны благополучие, выкованное за 45 лет созидательного труда и ценой огромных жертв!

Советская страна, потерявшая во время Великой Отечественной войны против фашистов больше жизней, чем насчитывает все население Кубы... не поколебалась взять на себя риск тяжелой войны в защиту нашей маленькой страны! История не знает подобных примеров солидарности! Это и есть интернационализм! Это и есть коммунизм!»

В ходе визита в СССР, продолжавшегося 38 дней, Фидель посетил многие города, повсюду встречая радушие и искреннюю любовь к себе со стороны наших людей. Н. С. Хрущев много дней провел вместе с Фиделем за дружескими беседами — как правило, в непринужденной, зачастую семейной обстановке, на дачах под Москвой и в Пицунде, на охоте, в поездках по стране. Они посетили стартовую площадку и шахту межконтинентальной ракеты. Обсуждались вопросы экономического и научно-технического сотрудничества СССР и Кубы, в частности было договорено о производстве у нас комбайна для уборки сахарного тростника, и уже в конце того же года первые образцы машины были отправлены на Кубу (в 70-х годах там был построен с нашей помощью завод по производству 600 комбайнов в год, что решило проблему механизации сельского хозяйства и высвободило сотни тысяч рабочих рук).

Переговоры А. И. Микояна с Фиделем Кастро в Гаване и В. В. Кузнецова с представителями президента США и У Таном в Нью-Йорке постоянно координировались через Москву. Несмотря на то что в нашем проекте резолюции, представленном еще 23 октября Совету Безопасности ООН, предлагалось, чтобы США, СССР и Куба вступили в переговоры с целью нормализации обстановки и предотвращения военной угрозы, американская администрация демонстративно игнорировала Кубу и не желала вступать с ней ни в какие контакты. Делая явный расчет на унижение Кубы, Вашингтон хотел решать все вопросы только с Советским Союзом, без ее участия, даже те, которые прямо затрагивали ее интересы. И хотя Фидель как бы негласно участвовал и в переговорах Н. С. Хрущева с Дж. Кеннеди, и позднее — через А. И. Микояна — в переговорах В. В. Кузнецова с представителями президента США, так как без его согласия невозможно было достичь каких-либо результатов, все же формально, как того и добивались американцы, Республика Куба была отстранена от прямого участия в этих делах. И это об-

стоятельство, конечно, более всего удручало кубинских руководителей, затрудняя и наши беседы с ними.

Главная попытка американцев унизить Кубу заключалась в том, чтобы добиться нашего согласия на инспектирование их военными непосредственно на кубинской территории демонтажа и вывоза ракет. Разумеется, мы предложили американцам решать этот вопрос с правительством Кубы, и, конечно же, они от этого отказались. А Фидель сразу сказал Микояну, что Куба никогда не допустит на свою территорию никаких инспекторских групп — ни из США, ни от ООН. Почему бы, добавил Фидель, американцам не поверить в ваше джентльменское заверение вывести ракеты, если вы сами поверили в джентльменские заверения Кеннеди не нападать на Кубу? Да, Фидель не верил в обещания американцев и говорил, что любые наши уступки лишь приведут к выдвижению Вашингтоном новых требований. США, говорил он, будут использовать политику шантажа и запугиваний, ибо не понимают другого языка, кроме языка силы.

И даже когда в поисках выхода из создавшегося тупика мы высказали идею допуска инспекторов на советские суда, Фидель сказал, что это дело СССР, но что в своих территориальных водах Куба такого не позволит. Это не каприз, а защита наших суверенных прав, твердо сказал кубинский руководитель.

США еще долго продолжали настаивать на своих требованиях, но, убедившись в непреклонности Кубы, вынуждены были согласиться с планом погрузки незачехленных ракет на палубы советских судов и фотографирования их со своих кораблей и самолетов в международных водах.

Фидель неоднократно говорил тогда, что если мы уступим американцам в вопросах инспекции, то они пойдут дальше и потребуют новых уступок. И надо отдать ему должное: уже в первых беседах он почти точно предсказал, с какими новыми требованиями выступят американцы, если мы в чем-то им уступим: 1. Вывод бомбардировщиков Ил-28, хотя эти устаревшие самолеты и не угрожают безопасности США; 2. Вывод быстроходных торпедных катеров типа «Комар»; 3. Вывод нашего воинского контингента; 4. Включение в состав кубинского правительства изгнанных революцией и окопавшихся в Майами буржуазных политиканов.

Нам же казалось, что Фидель слишком преувеличивает опасность, ибо мы полагали, что США, напуганные кризисом, удовлетворятся разумным компромиссом и не будут обострять обстановку. Но кубинский руководитель оказался прав. В течение первых двух недель переговоров американцы действительно выставили одно за другим почти все предвиденные Фиделем требования. Лишь на домогательство включить в правительство республики эмигрантское отребье они не осмелились, поняв, что это может привести к срыву переговоров.

В итоге, несмотря на длительное сопротивление кубинских товарищей, нам все же пришлось согласиться с американцами на вывод самолетов Ил-28 и торпедных катеров. Была достигнута договоренность об оставлении на Кубе учебного центра, где наши специалисты могли оказывать кубинцам помощь в овладении оставшейся советской военной техникой.

Переговоры в Гаване и Нью-Йорке завершились 20 ноября 1962 г., после того как президент США Дж. Кеннеди объявил о снятии блокады. Советские ракеты к тому времени уже были вывезены с Кубы. Советское правительство дало указание нашим Вооруженным Силам об отмене повышенной боевой готовности. Такое же указание последовало и от главнокомандующего Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского Договора. Так закончился карибский кризис.

Что бы я хотел сказать в заключение как очевидец и участник тех тревожных и памятных событий?

Во-первых, объективный анализ ситуации, сложившейся осенью 1962 г., показывает, что размещение советских ракет на Кубе не породило, а, напротив, в конечном итоге предотвратило дальнейшие агрессивные и потому весьма опасные действия американского империализма в районе Карибского моря; это в свою очередь спасло революционную Кубу и заставило США, хотелось им того или нет, уважать суверенитет острова Свободы. За минувшие с той поры 26 лет Куба успешно продолжала строительство социалистического общества. Социализм заставил признать свое право на существование и в Западном полушарии.

Во-вторых, карибский кризис был детищем «холодной войны». Конфронтация между великими державами, сопровождавшаяся в ту пору политикой взаимных угроз, и стала фоном для событий осени 1962 г. Поэто-

му установка наших ракет на Кубе в тех условиях (подчеркиваю: в тех условиях!) была закономерной; ее нельзя, как полагают некоторые, считать пустой авантюрой, ибо такой шаг, с одной стороны, защищал кубинскую революцию от внешней агрессии, а с другой — привел к равенству противостоявших друг другу сил, заставил США вступить в диалог с Советским Союзом на паритетных началах. А ведь паритет, примерное равенство сил и дали возможность для проводимого сегодня обеими сторонами равномерного снижения уровня вооружений.

В-третьих, именно после ликвидации карибского кризиса начались практические поиски путей к общему ослаблению международной напряженности, к разрядке, ибо всем стало ясно, что иной альтернативы сохранению мира па земле нет. При ликвидации карибского кризиса восторжествовали разум, здравый смысл.

Эхо планеты, 1988, № 33

С. Микоян

ВОЙНА, КОТОРАЯ НЕ НАЧАЛАСЬ

Воскресенье 28 октября 1962 г. теперь, пожалуй, можно считать воскресением почти уже мертвого мира. По крайней мере члены «ЭксКома» — узкого штаба Джона Кеннеди — до сих пор называют предыдущий день «черной субботой», днем, когда мир висел на волоске. Узнав, что брат президента Роберт Кеннеди сообщил советскому послу для передачи в Москву: «Если вы не уберете ракеты (с территории Кубы.— *Авт.*), то это сделаем мы», его коллега по «ЭксКому» Джордж Болл отправил семью далеко за пределы Вашингтона. Многие стали покидать крупные города США еще раньше — сразу после того, как 22 октября Дж. Кеннеди объявил военно-морскую блокаду Кубы. Блокада была началом кризиса.

Есть разные мнения насчет того, как именовать международный кризис — «карибский» или «ракетный»? Кризис, завершившийся лишь 20 ноября 1962 г.

В чем суть? Почему Советский Союз установил свои ракеты среднего радиуса действия на острове Свободы осенью 1962 г.? Если они были доставлены туда для

предотвращения американской агрессии против острова, находящегося в Карибском море, то правильно утвердившееся у нас название «карибский». Если же речь шла о создании ракетного баланса (имея в виду ядерные базы США вокруг нашей страны), то правомерно и определение «ракетный».

РЕАЛЬНОСТЬ ВТОРЖЕНИЯ

Автор этих строк был очевидцем некоторых важных этапов урегулирования кризиса, а до этого внимательно следил за развитием событий и не сомневается в том, что Соединенные Штаты были намерены силой расправиться с кубинской революцией. Незадолго до этого попытка такая была — в апреле 1961 г. банды наемников ЦРУ вторглись на Кубу, но всего за трое суток были разгромлены на Плая-Хирон. И тогда «ястребы» начали подумывать о массированном нападении на остров с использованием военной машины США.

Слушания в сенате о деятельности ЦРУ в 60-е годы дают достаточно материалов о самых крайних мерах, на которые могло пойти правительство США. Ведь если многократно планировалось убийство Фиделя Кастро, то конечно же не для того, чтобы поставить на его место Эрнесто Че Гевару!

В январе 1962 г. на совещании министров иностранных дел стран — членов Организации американских государств в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) государственный секретарь США Дин Раск положил немало сил, чтобы добиться изоляции Кубы в Западном полушарии, введения многосторонних санкций против республики. Это была дипломатическая подготовка агрессии. А пропагандистское обеспечение начали еще раньше. В общем, все шло по легко угадываемому сценарию. Вторжение на Гренаду в 1983 г. показывает механику этого процесса и его финал в случае, если все идет по сценарию.

Иные американские политологи проявляют удивительную забывчивость, утверждая, что у США не было никаких серьезных намерений «ликвидировать Кастро и его режим». Будто советские ракеты появились на Кубе только для того, чтобы угрожать Соединенным Штатам, исключительно чтобы создать «баланс сил», чего Вашингтон никак не хотел допустить. Но прибегнем к доказательству «от противного»: ведь кризис был урегулирован, ракеты вывезены как раз благодаря тому, что в

результате обмена телеграммами между Н. С. Хрущевым и Дж. Кеннеди Вашингтон дал заверение, что против Кубы не будет предпринята вооруженная агрессия.

Конечно, следует признать, что и соображения о «балансе сил» в условиях «ядерного сдерживания» могли стать немаловажным фактором. Вспомним, что, по данным тогдашнего министра обороны США Р. Макнамары, против 5 тысяч американских ядерных боеголовок наша страна имела тогда лишь 300 (соотношение приблизительно 17 : 1). В средствах доставки также не было паритета. Нас буквально окружали ракетные базы США. Так что же противоестественного в том, чтобы по возможности стремиться сделать «ядерное сдерживание» более **сдерживающим** на деле? Недаром многие считают, что создание подлинного паритета в ядерных силах было начато Советским Союзом после и в результате карибского (или ракетного) кризиса.

Для участия в похоронах Джона Кеннеди в ноябре 1963 г. в Соединенные Штаты прибыл А. И. Микоян. При встрече с ним новый президент Линдон Джонсон дважды подтвердил, что США остаются и останутся верны взятым на себя обязательствам в результате договоренности, достигнутой в октябре—ноябре 1962 г.

Это прекрасно. Между тем, если верить американскому журналисту Тэду Шульцу, в конце 1964-го — в 1965 г. ЦРУ с одобрения того же президента Джонсона разработало план, заключавшийся в том, чтобы сначала убить Фиделя Кастро, а затем сразу же осуществить вторжение на Кубу наемников, но, по-видимому, уже при гораздо более серьезной поддержке вооруженных сил США. Исполнение плана не состоялось, поскольку возникло более срочное «дело» — интервенция в Доминиканскую Республику в апреле 1965 г. «Грязная война» во Вьетнаме еще больше связала Вашингтону руки.

БЫЛА ИЛИ НЕ БЫЛА?..

В 70-х годах не раз возникала необходимость подтверждения советско-американской договоренности, в результате которой был урегулирован карибский кризис. Например, в связи с кратковременными заходами, вызванными техническими причинами, советских подводных лодок в порты Кубы. Вашингтон не расценил это как нарушение договоренности.

Но вдруг 14 сентября 1983 г. президент Рональд Рейган обронил замечание, будто договоренность была «отменена». Вскоре его друг, бывший губернатор Техаса У. Клементс, входивший в двухпартийную комиссию Киссинджера по Центральной Америке, внес в заключение комиссии свое «личное» добавление о том, что соглашения (договоренности)... вообще не было! В феврале 1984 г. он развил эту тему, выступая в Далласе (об этом рассказывает присутствовавший там Уэйн Смит в недавно вышедшей книге «Ближайшие враги»). Клементс добавил, что договоренность нарушена, поскольку на территории Кубы не был проведен контроль ООН за демонтажем ракет. Тут уж Клементс противоречит сам себе: как можно нарушить то, чего якобы не было!

По этому конкретному поводу могу засвидетельствовать: способ инспекции демонтажа (с воздуха — самолетами У-2) и вывоза советскими кораблями (визуальным наблюдением с бортов американских судов, подходивших на близкое расстояние к советским судам) был согласован с У Таном, исполнявшим тогда обязанности генерального секретаря ООН, а также с американскими представителями Дж. Макклоем и Э. Стивенсоном. Уполномочил их на то Джон Кеннеди в ходе переговоров этих деятелей с А. И. Микояном, что и зафиксировано в протоколах. Тот в свою очередь долго и детально обсуждал эти, как и другие, вопросы с Фиделем Кастро. А у кубинского руководителя были прямые контакты на эту тему с У Таном, прилетавшим в Гавану в конце октября 1962 г. Остается лишь добавить, что сама идея именно такого рода инспекции была предложена Дж. Макклоем, то есть американской стороной!

Все это не может не быть известно администрации США. Следовательно, речь шла о попытке подорвать одну из важнейших договоренностей, достигнутых в послевоенное время. Почему важнейших? Потому, что она помогла цивилизации выжить в самый опасный для нее момент.

В середине октября 1987 г. мне довелось участвовать в конференции, посвященной 25-летию карибского кризиса. Она состоялась в Школе Кеннеди Гарвардского университета (США). За закрытыми дверями члены упоминавшегося «ЭксКома» Роберт Макнамара (бывший министр обороны США), Макджордж Банди (бывший специальный помощник Дж. Кеннеди по национальной безопасности) и Теодор Соренсен (бывший

специальный советник Дж. Кеннеди), американские профессора-политологи и трое советских участников обсуждали и вспоминали, как все было тогда. Вспоминали книгу «Тринадцать дней» Роберта Кеннеди, который рассказывал, что уже с 16 октября, когда все дискуссии по этому поводу велись в Вашингтоне в условиях высокой секретности, многие предлагали немедленно нанести бомбовый удар по советским ракетам, а заодно по всем кубинским военным объектам и тут же начать массированное вторжение на остров. Просчитывались всякие последствия, с учетом, естественно, того, что наши ракеты — что вполне логично — охранялись советским воинским контингентом.

Мы в Гарварде отдали должное Джону Кеннеди, который в ту пору отверг подобные предложения, ибо они явно вели дело к войне с Советским Союзом. Дж. Кеннеди предпочел политический, а не военный выход из кризиса, внезапно возникшего из-за столь резкой реакции со стороны США на меры, направленные на укрепление безопасности Кубы. (На случай военного решения на базы во Флориде стягивалось 200 тысяч солдат, не говоря уже об отмобилизованных силах ВМФ и авиации.)

Кеннеди, вероятно, зримо представил себе, как Хрущев, с которым он вел переписку, все советское руководство, народ нашей страны реагировали бы на уничтожение советских ракет среднего радиуса действия, на гибель многих наших военнослужащих, на нападение на Кубу.

УРОКИ КРИЗИСА

Почему мы сегодня столь пристально всматриваемся в события 25-летней давности? Да потому, повторяю, что это был самый опасный момент в международных отношениях за все послевоенные годы. Карибский ракетный кризис нас многому научил. Например, он убедил нас, что политические штабы двух самых мощных в мире держав, оказывается, могут не иметь четкого представления о целях и намерениях друг друга. В США до сих пор спорят, почему все-таки были установлены на Кубе советские ракеты. Выдвигают разные версии. А ведь от ответа на вопрос «почему?» зависела реакция США. А Н. С. Хрущев, как ясно нам теперь с временной дистанции, не предвидел, как будет реагировать Дж. Кен-

неди, если обнаружит ракеты до того, как ему о них официально сообщат.

Джон Кеннеди охладил пыл «ЭксКома». Президенту хватило здравомыслия сказать такие слова: «Меня беспокоит не первая ступенька, а то, что обе стороны совершат эскалацию на четвертую и пятую, а до шестой мы не доберемся просто потому, что некому будет это сделать».

Чтобы показать, как близко мы были к непоправимому, добавлю, что военно-морское командование США поначалу истолковало объявление Вашингтоном блокады Кубы как право топить те советские торговые суда, капитаны которых откажутся отвечать на вопросы о своих грузах. Лишь недвусмысленное и категорическое разъяснение министра обороны Макнамары остановило неминуемое, казалось, начало военных действий на подступах к Карибскому морю. Вспомним, что в Атлантике находились и наши подводные лодки... А ЦРУ не остановило начатую ранее антикубинскую «операцию «Мангуст».

Следует вспомнить и о беззаботности некоторых советских командиров в отношении камуфляжа ведущегося строительства. И вообще, как можно было — и нужно ли было? — устанавливать ракеты скрытно?

Короче говоря, действия как высших политических руководителей, так и военного командования разного уровня словно подтвердили тезис, который можно назвать по имени автора «законом Макнамары»: «Невозможно предсказать с высокой степенью уверенности, каков будет эффект использования военной силы из-за риска случайности, просчета, неправильного понимания и неосторожности».

Так почему же во всем мире уделялось столь большое внимание 25-летию карибского кризиса? Да потому, что сегодня, как никогда прежде, важно усвоить позитивные уроки из нашей общей истории. Эти уроки учат, как надо выходить из острейшего, опаснейшего кризиса, сколько терпения, осторожности, спокойствия и мудрости требуется для того, чтобы кризис не привел к катастрофе. Но все же главный урок состоит в том, чтобы не доводить дело до края бездны. Недаром ведь именно в те годы была установлена «горячая линия», или, как их называют, «красные телефоны» в Кремле и Белом доме.

Как очевидец многих перипетий кризиса (я сопро-

вождал А. И. Микояна в качестве его секретаря в поездке в Нью-Йорк и затем на Кубу), хотел бы привести еще одно соображение. Разгадывая свой ребус, «ЭксКом» Джона Кеннеди совершенно забыл о таком участнике событий, как... Куба. Ближайшие советники президента никак не могли взять в толк, что ракеты были установлены прежде всего для предотвращения вторжения вооруженных сил США, которое представлялось неминуемым. Только оказавшись перед лицом острейшего кризиса, правительство США предпочло дать гарантию ненападения на Кубу. Правда, в Гарварде Р. Макнамара, М. Банди и Т. Соренсен искренне и весьма убедительно заверяли, что в тот конкретный период администрация Кеннеди не планировала интервенции. Вполне вероятно. Но упомянутые выше поползновения Джонсона и Рейгана не исключают того, что в какой-то момент деятели из ЦРУ, Пентагона или, скажем, «теоретики», собравшиеся в свое время в Санта-Фе (и составившие одноименный документ, который лег в основу латиноамериканской политики Рейгана), могли навязать администрации свои авантюристические планы.

Важно добавить: и сам выход из кризиса тоже был, по существу, невозможен без участия Кубы. Правда, спешка первых дней не позволила организовать трехсторонние переговоры, но Фиделя Кастро постоянно информировали из Москвы обо всем происходящем, советовались с ним как по принципиальным вопросам, так и по деталям. И все же потребовалась миссия А. И. Микояна (начавшаяся 1 ноября), в результате которой некоторые аспекты договоренности в рамках «треугольника» США — СССР — Куба пришлось скорректировать. И Вашингтон с этим согласился.

Еще в 40-х годах Альберт Эйнштейн сказал: «С расщеплением атома все изменилось, кроме образа мыслей людей. И это ведет нас к угрозе всемирной катастрофы». Понадобилось едва ли не скатиться в пропасть такой катастрофы, чтобы политические лидеры осознали значение этих слов великого ученого. В октябре — ноябре 1962 г. они проявили первые элементы того подхода, который выдвинут сегодня руководством нашей партии в качестве единственной альтернативы ядерной катастрофе и назван «новым глобальным политическим мышлением». Именно благодаря той договоренности в последующие годы во многих кризисных ситуациях

действия сторон были более осторожны, чем могли бы быть, если бы не память о дне, когда американский министр обороны подумал, что это, возможно, его последняя суббота в жизни...

Новое время, 1987, № 46

Г. Мирский

ХРУЩЕВ И НАСЕР

Из интервью корреспонденту еженедельника «Аргументы и факты» Д. Макарову

Отношения с Египтом, крупнейшей страной Арабского Востока, всегда занимали важное место во внешней политике СССР. Читатели старшего поколения, вероятно, помнят, что развивались они неровно. Об истории этих отношений корреспондент еженедельника «Аргументы и факты» Д. Макаров беседует с автором ряда работ по проблемам стран Востока, в том числе и Египта, главным научным сотрудником ИМЭМО АН СССР профессором Г. И. Мирским.

Г. М. Четверть века тому назад Египет был для нас в «третьем мире», можно сказать, вдвойне ключевой страной: как наш главный союзник на Ближнем Востоке и как «флагман» государств социалистической ориентации, или, как тогда говорили, «некапиталистического развития». Прошел десяток лет, и оба «ключа» были утрачены.

Для того чтобы это понять, нужно вернуться к середине 50-х годов. У власти в Египте в то время был Гамаль Абдель Насер, возглавивший революцию 1952 г. Он «объявил войну» Багдадскому пакту, вступил в открытый конфликт с империализмом.

Н. С. Хрущев быстро оценил новые перспективы, которые открывались перед нами в «третьем мире» вследствие утверждения у власти революционных националистов, к которым относился и Насер. С присущими ему смелостью и динамизмом Хрущев решил проявить большую историческую инициативу, осуществить «прорыв» в зоны, до этого считавшиеся заповедником Запада. Его не смущала «немарксистская» природа таких людей, как Насер, он понимал, что дожидаться диктатуры пролетариата в слаборазвитых странах — дело долгое.

В 1955 г. Хрущев сразу же откликнулся на просьбу Насера предоставить ему оружие, игнорируя сомнения некоторых экспертов.

СССР оказал Египту решающую поддержку в период суэцкого кризиса 1956 г., в строительстве Асуанской плотины, других областях. Благодаря инициативе, неортодоксальному политическому мышлению Хрущева были заложены основы новой внешней политики СССР. В результате чего Египет, а затем Алжир и Сирия, другие арабские страны стали нашими союзниками.

Кор. Не была ли допущена в тот период переоценка революционного потенциала египетского руководства?

Г. М. При Хрущеве — нет. В целом это была правильная политика.

Кор. Не кажется ли вам, что неоправданным шагом было, например, присвоение Насеру звания Героя Советского Союза?

Г. М. Вообще, по-моему, это выглядит странно, когда такое звание присваивают зарубежному политическому деятелю. Даже если он и герой сам по себе. Человек, которому присваивается это звание, должен проявлять героизм в борьбе за дело Советского государства.

Впрочем, после того как Сталин наградил орденом Победы румынского короля Михая, который возглавлял, хотя и номинально, режим, пославший свою армию воевать против СССР, удивляться ничему не приходилось.

Тем более неоправданно было награждать этим званием египетского маршала Амера, вскоре бесславно сошедшего с арены...

Аргументы и факты, 1988, № 26

Ю. Зерчанинов

А ТЫ СМОТРЕЛ «РИСК»?

Ежегодно 12 апреля — и уже более 20 лет — Гагарин спускается по трапу самолета, который по возвращении на Землю доставил его в Москву, делает шаг-другой, а в следующем телекадре мы обычно видели уже ликующих демонстрантов на Красной площади. И целое поколение лишь совсем недавно, 26 октября 1987 г., увидело на телеэкране, как, спустившись по трапу, Гагарин устремляется к встречающему его Хрущеву...

Да, на наш телеэкран — в художественно-публицистическом фильме «Риск» — возвратился Никита Сергеевич Хрущев.

Не могу не вспомнить забавный случай. Летом 1960 г. как репортер «Комсомольской правды» я приехал в Сокольники на открытие Чехословацкой выставки. Церемония задерживалась, ждали Хрущева. Я стоял в толпе чуть в стороне от центральной аллеи, вдоль которой были выстроены неизменные пионеры с цветами. И вдруг кто-то толкнул меня в бок, я повернулся и увидел рядом с собой Хрущева. Как потом выяснилось, он решил разыграть устроителей выставки и, где-то оставив свою машину, смешался с толпой ожидающих. Внушительный телохранитель едва поспевал за ним. Поймав мой недоуменный взгляд, Хрущев заговорщицки приложил к губам палец, но тут какой-то пружинистый малый вскочил на ближайший пень и деревянно выкрикнул: «Да здравствует Никита Хрущев!» Ясно, он имел задание — приветствовать Хрущева из толпы. И по-заграничному, без отчества, хотя еще так привычно было неразделимо-сиятельное: «Иосиф Виссарионович...» «Не кричи»,— сказал раздосадованный Хрущев, и пружинистый окаменел на своем пне. А к Хрущеву уже вели пионеров...

Сталин стремился возвыситься над людьми, а Хрущев был живым человеком и вышел на авансцену, когда дефицит человечности достиг предела. И хотя не устоял он в конце концов перед холуйством и чинопочитанием (мы и сегодня лишь учимся демократии, а в те-то годы...), наобещал нам горы несбыточного, но имя его неотделимо от XX съезда партии, который возвратил честь и достоинство многим безвинным жертвам сталинского времени, вновь приблизил нас к Ленину.

Принявшись за свой фильм, режиссер Дмитрий Барщевский и сам не знал, что Хрущев займет в фильме такое весомое место... Фильм выстраивался за монтажным столом. И, продолжая следовать исторической правде, напоминает нам, как в сентябре 1959 г. с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН от имени Советского правительства Н. С. Хрущев предложил встать на путь всеобщего и полного разоружения, чтобы не иметь больше средств для ведения войны. 28 лет пришлось ждать, пока появилась реальная надежда, что первый шаг на этом пути вот-вот будет сделан...

Юность, 1987, № 12

ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К ЭКОНОМИКЕ



Теперь, когда наше хозяйство неизмеримо выросло, задачи партийного руководства экономикой серьезно усложнились. Поэтому необходимо предпринять кардинальные меры для более конкретного, планомерного руководства всеми отраслями производства.

После перестройки организационных форм руководства промышленностью и сельским хозяйством назрела необходимость организационной перестройки партийных и советских органов, имея в виду повышение их роли и ответственности за руководство всей экономикой страны.

...Желание трудящихся жить с каждым днем все лучше и лучше — это не только не противоречит стремлению нашей партии и правительства, а является главной задачей деятельности Советского правительства и Коммунистической партии, которые делают все для того, чтобы жизнь советских людей постоянно улучшалась. Но для того чтобы наши люди могли жить лучше, пока у нас не построено коммунистическое общество и существуют, так сказать, сложившиеся отношения, когда деньги играют в жизни большую роль, надо очень многое делать и многое учитывать. Ведь естественно, что бы мы ни говорили, но, если человек за свой труд получает много денег, он хочет иметь возможность купить на них больше нужных ему товаров, да таких, чтобы они были лучше, красивее.

Значит, нам надо больше производить таких товаров и продуктов питания. Вот такая задача и поставлена нашей партией и правительством.

...Иные могут подумать: и зачем это понадобилось Хрущеву заниматься такими вопросами, как возделывание кукурузы, картофеля, выращивание свиней, доение коров? Это же, мол, простое и будничное дело! Но так могут думать только люди, оторванные от жизни. Не решив этих вопросов, мы не сможем полностью удовлетворить материальных потребностей народа. А чтобы удовлетворить эти потребности, надо в достатке иметь зерно, мясо, молоко, масло, картофель, фрукты, овощи. Вот почему партия и правительство уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства.

Н. С. ХРУЩЕВ

Д. Валовой

Н. ХРУЩЕВ: «ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К ЭКОНОМИКЕ»

В речи на торжественном собрании передовиков сельского хозяйства Московской области, посвященном вручению области ордена Ленина, в феврале 1957 г. Н. Хрущев сказал:

— Слушал сегодня радиопередачу на Московскую область. Послушал-послушал и с досады выключил радио. Передают все старое, крутят все одно и то же, словно жизнь стоит на месте, ничего в ней не изменилось, условия остались те же. Пропагандируют индивидуальный уход за коровой, рассказывают, сколько раз ее доить надо. Подробно передают, как сделать массаж вымени и т. д. и т. д. Опять получается, что за одной коровой должны ходить десять нянек. Сколько же тогда будет стоить литр молока? Какая будет выработка на каждого животновода и сколько людей необходимо иметь в сельском хозяйстве? Надо, товарищи, научиться считать, научиться определять, что выгодно и что невыгодно.

Американские фермеры говорят: «Если бы мы так работали, как вы, мы бы в трубу вылетели». Это правильно. Мы плохо считаем затраты труда, не учитываем, сколько стоит литр молока, килограмм картофеля, во сколько обходятся овощи, зерно. Так нельзя. В условиях социалистического хозяйства есть все возможности обеспечить самую высокую производительность труда, и мы должны этого добиться. Надо решительно повернуться лицом к экономике...

Думается, что историкам народного хозяйства СССР будет непросто исследовать различные стороны экономического развития в период, когда партию возглавлял Н. Хрущев. В хозяйственном строительстве тогда было слишком много противоречий и крайностей.

К началу 50-х годов в особенно тяжелом положении оказалось сельское хозяйство. В 1949—1953 гг. среднегодовой сбор зерна составлял 4942 миллиона пудов при средней урожайности 7,7 центнера с гектара против соответственно 4380 и 7 в 1910—1914 гг. Но объявлялись другие цифры.

С трибуны XIX съезда партии было объявлено, что валовой урожай зерна составил 8 миллиардов пудов и

что теперь, мол, зерновая проблема решена окончательно и бесповоротно. Но «решена» она была лишь на бумаге по «биологической урожайности», то есть при определении урожайности на корню. В действительности в 1952 г. собрали не 8 миллиардов, а только 5,6 миллиарда пудов зерна. Несмотря на то что колхозы и совхозы сдали государству даже часть семян, в стране было заготовлено лишь 2,1 миллиарда пудов хлеба, что не удовлетворяло текущих потребностей государства, не говоря уже о создании необходимых резервов.

На сентябрьском (1953 г.) и последующих пленумах ЦК партии был намечен ряд принципиальных мер по укреплению сельского хозяйства. В результате их осуществления рост сельскохозяйственного производства до конца 50-х годов был самым высоким за все годы после коллективизации сельского хозяйства...

Сейчас кажется странным и даже неправдоподобным, но ведь до XX съезда партии такие важнейшие экономические категории, как хозрасчет, себестоимость, зарплата, рентабельность, для колхозов считались антимарксистскими. Каковы затраты на ту или иную продукцию, представления не имели. Цены устанавливались произвольно. Когда в колхозах начали исчислять себестоимость продукции, то выяснилось, что большинство видов продукции, представленной на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, убыточны. Существовавшие цены зачастую не покрывали и десятой доли затрат. Так, цены на картофель не возмещали даже расходов по его доставке на заготовительные пункты.

Выступая на заседании бюро ЦК КПСС по РСФСР с участием первых секретарей крайкомов и обкомов партии, Н. Хрущев сказал:

— Всем нам, товарищи, предстоит поработать, чтобы научиться вести хозяйство экономно, расчетливо, производить больше продуктов при меньших затратах труда и средств...

В свете решения февральского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС первая сессия Верховного Совета СССР пятого созыва приняла «Закон о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций», согласно которому техника МТС была продана колхозам и совхозам. В противовес сталинскому положению о свертывании колхозной собственности Н. Хрущев в докладе на сессии выдвинул иную точку зрения:

— Кооперативная собственность не находится в противоречии с теоретическими положениями нашей партии о путях построения коммунистического общества, ибо путь к коммунизму лежит через развитие как общенародной, так и кооперативной собственности. Партия и правительство никогда не смотрели на колхозы как чужеродное тело в социалистическом организме, а всегда рассматривали их как составную и жизненно важную часть социалистической системы хозяйства.

Н. Хрущев выступил за радикальное решение целого ряда социальных проблем, затрагивающих коренные интересы широких масс советского народа. По его инициативе было развернуто массовое жилищное строительство и перевод его на индустриальную основу. Качественный шаг был сделан и в области пенсионного обеспечения трудящихся.

Немало мужества от партии и ее руководства потребовали критика культа личности и его последствий, восстановление социалистической законности. Н. Хрущев, по существу, первым осознал необходимость назревших в обществе перемен и возглавил эту работу. Однако он сам был сыном того времени, сложился как партийный и государственный деятель в условиях жесткой централизации и командного стиля отношений. Именно это и обусловило противоречие многих хрущевских экономических призывов с его административными реорганизациями и, я бы сказал, перегибами. Яркими примерами последних являются прежде всего его борьба с травопольной системой земледелия и внедрение везде и всюду... кукурузы. В своей речи на совещании передовиков сельского хозяйства областей и автономных республик Урала он сначала призывал «учитывать зональные особенности», а затем начал «давить» на кукурузу.

Обращаясь к знаменитому хлеборобу Терентию Мальцеву, он сказал:

— Товарищ Мальцев любит пшеницу и знает эту культуру, но я бы хотел высказать ему одно пожелание. Хорошо, если бы он полюбил кукурузу так же, как любит пшеницу, и использовал свои знания и богатый опыт для выращивания высоких урожаев кукурузы. Надо иметь в виду необходимость всемерно развивать животноводство и в Шадринском районе, и во всей Курганской области. Животноводство можно вести бо-

лее рачительно на кукурузном силосе и на сахарной свекле. Думаю, что товарищ Мальцев учтет это пожелание и многое сделает для выращивания хороших урожаев кукурузы, с тем чтобы колхоз «Заветы Ленина», где он работает, стал передовым хозяйством и по животноводству.

Вас, товарищ Мальцев, в какой-то степени можно назвать аристократом-зерновиком. Вы знаете зерно, любите зерно, вы чародей в зерновом хозяйстве. Но человеку нужен не только хлеб. Сухая ложка, как говорят, рот дерет, а сухой хлеб в горло не идет.

К хлебу нужен приварок, а приварок пустой — без мяса, без масла — тоже не имеет привлекательного запаха. Значит, нужно производить больше мяса, развивать животноводство. Да и условия для животноводства у вас хорошие. Товарищ Мальцев, вы учите людей, призываете осваивать ваши приемы агротехники. Это хорошо, это правильно. Но и сами не отрывайтесь от людей, учитесь у них. Побывайте у передовиков, которые выращивают кукурузу. Никому не стыдно учиться.

Решительно насаждая везде и всюду кукурузу, Хрущев одновременно выступал против травопольной системы, которая в ряде районов складывалась и отрабатывалась веками в условиях недостатка удобрений. Кроме того, этот период характеризовался также многочисленными организационно-административными реорганизациями и реформами. По докладу Н. Хрущева на февральском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС принято постановление «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством». Его суть заключалась в ликвидации отраслевых министерств и создании почти во всех областях территориальных советов народного хозяйства. Затем многие из них неоднократно укрупнялись, в центре создавались многочисленные отраслевые производственные комитеты. В конечном счете для управления этой разветвленной территориально-отраслевой структурой наряду с Госпланом СССР был образован Высший Совет Народного Хозяйства СССР.

В октябре 1962 г. Н. Хрущев написал Записку в Президиум ЦК КПСС «О перестройке партийного руководства промышленностью и сельским хозяйством». Он предложил разделить крайкомы и обкомы партии на промышленные и сельскохозяйственные. Те, кто вы-

сказал сомнение относительно целесообразности этого мероприятия, как незрелые, были переведены на другую работу. В районах организовали территориальные производственные управления, а райкомы преобразовали в парткомы этих управлений.

После октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС, который освободил Н. Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, такое деление партийных органов было признано нецелесообразным. Было в те годы немало и других реформ и реорганизаций. Все это отрицательно сказывалось на развитии экономики. Успехи, достигнутые к концу 50-х годов, заметно утрачивались. Снижение эффективности производства становилось все более очевидным.

Вместе с тем благодаря созданию после XX съезда партии более благоприятных условий для творческого развития в целом, экономическая наука в тот период заметно продвинулась вперед и в теоретическом и практическом плане. В принятой тогда Программе КПСС были «реабилитированы» товарно-денежные отношения, такие категории, как хозрасчет, рентабельность, прибыль. Но, как мне представляется, Хрущев унаследовал от Сталина одну из самых плохих его черт: на словах признавалось и говорилось одно, а на практике делалось другое, порой противоположное. Брежнев довел эту «методику» до совершенства, а экономику — «до ручки».

Д. Валовой. Экономика в человеческом измерении. М., 1988, с. 78—83

Е. Носов

КОСТРОМА НЕ АЙОВА

Помнится, как тяжело и горько звучала разоблачающая речь Хрущева, как слушали его, опустив головы, как не вдруг, не сразу приходило отрезвление и отпускало скомканные души. Но самое трудное было сделано — окна распахнуты, и многие вздохнули с облегчением, как если бы сбросили нашейную колоду.

Люди с пытливой надеждой вглядывались в первые появившиеся портреты Хрущева — нового, заступивше-

го прораба: никакой высокомерной отчужденности, никакого надменного вождизма во взгляде, простое крестьянское лицо с совершенно неруководящим вздернутым носом, открытая улыбка, обнажавшая два крупных, широко расставленных зуба, сквозь которые в мальчишестве, должно быть, ловко сплевывалось, когда играли в биты на околице курской Калиновки. Весь какой-то обыденный, свойский: надень на него ватную телогрейку да шапку-ушанку — ни дать ни взять колхозный бригадир. И что еще привлекало: в столице безвылазно, как Сталин, не сидит, во все сам вникает, землю пальцами мнет, пшеничный колос теребит, зерно на зуб пробует. Свой, кажется, мужик!

Как-то не верилось, что больше не станет тюрем. А по запредельным землям с вечной мерзлотой под ногами распускали лагеря, валили сторожевые вышки, усыпляли конвойных собак за ненадобностью дальнейшего применения.

И появились на станциях и в поездах уцелевшие и отпущенные узники — с лагерной свинцовой сединой, запавшими, поблеклыми глазами, задышливые, с подшаркивающим шагом, превратившиеся в стариков. Молчаливо, неразговорчиво пробирались они к своим домам, к таким же постаревшим, померкшим женам, к взрослым, неузнаваемым и неузнающим детям, к отвыкшей, отчуждившейся семье, вернее, к тому, что от нее осталось, ибо лучшие годы прошли по разные стороны разлучившей их проволоки. Многие из вернувшихся вскоре умерли: не смогли адаптироваться, не вынесли этого глотка свободы, как не выносят резкого всплытия наверх водолазы, долго пребывавшие на дне.

Возвращались по домам целые народы, некогда попавшие в немилость,— балкарцы, чеченцы, калмыки, изгнанные из отчих мест до последнего человека. С содроганием вспоминали они насквозь продуваемые товарняки, увозившие в ссылку. Люди ехали стоя, сплошным комом сгрудившихся тел, и только совсем ослабевшие сползали и опускались на грязный ледяной пол. Иногда в безлюдных местах товарняки останавливали, чтобы вынести из вагонов трупы и закопать их в снег...

Вместе с земляками-балкарцами возвратился в долину Чегема Кайсын Кулиев. Из заполярного рудника наконец вырвался в свою Калмыкию Давид Кугультинов. В родную Чечню вернулась с навсегда испуганными глазами поэтесса Раиса Ахматова...

А тем временем Никита Хрущев принялся разбирать сталинские культовые завалы, перетряхивать министерства и ведомства, выкуривать оттуда набившихся чиновных хомяков, вызволять крестьян из сталинской колхозной барщины и зверевского * податного оброка. Впервые сельские жители получили паспорта и гарантированную денежную оплату за свой труд.

На добро народ отвечал добром: на одном дыхании были вспаханы, засеяны и обжиты многие миллионы гектаров целинных и залежных земель.

Чтобы наглядно продемонстрировать целинные успехи, было велено во всех столовых подавать хлеб бесплатно. Велено было также бесплатно выдавать свежую нашинкованную капусту. Подходи к чану, накладывай сам себе в тарелку сколько хочешь. Хорошо, конечно,— витамины!

Однако это были всего лишь первые шаги на пути к экономическому и демократическому обновлению общества. Даже не шаги, а полушаги только. Например, первый год освоения целины, несмотря на хороший урожай, все-таки принес убытки: бездорожье, отсутствие складских емкостей, высокие затраты на переброску техники, горючего, стройматериалов, переселение больших масс людей склонили весы в убыточную сторону. И в последующие годы хлебная проблема так и не была окончательно решена, зерна в стране по-прежнему не хватало. Так что раздавать в столовых хлеб бесплатно было рановато. Но тогда еще никто не знал, что Никита Хрущев, горячая голова, склонен был к таким широким жестам, не подкрепленным реальным обеспечением.

Насчет коммунизма к восьмидесятому году люди уже и тогда конфузливо переглядывались: не лишку ли хвачено? Даже если и обставить Америку по всем статьям, то из одного изобилия коммунизма не получится. Потому как коммунизм — это не просто стол, прогнувшийся от избытка: подходи и потребляй сколько хочешь за так. Нет, коммунизм не ублажение себя, а торжество человеческого совершенства, итог долгой, из поколения в поколение, кропотливой нравственной селекции выведения людей особого мышления, создания особой, высоконравственной, невосприимчивой ко всякой

* Зверев А. Г.— нарком (министр) финансов СССР в 1938—1960 гг.

скверне среды обитания. Где уж там — «к восьмидесятому году»...

Что же касается мирного состязания с Америкой в изобилии, то спору нет — дело это хорошее, патриотическое, а не шапкозакидательное, не ради бесшабашных амбиций, поднявших на дыбы экономику целой страны.

А расклад был такой.

У нас:

помимо безалаберщины, селекционной запущенности и хронической бескормицы, бич нашего животноводства — долгая холодная зима с заносами по самую крышу, с морозами, от которых лопаются водопроводные трубы, а навоз превращается в бетон. Перенести, перетерпеть такую зиму даже в исправных постройках требуется немало коровьего мужества. А бывает, что и коровник худой, щелястый, и пожевать, кроме соломы, нечего. Да и ту не всякий день подвозят. А то загуляет село на Николу-зимнего или на Варвару да и запамятует в многодневном гудеже накормить и напоить брошенную скотину. Иной раз сторожа да скотники так назюзюкаются, что и постройку спалят вместе с коровами и сами погорят, сердешные. Всякое на святой Руси бывает, повидал я...

Такой вот зимовки — спертой сырости, темени, дрожака, а то и голодухи — выпадает на коровью долю почти полгода: с ноября по апрель — май, а по Сибири и того дольше...

Нашей буренке противостояла мощная элитная фермерская корова, сформированная жесткой конкуренцией, а потому содержащаяся в оптимальных условиях при одновременной дотошной просчитанности затрат на единицу продукции. У них впроголодь, а тем паче вовсе без корма, как это бывает у нас, корову не оставят, но и лишнего не дадут. А дадут ровно столько, чтобы она постоянно пребывала в надлежащей «форме». Иначе ее забьют. Так что ихняя корова всегда хорошей породы, упитанна, ухожена, как может быть ухожена и отлажена гоночная или, вернее, молокогоночная машина.

Но главное — это закром.

У нас — солома, веточный корм, случайно — корнеплоды, не всегда сено, тем более зерно в рационе.

В ихнем, фермерском, закроме — более тонны кукурузного зерна на каждую дойную и убойную голову в год. Куда с лихвой! Да еще сорго, да соевые бобы, из которых производят высокобелковые концентраты, да миллионы тонн жмыхов масличных культур, да технологичный насыщенный силос, да обязательные корнеплоды, потребное количество сеяных трав и сена из них. Да плюс ко всему естественные выпасы молочного пояса и прерий Великих равнин.

А кроме всего — организация дела.

У них ставка на высокую индивидуальную продуктивность.

У нас с продуктивностью неважно, а потому весь расчет — на количество голов. У них — чем меньше коров, тем выгоднее. Для нас пока лучше, если скота больше. В итоге одна ихняя корова против трех наших. Или сто против трехсот. Но чем оборачивается такое соотношение? Прежде всего непроизводительными затратами. Чтобы разместить те же триста голов, надобно построить втрое больше против ихнего животноводческих помещений. Для этого потребуется втрое больше кирпича, леса, цемента, шифера, водопроводных труб, попилок, кормушек и т. д. Во-вторых, надо иметь втрое больше кормов и естественных выпасов. Кроме того, эти триста коров за зиму произведут втрое больше навоза, на уборку которого надо затратить втрое больше ручной или моторной работы. Все это ложится тройной наценкой на себестоимость продукции.

Однако такая бухгалтерия не заставила задуматься Никиту Хрущева. Он был уже одержим, не слушал никаких резонов и очертя разгоряченную голову ринулся врукопашную с быкомычащей Америкой, заведомо обрекая свою затею на провал и на дискредитацию неразвернутой экономики.

Лично побывав в Штатах и посмотрев на тучные кукурузные поля Айовы, почесав за ухом вскормленных на калорийных харчах крутолобых бычков, он привез домой подсмотренную там идею. Оказывается, все просто! Надо только засеять кукурузой побольше площадей. Вот она — панацея! Да мы их... С нашими-то просторами...

«Можно с уверенностью сказать,— звучало потом в одном из документов,— что мясная проблема в самый короткий срок в нашей стране будет успешно решена и мы будем иметь мяса в достатке не только для внутрен-

них потребностей, но сможем заложить значительные государственные запасы и выделить часть мяса и мясных продуктов для внешней торговли».

«Хорошо глядеть, как солдат идеть»,— говаривали прежде в подобном случае.

В стране началась памятная кукурузная кампания, в том ее проявлении не понятая и не принятая народом. Вообще-то сама по себе культура она продуктивная, если с ней обращаться по уму. Но Кострома не Айова... Во многих российских местах кукуруза оказалась самозванкой, непрошено посаженной на престол нашего земледелия. Внедряли ее тараном, ударом кулака по столу, не слушая никаких резонов, вешались выговоры, отбирались партбилеты, не глядя ни на широту, ни на долготу.

Не имея свободных земель в тогдашних пахотных регионах, ее поначалу вводили, вернее, вколачивали в уже занятые угодья, тесня не только традиционные, испытанные кормовые культуры, но и зерновые тоже. Однако это не дало желаемого результата. И тогда трактора ворвались в луга...

Наконец, пришла мысль посягнуть и на саму травопольную систему, выбросить из севооборота травы-предшественники, а вместо них внедрить все ту же кукурузу. Для оправдания этого посягательства был изруган и дискредитирован основоположник этой системы академик Вильямс, портреты его сняли, а труды изъяли из учебных заведений и библиотек. Наряду с травами, игравшими роль восстановителей питательного баланса почв, были ликвидированы и чистые пары, вместо них, дававших отдых земле, внедрялась опять же кукуруза.

Но это далеко не все амбициозные извержения того поистине вулканического десятилетия.

Упрямо изыскивая способы посрамления Америки, Никита Хрущев распорядился скупить у колхозников без всяких уклонений всю их рогатую живность. Таким административным приемом удалось увеличить общественное поголовье на несколько миллионов голов. Но с наступлением холодов выяснилось, что колхозы и совхозы не готовы к размещению и содержанию скупленных коров, и их пришлось частично забить. С той поры на деревне не стало ни коров, ни телят, а упрямые старушки, как их теперь ни уговаривают, не желают больше возиться с рогатиной. Телевизор лучше. Так что ис-

пить на селе кружку молока стало проблемой, порожденной все той же амбицией: «Какое молоко! У нас, милай, теперь ниче не мычит, будто уши заложило. Будешь итить соседией деревней, Алябихой, дак спроси у Анисимовны, кажись, она доси коровку держит. А у нас уже и на погляд нетути. Усих порешили».

Или вспомним печальное постановление о лошадях. Они были обозваны дармоедами, поедающими чужой корм, позорящими социалистическую Россию бездельным ржанием и тележным скрипом. Но дело тут не в «бездельном ржании». Какой-то придворный лукавец нашептал Хрущеву, что ежели забить несколько миллионов лошадей, то сколько сразу сэкономится корма! Да плюс почти за так уйма конского мяса! Да кожа на ремни и подметки! Было запрещено выдавать корма на лошадей, их исключили из всех видов отчетности, то есть фактически объявили вне закона, и колхозы волей-неволей вынуждены были отправить их на убой. И потянулись на живодерни эти скорбные, понурые шествия лошадей по дорогам России, которую они много веков кормили, опахивали, окашивали и берегли от врагов. Еще и теперь кони, брошенные на произвол, бродят по полям, иные с малыми жеребятами. Обросшие длинной дикой шерстью, они зимуют в терновниках, лесных полосах или возле одиноких скирдов, грызя смерзшийся наст и сторожко, опасливо прядая ушами при виде показавшегося человека.

А тем временем молочную флягу от фермы до сельского детского сада везут на тракторе с прицепом. Тогда как высокомоторизованная Америка и теперь держит для расхожих работ 10 миллионов лошадей.

А насаждение декоративных агрогородов?! Ради такой театрализованной жизни, случалось, людей силком, с милиционером переселяли в казенные многоквартирные дома с общим для всех туалетом под забором. А тем временем покинутые деревеньки объявлялись бесперспективными, дворы зарастали чертополохом, кособочились и падали радиостолбы, осыпались колодцы и ветер трепал истлевший белесый флаг, забытый над крышей заколоченной школы.

Или многократное объединение колхозов, превращение их в показушные гиганты, где все огромное: и поля, и тракторные гоны, и объединенные доходы, ставшие миллионными (и долги тоже), но оказался совсем маленьким сам человек, чей голос все больше терялся в

бескрайности обезличенной земли, уже не обогреваемой любовью ее оратая.

Решения и постановления, предписания и указания сыпались градом, нижестоящие органы не успевали их воспринимать и осмысливать, их охватывала нервозность и зыбкая неопределенность перспективы. На этом фоне в Рязани раздался трагический выстрел: секретарь обкома Ларионов покончил с собой. Но многие, еще со сталинских времен приученные не перечить, приспосабливаясь к показному цифротворчеству, пустились откровенно врать в отчетах, выдавая желаемое в верхах за действительное в низах.

В начале 60-х годов раздался еще один выстрел: после тщетной попытки остановить разрушительное экспериментаторство в деревне, после неоднократных, но безответных обращений на этот счет к Хрущеву пытался покончить с собой отчаявшийся Валентин Овечкин.

И, словно предвестники грядущей беды, начались пыльные бури — прямое следствие чрезмерных распашек и нарушения севооборотов. Миллионы тонн растревоженной земли подняло ветрами с полей Кубани и Ставрополья. За одну ночь наши курские, еще заснеженные предвесенние поля переоделись в черные сугробы. Черная взвесь проникала сквозь оконную оклейку, черно лежала на подоконнике, на писчей бумаге, ну и, конечно, на душе...

Подобные пыльные бури потом повторялись неоднократно.

Вопреки еще не успевшим выцвести, не смытым дождями оптимистическим диаграммам роста надоев и привесов, с прилавков магазинов стало исчезать мясо и все мясное. Потом все молочное. В считанные дни размели даже привялые плавленые сырки. Куда-то девались пшено и гречка, как потом оказалось, исчезли на целые десятилетия. Дело дошло до лапши и макарон. Осенью 1963 г. хлебозаводы прекратили плановую выпечку батонов и булок, закрылись кондитерские цехи. Белый хлеб выдавали по заверенным печатью справкам только некоторым больным и дошкольникам. В хлебных магазинах и столовых появились обращения, предлагающие еще раз подумать, сколько вам нужно хлеба. Над страной нависла угроза карточной системы. Одним словом, приехали...

«Болярская шапка» оказалась не по «нашему Сеньке».

С вершины бюрократической пирамиды был сброшен ее творец, в замшелых стенах абсолютистского сооружения пробили отдушину, впустили живительный воздух. Но сама-то пирамида осталась! Со всеми своими иерархическими этажами и даже пустующим самодержавным креслом на макушке. А пока кресло не убрано, всегда будет соблазн забраться в него и примериться. Так что все, что было предпринято, можно было назвать лишь послаблением, а не демократией. У нас ведь как: ежели за воротник не хватают — уже и демократия. А на самом деле демократия — это не когда тебе что-то разрешают, а когда ты сам себе не разрешаешь. На том и должно все держаться: и человеческое общежитие, и общее дело, и самоуправление. А это возможно, когда человек научится укорачивать прежде всего себя, а не других. Наука нескорая!

В какой-то розовый момент, когда голова слегка затуманилась от показавшегося преуспеяния, неизвестно какой бес лукаво нашептал: настал-де, Никита свет, твой звездный час, твое исключительное предназначение. Смело бери в руки бразды — и с ветерком! Покажи всем кузькину мать. И как-то сладко поверилось в это. Примерился к пустовавшему единовластному креслу — нигде не жмет, не давит. Правда, высоковато: вниз глядеть — там люди, как мураши. Но зато далеко видать, особенно вперед. И захотелось сотворить нечто такое, чтобы все диву дались и ахнули. Ну хотя бы в ближайшие годы догнать и перегнать Америку. По технике мы уже ее обставили: наш спутник уже летает, а ихнего что-то не слыхать. Теперь осталось обогнать ее по уровню жизни. Показать им, в самом деле, кузькину мать. Или заделать коммунизм, скажем, к восьмидесятому году.

Ах этот российский неоглядный характер! Ах это лихое, молодецкое — шапку оземь! Ах эта птица-тройка с бубенцами! И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Черт побери все!» — его ли душе не любить ее?

А какую неразбериху внесли всякие структурно-руководящие комбинации, скажем создание областных и краевых совнархозов, этих еще одних бумажно-волокитных сооружений! Или разделение областных комитетов партии на промышленные и сельские обкомы, между которыми сразу же возникли всякого рода не-

согласованности и ненужные противопоставления. Или разделение мелких областей на еще более мелкие. Из нашей Курской сделали две: собственно Курскую и Белгородскую. Обе с одинаковым профилем экономики: у них руда, и у нас руда, у них производство сахара, и у нас оное... Даже Курскую огненную дугу пришлось поделить между областями: южный фас — белгородцам, северный — курянам. Теперь на территории бывшей Курской области стали действовать два обкома, два облисполкома, два облсельхозуправления, два контингента милиции, два облоно, два облздрава, облстата, облкинопроката и т. д. Всяких «обл» стало по паре. И всем их служителям государство фактически платит двойные денежки. Что же тут было делить, если между Курском и Белгородом всего-то 150 километров?! Такая же двойная дань платится за отделение Липецка от Воронежа, между которыми и вовсе 126 верст земли.

Никита Хрущев, вопреки своему простодушному крестьянскому облику, оказался человеком с упрямым и своевольным характером, был способен, не дослушав, внезапно и бурно разгневаться, бесцеремонно и грубо обругать. Предприняв ряд мер против сталинского монополизма, он сам же перешел к единоличному, волевому и непререкаемому управлению страной, взяв на себя еще и обязанности Председателя Совмина, не располагая для этого склонностью к вдумчивому, углубленному социально-экономическому анализу обстановки... Общество, в конце концов, устало от бурного и непредсказуемого экспериментаторства, хотелось трезвого перспективного дела.

Литературная газета, 1988, № 16

Ю. Буртин

ШАГИ К ЧЕЛОВЕКУ

О времени, в просторечии называемом «эпохой Хрущева», часто говорят с пренебрежительной усмешкой. На то есть свои причины. И все же скажем сразу: такое высокомерие представляется и неисторичным, и нравственно сомнительным. Одни только распахнутые ворота лагерей и мужество признания — перед всем миром — в «массовых репрессиях» против собственного народа, беспримерных по своей жестокости и масшта-

бам,— одни они уже достаточны для того, чтобы вспоминать об этом времени как об одной из высоких страниц отечественной истории.

Надо иметь в виду и следующее. Поднятая докладом Н. С. Хрущева XX съезду КПСС «О культе личности и его последствиях» волна критики Сталина год от году росла, захватывая все новые этапы и стороны его деятельности, набирая глубину и силу. То, что поначалу трактовалось как достойные сожаления «ошибки» и «отступления от ленинских норм», на XXII съезде партии (1961 г.) было прямо и резко названо по имени: «злодеяниями», «преступными действиями», «позорными методами руководства». А главное, критика «сверху» была подхвачена * и многократно усилена разрастающимся критическим движением «снизу». И хотя во взаимоотношениях между той и другой сторонами процесса имелась определенная асинхронность, а по временам и довольно острые противоречия **, в целом это был все же единый процесс, объективный исторический смысл которого состоял в демократизации, в замене сталинского «казарменного коммунизма» (от которого предостерегали Маркс и Энгельс) качественно иным типом социализма, базирующимся на принципиально иных основаниях. В экономике — на материальной заинтересованности; в системе управления — на демократическом (вместо авторитарно-бюрократического) централизме, с расширением самостоятельности «мест» и элементами контроля «снизу»; во внешней политике — на идее мирного сосуществования (вместо враждебного противостояния) двух миров, на поисках возможностей взаимопонимания и сотрудничества...

Много и справедливо говорилось о недостатках тогдашней критики Сталина, главными из которых было сужение исторической ответственности до личной вины

* Отчасти же и предвосхищена, если вспомнить, например, такие факты истории литературы, как опубликование в «Новом мире» Твардовского еще в 1952 г. очерков В. Овечкина «Районные будни», а летом 1953-го — первых глав поэмы А. Твардовского «За далью — даль», в том числе острокритической главы «Литературный разговор», как первый вариант «Теркина на том свете» (1954), и др.

** Вспомнить хотя бы столь же резкую, сколь и несправедливую критику Хрущевым альманаха «Литературная Москва» и романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» (1956), мемуаров И. Эренбурга (1963) и других произведений литературы и искусства, отлучение Б. Пастернака (1958).

одного или нескольких лиц, сведение истории к констатации, пресечение всяких попыток предложить сколько-нибудь последовательный анализ причин, условий и последствий обнародованных кровоточащих фактов. Верно и то, что процесс социальных преобразований, которому эта критика давала духовную и политическую форму, нравственный импульс и ориентир, шел хаотично, неровно, во многом «методом проб и ошибок». Без сколько-нибудь основательного теоретического продумывания и той по-своему цельной, законченной, внутренне логичной системы, от которой хотели уйти, и того, к чему намеревались прийти, и, наконец, самих путей, этапов, способов перестройки. Без сознательного, последовательного раскрепощения инициативы и общественной самодеятельности масс, что только и могло придать процессу демократизации подлинную силу и необратимость. Более того, с не раз возобновляемыми попытками решать новые задачи старыми, диктаторскими методами, верхушечными преобразованиями аппарата, повсеместным внедрением эфемерных, но обязательных хозяйственных панацей.

Сегодня нам нет никакого резона ни скрывать от самих себя названные недостатки, сильно повредившие тогда энергии, глубине и результативности очистительного процесса, ни преуменьшать их. Напротив, их нужно в полной мере осознать, в частности и для того, чтобы на новом этапе обновления не повторить подобных ошибок. И все-таки, все-таки... Как бы то ни было, предпринятые тогда шаги делались в общем к человеку, а не от него и не поверх него; процесс шел пусть противоречивый и прерывистый, пусть не сумевший и не успевший получить хотя бы относительное завершение, но внутренне значительный и исторически перспективный. Однонаправленный с нашей нынешней перестройкой.

Совсем по-другому всплыла сталинская тема несколько лет спустя.

Далеко не сразу стало понятно, что состоявшееся в октябре 1964 г. смещение Хрущева было не просто сменой руководства, а началом нового периода в жизни страны. Событием, по своим последствиям для нее едва ли не равновеликим XX съезду, но — с обратным знаком. Акцией, направленной не только против «волюнтаризма» и безудержного экспериментаторства (единственный мотив, предлагавшийся ей в объяснение и для

многих тогда показавшийся убедительным), но, по сути дела, и против того позитивного общественного процесса, который составил содержание предыдущей исторической полосы. Мало-помалу, однако, особенно к концу десятилетия, когда была спущена на тормозах идея хозяйственной реформы, это стало достаточно очевидным (хотя никаких прямых заявлений на сей счет по-прежнему не делалось).

Дело не в том, чтобы произошло восстановление сталинского режима: это было бы и невозможно, и элементарное чувство самосохранения не могло не быть тут помехой. Как всегда бывало в истории, реставрация и в данном случае была лишь частичной и относительной. Можно сказать даже так: все преобразования в с и с т е м е, все то новое, что было внесено «эпохой Хрущева» в экономическую и социально-политическую организацию нашего общества, во внутреннюю и внешнюю политику Советского государства, новая эпоха сохранила и закрепила. За одним-единственным исключением: был остановлен, пресечен тот процесс демократизации, о котором говорилось выше. И этого было достаточно, чтобы радикальным образом изменить всю картину. Пусть и предыдущая полоса в этом отношении (как и в ряде других, например в росте и интенсификации производства) достигла еще немногого, как бы то ни было, общество находилось в движении, в поисках; в нем жила сильная тенденция к самоизменению. Ситуация была противоречивой, но динамичной и открытой. И вот все это было остановлено, динамика превратилась в статику, а та уже сама собой — в омертвляющую застойность.

Октябрь, 1987, № 8

И. Перов

ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ Ю. БУРТИНУ

Вы пишете, что широкая и активная критика «культа личности» развернулась в 1956—1964 гг. и Вам эта критика явно по душе, однако во второй половине 1960-х гг. эта критика стала столь же активно приглушаться. А что, собственно, вызывает у Вас недоумение? Народ не желал оплевывания сталинского имени ради удовольствия эстетствующих снобов, современных ва-

сисуалиев лоханкиных и прочих продуктов, произведенных со времени столь горячо любимой Вами «эпохи Хрущева». Спросите мнение рабочих об И. В. Сталине, или военнослужащих, или колхозников... Что они скажут, если Вы попробуете перед ними «разоблачать» «сознательно организованное забвение преступлений сталинского времени», пытаясь очернить человека, который предпочел потерять сына, но быть до конца с народом в суровых испытаниях и именно поэтому имевшего подлинный авторитет?! И, наконец, что они скажут, если Вы попытаетесь убедить их, будто бы при Сталине возникла «система привилегий для высших этажей»,— вздор, на который всякий здравомыслящий человек ответит, что привилегии возникли при столь дорогом Вашему чувствительному сердцу Хрущеве и закреплены были при Брежневе.

Говорят, что любая эпоха выдвигает своих героев. Финал общественной деятельности героев эпохи Хрущева говорит сам за себя. Вспомните фактический развал хозяйства страны к 1964 году; вспомните, как после XXII съезда, на котором безграмотный Хрущев пообещал за 20 лет воздвигнуть коммунизм — одним махом достичь то, над чем ломали головы лучшие умы человечества,— вспомните, как после этого начали уничтожаться приусадебные участки и отбираться скот и даже домашняя птица. Вспомните, как в 1959 г. Хрущев стучал башмаком по столу в здании ООН — именно этим нас «подколол» в одной из телепередач Фил Донахью, а двумя годами позже, на XXII съезде, Аджубей восторженно восклицал, что громыхание башмаком по столу было «просто здорово». Вспомните и поразительное по своей бессмысленности разделение парткомов на промышленные и сельские в 1962 г. Вы отлично знаете все это, но предпочитаете об этом умалчивать и именовать тогдашние деяния процессом, «однонаправленным с нашей нынешней перестройкой», а время хрущевского волюнтаризма — «одной из высоких страниц отечественной истории». Вас даже не волнует, что Вы дискредитируете перестройку, пытаясь вызвать к ней на подмогу из исторического небытия тень кукурузного бога.

Октябрь, 1987, № 12

В. Федоров

ОППОНЕНТУ Ю. БУРТИНА

Вы обвиняете Н. С. Хрущева, что при нем появилась система привилегий. Глубокое заблуждение! Во время войны и после, до самого Хрущева, они существовали. Существовали закрытые магазины, санатории, закрытые больницы. Хрущев отменил многие привилегии. Ввел единое для всех новое трудовое законодательство (это очень был большой радикальный закон). Ведь при Сталине колхозник не имел никакого права покинуть колхоз, а рабочий не имел права уволиться с предприятия, если начальник не дает на то свое согласие. (А согласие давали буквально при исключительных обстоятельствах.) Началось массовое — повторяю — массовое строительство жилья для рабочих (до этого были в подавляющем большинстве бараки). Было постановление о сокращении управленческого аппарата, изъятие из кабинетов телевизоров — передача их детским домам, сокращено количество персональных машин. Но все это упиралось в глухую стену, саботировалось как в верхах, так и внизу, все реформы опошлялись, ставились палки в колеса. Хрущев много сделал, чтобы преодолеть в мире недоверие к нам других стран. Ну как было при Сталине? Советская машина, советская техника — трактор или станок — самые лучшие, и попробуй возразить — сразу «ярлык»: «преклонение перед Западом». Тогда напрашивается вопрос: зачем конструктору изобретать новое, еще лучшее, когда у нас и так все самое лучшее? Вот вам и корни застоя.

Да, атмосфера тех лет была противоречивой, искали выхода, много ошибались. Но цель была благородной и средства нормальные, гуманные.

Октябрь, 1988, № 5

А. Матлин

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА И ДЕНЬГИ

«Теперь бывает так: лежит копейка на тротуаре, иной человек проходит и не нагнется, чтобы поднять ее. А когда будут новые деньги, копейка не будет валяться, ее обязательно поднимут, ведь это коробка спичек»,—

сказал Н. С. Хрущев на сессии Верховного Совета СССР в 1960 г.

В 1961 г. была проведена вроде совершенно безобидная операция: масштаб нашей денежной единицы был повышен в 10 раз и в связи с этим выпущены в обращение новые деньги.

На самом деле, как известно, денежной реформой 1961 г. наломали дров. При ее проведении почему-то забыли азбуку экономической науки: деньги — это общественное отношение, а денежные знаки — долговые обязательства Госбанка, которым можно верить и работать за них, а можно и не верить, требуя более «твердую валюту».

В чем была ошибка 1961 г.? Государство могло заменить 10 старых рублей одним новым только при выплатах государственным рабочим и служащим, при установлении цен в государственной и кооперативной торговле. А в остальном оно было не властно. Крестьянин, получающий доходы от колхоза и продажи на колхозном рынке, мог и не согласиться с новым курсом рубля. По опубликованным данным, цены колхозного рынка, которые в 1960 г. были ниже довоенных (97 процентов), к 1963 г. возросли на 18,5 процента. «Борьба» с личным хозяйством внеэкономическими методами в ответ на рост цен в эти же годы привела к снижению физического объема продажи на колхозном рынке на 10 процентов.

Колхозный рынок поставлял в 1960 г. 13,9 процента продовольствия городскому населению, в основном в мелких и средних городах. Повышение цен и уменьшение продажи продуктов питания надо было как-то компенсировать. Так к уравниловке в оплате труда, созданной при пересмотре ее условий в 1956—1959 гг., добавилась «выводиловка» в оплате труда городских рабочих.

Реальное обесценивание денежных знаков не могло не привести к затяжному процессу роста всех видов цен. Первая «ласточка» — 30-процентное повышение розничных цен на мясо и мясопродукты и на 25 процентов на масло *.

Следует отметить, что тогда, в начале 60-х годов, наши экономические ведомства (в отличие от нынешних) были против повышения цен. Они, например, чет-

* Это было в 1962 г.

ко видели, что удорожание продукции добывающей промышленности отнюдь не связано с «природным фактором». Так, Госплан СССР, Минфин СССР и Госбанк СССР 2 декабря 1960 г. докладывали правительству, что «решающей причиной убыточности большого числа предприятий тяжелой промышленности является то, что имевший место за последние годы в ряде ее добывающих отраслей... значительный рост заработной платы, в связи с ее упорядочением и сокращением продолжительности рабочего дня, не был компенсирован соответствующим повышением производительности труда».

Именно поэтому уже подготовленные к 1963 г. новые оптовые цены не были введены в действие вплоть до 1967 г. В складывавшейся в начале 60-х годов ситуации при падавшей покупательной способности денег экономика постепенно вползала в эпоху дефицита; деньги переставали играть экономическую роль, на их место становилось внеэкономическое распределение материальных ресурсов и «блатное» распределение товаров.

Понятно, что все эти процессы неизбежно влияли на падение темпов экономического роста и снижение эффективности общественного производства. И этому в высшей степени способствовала спираль роста цен и оплаты труда, возникшая после и, видимо, в значительной мере в результате денежной реформы 1961 г.

Московские новости, 1987, № 46

Л. Воскресенский

БОЛТОВНЯ — ДАМА ОПАСНАЯ

Хочется напомнить давнишнюю историю, которую можно считать хрестоматийным примером забалтывания дельной идеи. В 1959 г. Н. С. Хрущев, находясь с визитом в США, посетил ферму Р. Гарста в штате Айова и воочию убедился, что в сельском хозяйстве интенсивного типа кукуруза должна набирать силу, подобно товарному поезду, идущему под уклон. Строго говоря, кукуруза в особой рекламе не нуждалась. Наши соотечественники-земледельцы в свое время, знать не зная Гарста, добились соотношения посевов, воздававшего должное этому поистине великому злаку: 4,4 миллиона гектаров зерновой кукурузы на 92,2 миллиона гектаров посевного клипа зерновых в 1928 г. (сейчас соответст-

венно 4,5 и 117,9). И замечу попутно, если бы мы затем не позабыли наш собственный опыт 20-х годов, наверное, не пришлось бы в конце 50-х учиться уму-разуму в Айове.

Но то, что не постеснялись поучиться у Гарста, правильно! Дело пошло: в 1960 г. зерновая кукуруза была посеяна на 5,1 миллиона гектаров (из 115,6 миллиона гектаров зернового клина).

Впору бы радоваться и постепенно закреплять первые успехи. Но тут вступила в действие Болтовня. Поднялся несусветный шум: ах, кукуруза! ах, чудесница! ах, чародейка! ах, королева полей! В городах открывались кафе-«чудесницы», на концертных сценах закружились танцоры, похожие на кукурузные початки. Немного смешно. Однако, когда в угоду моде и шумихе начали насаждать и сеять кукурузу там, где она никогда не росла и расти не могла, разрушая традиционные севообороты, стало не до смеха.

Для сельского хозяйства, для экономики в целом все это обошлось дорого.

Просматриваю динамику посевных площадей год за годом. В 1965 г., когда мода на кукурузу сошла на нет, ее посевы сразу сократились до 3,2 миллиона гектаров. Теперь умным, не поддающимся панике хозяйственникам приходилось отстаивать ни в чем не повинную, но развенчанную «королеву полей» даже на Украине и Северном Кавказе. Стояли, как говорится, насмерть, и все же: 1975 год — 2,6 миллиона гектаров посевов, 1978 год — 2,5, 1979 год — 2,7. Только после принятия Продовольственной программы кривая посевов медленно поползла вверх. Но даже в 1983 г. профессор Анатолий Степанов, ныне покойный (мужество и принципиальность стоили инфаркта), доказал, что имеется возможность расширить посевы кукурузы на зерно до 5,5—6 миллионов гектаров, что с производством этого зерна «сложилось нетерпимое положение»: потребности страны превышают 20 миллионов тонн, в перспективе возрастут до 30; однако в лучший год мы получаем лишь 15 миллионов тонн.

Где же мы все-таки собрали то, что недосеяли в угоду моде на собственных полях? В Айове. За валюту.

Не смешно. Болтовня — дама опасная. И чтобы впредь не смеяться сквозь слезы, давайте остерегаться шумовых эффектов.

Московские новости, 1987, № 14

М. Петров

ЦЕЛИНА АЛЕКСАНДРА БАРАЕВА

В пятьдесят четвертом году целина казалась многим чуть ли не вновь открытой планетой. Поездам на восток семафоры давали «зеленый», потому что везли они пассажиров к мечте о всеобщем благоденствии, земном изобилии и хлебном рае.

Вскоре после первых восторгов пришло время тревоги и разочарований. Над степью, распаханной вдоль и поперек, закружили пыльные смерчи. Жадные и шершавые их языки вылизывали миллионы гектаров освобожденных от многовекового плена целинных земель.

В шестьдесят четвертом целина казалась безнадежно больной. Некоторые даже предлагали ее «закрыть».

Второе рождение целины начиналось с идеи. Идеи, в сущности, не новой. Это только дилетантам может показаться, что за миллионы лет, что живет человек на земле, он сумел приручить землю, разгадать все ее тайны.

Одним из обязательных условий успешного земледелия, по мнению ученых Казахского научно-исследовательского института зернового хозяйства, были пары. Отдохнувшая земля, очищенная за лето от сорняков, накапливала к тому же влагу и азот, этим и гарантируя будущие урожаи.

И вот в 1964 г. эпицентром нового научного спора о парах снова стал институт в Шортандах. Н. С. Хрущев, побывав здесь в августе, поставил под сомнение необходимость держать под парами пятую, а то и четвертую часть всей пашни. Его замечание о том, что земля должна давать максимальную отдачу сегодня, воодушевило оппонентов директора института Бараева.

Вот выдержки из стенограммы заседания ученого совета института от 28 августа 1964 г., на котором Бараев сделал краткий доклад об основных направлениях работы института с учетом замечаний Н. С. Хрущева.

Гуцаки А. Д., заместитель директора института по науке: «Доклад, в общем, произвел хорошее впечатление. Но вы, товарищ Бара́ев, принципиально на других позициях по вопросам системы земледелия. Не идете в ногу. Кардинальное замечание Хрущева — валовое производство зерна».

Бараев А. И.: «Если даже в ближайшие пять лет

дадут достаточное количество гербицидов, удобрений и интенсидов, то даже через пять лет останется еще один фактор пара, который навряд ли будет компенсирован,— это влагонакопление...»

Селезнев А. А., директор опытного хозяйства института: «Нужны ли чистые пары в Целинном крае, сомневается Хрущев. В 1962 г. все говорили, что да, нужны, а в 1963-м — некоторые считают, что нет, не нужны... Когда к нам должен был приехать Хрущев, то мои знакомые директора совхозов и начальники производственных управлений говорили: держитесь за пары, отстаивайте пары. Пусть бы среди этой аудитории побывал Гуцаки и выступил против паров...»

1964 г. чуть не стал последним в научной карьере Александра Ивановича Бараева. К счастью, в партийных и советских органах нашлись люди, трезво оценившие ситуацию, понимавшие, какой непоправимый урон науке, а значит, стране могут нанести необдуманные кадровые перестановки в институте.

Распоряжение было схоронено под сукном. Хотя охотников таким вот своеобразным способом решать теоретические споры было предостаточно.

Комсомольская правда, 1987, 7 октября

А. Болотин

«ЗНАКОМЫЙ ВСЕМУ МИРУ ЧЕЛОВЕК»

«Мне многие говорили, да я и сам переживал большую радость, когда слушал выступление замечательной нашей девушки-комсомолки бригадира Валентины Гагановой, которая выступала на Пленуме от имени работниц Вышневолоцкой фабрики Калининской области. Вы поймите, товарищи, в это надо вдуматься — никогда человек, который мыслит капиталистическими понятиями жизни, никогда он не поверит, чтобы рабочий отказался от работы, которая лучше оплачивается, и добровольно перешел на работу, которая хуже оплачивается, и стал меньше зарабатывать.

Причем эта работница пошла в отстающую бригаду не потому, что ни в чем не нуждается.

Ценность и благородство поступка этого человека в том, что не материальная заинтересованность толкнула

ее на такой шаг, а идея, идейная преданность коммунистическому строю. И во имя этого строя человек идет на личные жертвы!»

Эта цитата из выступления Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 29 июня 1959 г.— на Пленуме, ставшем своеобразной точкой отсчета нового почина, положившего начало массовому социалистическому соревнованию за право называться ударником или бригадой коммунистического труда. Кривая роста этого движения по стране в те годы стремительно шла вверх. Поступали вести с мест — в числе последователей Гагановой люди разных специальностей и профессий: строители, шахтеры, колхозники. В мае 1960 г. Всесоюзное совещание ударников коммунистического труда констатировало: движение за коммунистическое отношение к труду объединило под своими знаменами свыше 5 миллионов тружеников города и деревни, в соревнование вступили целые цехи и предприятия. Страна «выкладывалась»... Почему же потом «растеряли», почему не «сберегли»? Не потому ли, что на гребне всенародного энтузиазма поднималась уже мутная пена шумихи, показухи, шапкозакидательства? От частого употребления к делу и не к делу стирались, теряли свой изначальный смысл святые для каждого понятия. И уже многие трудовые коллективы, районы, города, целые области страны «соревновались», кто выдаст больше на-гора «гагановых». И такое «движение» развращало людей, лишало их чувства времени и ощущения реальности. Социалистическое соревнование приобретало уродливые черты формализма. Желаемое выдавалось за действительное. За многими лозунгами тех лет скрывались лишь имитация бурной деятельности, некомпетентность, нежелание мыслить реальными экономическими категориями.

— И у меня,— рассказывает Валентина Ивановна Гаганова,— закрадывалось сомнение: не слишком ли все совершается легко и просто? Каждый ли из тех, кто поддержал почин, искренен и честен перед собой и страной? Да и в количестве ли последователей суть дела? Ведь процесс перехода из передовой в отстающую бригаду даже в масштабах нашего участка проходил небезболезненно.

— Валентина Ивановна,— говорю,— прокомментируйте, коли выдался случай, пожалуйста, такие строки из поэмы, которую посвятил вам в те давние годы совсем молодой поэт Андрей Дементьев:

Шла Валентина
Медленно наверх,
А в кабинете
Вышел ей навстречу
Знакомый всему миру
Человек.

«Знакомый всему миру человек» — это Хрущев. Вы встречались с ним, о чем разговаривали?

— Здесь Андрюша, который, кстати, большой друг нашей семьи, несколько художественно домыслил. Не было такой встречи.

— А как же известный снимок, где вы сидите вместе?

— В перерыве между заседаниями на XXII съезде партии один фотокорреспондент уговорил меня и украинскую колхозницу Евгению Долинюк подойти к Хрущеву и попросить его сфотографироваться на память. Мы набрались решимости, подошли: по пути прихватили с собой донбасского шахтера Колю Мамая. Никита Сергеевич согласился. Так вчетвером и сфотографировались... Снимок обошел все газеты страны. Первый съезд, делегатом которого мне посчастливилось быть,— XXII. Волновалась ужасно, а тут еще новые туфли безумно жмут. Потихоньку снимала их, сидя в президиуме, чтобы не заметили сидящие рядом. Доверили даже вести одно из вечерних заседаний. Боялась, как бы не перепутать фамилии зарубежных гостей. А в кулуарах бушевали страсти. У всех на устах имена невинно расстрелянных и посмертно реабилитированных товарищей: Постышева, Коспора, Эйхе, Рудзутака, Чубаря, Крыленко, Уншлихта, Бубнова. Стоя в сторонке с подружкой, ивановской ткачихой Юлей Вечеровой, обсуждаем выступление на съезде председателя Комитета госбезопасности Александра Николаевича Шелепина. Оказывается, летом 1957 г. Булганин расставил в Кремле свою охрану, выставил дополнительные посты, никого не пропускавшие без его указания в здание правительства, где проходило заседание Президиума ЦК. Целый заговор, подумать страшно. Хотели скрыть от народа правду о культе личности.

Мне трудно, конечно, о многом судить, да и не мое это дело. Но, честное слово, до сих пор не могу понять, почему вычеркивали из истории время, связанное с Никитой Сергеевичем Хрущевым?

Огонек, 1988, № 4


«В ВОПРОСАХ ИСКУССТВА
Я СТАЛИНИСТ»
ПРАВДА
ЫСОКАЯ ИДЕЙНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТ
ЛИКАЯ СИЛА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУС
ЕЧЬ ТОВАРИЩА Н С ХРУЩЕ

Было бы хорошо, если бы каждый наш писатель, деятель искусства исходил из понимания, что его деятельность должна укреплять, а не ослаблять позиции коммунизма. Тогда он сам будет предъявлять к своему творчеству более высокие требования, строже контролировать свою деятельность, и тогда общественности не будет необходимости выступать с критикой идейно незрелых произведений. Спросят: «А кто же судья, кто будет определять, в правильном ли направлении идет идеологическая работа?» Партия судья, партия и народ, их интересам, делу коммунизма должна служить вся идеологическая работа, каждое произведение литературы и искусства!

...Очень важный и интересный для партии участок идеологической работы — кинематография. Кинофильмы — острое идейное оружие и доходчивое средство воспитания...

Среди отдельных работников кинематографии имеются, как говорят, некоторые заскоки, неправильные взгляды на роль кино. В частности, это относится к такому известному и опытному режиссеру, как М. Ромм. Будем надеяться, что он одумается и укрепится на верных позициях.

...Если говорить о музыке, то мы считаем, что она развивается сейчас в правильном направлении. Правда, заскоки были также и у некоторых композиторов. Об этом мы говорили в свое время, и теперь дело идет как будто хорошо.

...Много у нас в литературе хороших художественных произведений. Такие, как «Василий Теркин» и «За далью — даль» А. Твардовского, достойны похвалы.

...Посмотришь некоторые произведения живописи и не поймешь, что и для чего иногда пишут... Много говорят о творчестве скульптора Неизвестного. Мне хочется верить, что человек он честный и способный. Может быть, не следует, когда речь идет об абстракционистах, все сводить к скульптору Неизвестному. Давайте посмотрим, как он выполнит свое обещание, покажет своим творчеством, как он служит народу.

Мы все-таки, видимо, виноваты в том, что вовремя не заметили некоторых нездоровых явлений в искусстве и не приняли необходимых мер, чтобы предотвратить распространение таких явлений.

Во всем этом надо навести порядок.

Н. С. ХРУЩЕВ

С. Михалков

ШЛЮЗЫ ИЛИ КИНГСТОНЫ

Из разговора со специальным корреспондентом «Огонька» Ф. Медведевым

— *А что вы сегодня думаете о Хрущеве?*

— Хрущев, безусловно, очень много сделал в свое время для изменения обстановки в стране: началась реабилитация невинно осужденных во времена культа, он первый заговорил о всеобщем разоружении. Самобытная личность, крепкий крестьянский ум! Помню, на одном из писательских съездов Хрущев делал доклад — большой, длинный доклад. Довольно интересно было его слушать. Он говорил о многом, если не обо всем. Но всего все-таки не сказал. После доклада ко мне подошли наши чиновники от литературы, которые недвусмысленно заметили, что, мол, дело мое проиграно: «Хрущев о сатире ничего не сказал. Не сказал ни слова. Значит, нужна ли она теперь?» Вот такие были времена... Чиновники только и прислушивались к каждому слову свыше — не сказано, значит, не надо.

Я понимал, что надо исправить положение, надо, чтобы Хрущев хотя бы несколько слов сказал о сатире. И вот на приеме в Георгиевском зале я подошел к Хрущеву и заговорил о сатире. «Что такое? — удивился Хрущев.— А почему я должен был еще что-то сказать?!» — «А потому,— говорю я,— что каждое ваше слово начинают цитировать, изучать, и если вы ничего не сказали о сатире, значит, Никита Сергеевич, вы к этому жанру плохо относитесь, и это будет иметь роковые последствия не только для литературы...» — «А где же мне это сказать?» — спрашивает Хрущев. «А вот сейчас и скажите прямо в микрофон». Хрущев подошел к микрофону и обратился к залу: «Вот тут товарищ Михалков говорит, что я ничего не сказал о сатире. Сатира нам нужна, она нам очень помогает!» — и повернулся в мою сторону: «Ну вот я и сказал». Я опять обращаюсь к нему: «Надо, Никита Сергеевич, чтобы слова ваши попали в стенограмму доклада». Хрущев подозвал редактора «Правды» П. А. Сатюкова и дал указание: «То, что я сейчас сказал о сатире, вставьте в доклад». Этот эпизод лишний раз возвращает нас к временам, когда руководящее мне-

ние, компетентное или некомпетентное, волюнтаристски могло решать очень многое.

Вспоминается один из пленумов ЦК. Раньше на пленумы приглашалось много гостей. И вот однажды перед началом очередного пленума ЦК ко мне обратились некоторые товарищи, ратовавшие за сохранение памятников старины. То есть за то, что сейчас с таким успехом утверждается и поддерживается правительством. Они попросили меня передать Хрущеву письмо, в котором предлагалось создать общество охраны памятников культуры. Об этом я, собственно, и говорил с трибуны. Передаю письмо Хрущеву, а он не берет. «Не возьму»,— говорит. Я настаиваю: «Никита Сергеевич, очень прошу взять, люди просили, и сам я всем сердцем за это дело». Он опять: «Не возьму!» Я в дурацком положении: на глазах у всего пленума идет между нами обмен репликами. В конце концов Хрущев уступил и с сердитым видом принял письмо. И вот я жду, когда кто-нибудь из выступающих меня поддержит. Ни один человек не поддержал! Ни один. В заключительном слове Никита Сергеевич говорит: «Вот тут Михалков и Паустовский защищают памятники старины» — и... выступает против содержания переданного мною письма. И тут же, на трибуне, что-то порвал. Не знаю, что именно: то ли текст письма, то ли какие-то свои заметки. По всей Москве поползли слухи: дескать, Михалков вылез и получил по мозгам. Злые языки всегда найдутся. Но в конце концов общество по охране памятников истории и культуры было создано, и сегодня оно достойно служит Отечеству.

— *Может быть, мы поговорим о роли личности в истории?*

— Когда меня сегодня спрашивают за границей о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, я говорю, что сама жизнь выдвинула его на пост Генерального секретаря. Пришло время нового мышления.

Вспомним: при Сталине человека могли оклеветать, убрать с дороги, арестовать, уничтожить... При Хрущеве можно было попасть в такую немилость, в какую попали тогда, скажем, поэт Андрей Вознесенский, кинорежиссер Марлен Хуциев, скульптор Эрнст Неизвестный, некоторые другие. Несправедливый гнев руководителя партии — и поэта перестали печатать, художника выставлять. Разгромные статьи в прессе предавали остракизму имя человека. В первую очередь вспоминаю о Бо-

рисе Пастернаке. В обстановке морального террора, развязанного вокруг имени Пастернака, многие писатели, в том числе и я, не нашли в себе гражданского мужества и согласились с решением об исключении его из Союза писателей. И приветствовали это решение. Сегодня горько об этом вспоминать. Время ставит все на свои места.

Однажды, это было в 1962 г., меня пригласили в Центральный Комитет партии, в Отдел агитации и пропаганды. Говорил со мной Александр Николаевич Яковлев. Мне предложили организовать сатирический киножурнал. Когда меня спросили, что мне для этого надо, я ответил: только одно — доверять! Если же я не оправдаю доверия, то пускай этот киножурнал делает кто-нибудь другой. И вот уже 26 лет каждый месяц выходит наш «Фитиль». Когда же возникали цензурные проблемы, мы спорили, отстаивали нашу позицию, доказывали. И нас поддерживали. Как правило, «наверху» находились товарищи, которые говорили: «Продолжайте свое дело! «Фитиль» полюбился народу». И вправду «Фитиль» был в годы застоя (теперь это особенно видно) среди тех общественных сил, которые подготавливали демократизацию общества.

Огонек, 1988, № 12

Т. Хренников

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Когда после смерти Сталина у нас постепенно налаживалась атмосфера (это было в 1957 г.), была премьера моей оперы «Мать» в Большом театре. На эту премьеру пришел Хрущев с Микояном. Они пригласили меня к себе в ложу. Сначала они высказали свои впечатления по поводу моей оперы, а потом был общий разговор. И я Хрущеву говорю, что получается очень неприятная для партии вещь, потому что люди, которые в постановлении * пригвождены как антинародные композиторы,— мировые корифеи. Это признано всем миром, а пятно остается на партии, которая высказалась о них в сорок

* Речь идет о постановлении ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г. «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели».

восьмом году вот таким образом. И нужно обязательно что-то сделать, чтобы этого клейма на партии не оставалось. Он говорит: мы подумаем. И через несколько месяцев — это было в мае пятьдесят восьмого года — появилось постановление ЦК об исправлении ошибок. Это было, наверное, единственное постановление Центрального Комитета, которое по существу своему дезавуировалось. Писатели до сих пор ничего не сделали, хотя были постановления о журналах «Звезда», «Ленинград», об Ахматовой, о Зощенко... *

Советская культура, 1988, 21 мая

Ю. Семенов

«ЭТО НЕ ВЫМЫСЕЛ, ТОВАРИЩ ХРУЩЕВ...»

Однажды Хрущеву привезли на дачу фильм Ива Чампи о внуке одного из руководителей Интернационала Рихарде Зорге, который жил в Шанхае и Токио как корреспондент немецких газет, являлся при этом секретарем партийной организации национал-социалистской партии Германии в Японии, но был одним из самых выдающихся разведчиков нашей пролетарской диктатуры.

Посмотрев картину, Никита Сергеевич не без восхищения заметил:

— Вот как надо снимать! Сидишь как на иголках, а в наших фильмах сплошная тягомотина или барабанный бой, «ура-ура», смотреть тошно!

Среди приглашенных на просмотр был и тот, кто знал правду о Зорге; он-то и заметил:

— Так ведь это не вымысел, товарищ Хрущев, а чистая правда.

Никита Сергеевич даже изменился в лице, огромный лоб свело морщинами, глаза погасли; помедлив мгновение, он поднялся и, не говоря ни слова, отправился к аппарату прямой связи; позвонил генералам армии Захарову и Серову; те подтвердили — да, правда, был та-

* 20 октября 1988 г. Политбюро ЦК КПСС, рассмотрев обращение Союза писателей СССР и Ленинградского обкома КПСС, отменило постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» как ошибочное.

кой Зорге; на составление подробной *справки* попросили время; Хрущев дал день; через неделю, не посоветовавшись ни с кем из коллег, провел Указ Президиума Верховного Совета: Зорге стал Героем Советского Союза.

Ходили слухи, что кое-кто возражал против этого акта (я имею в виду ближайших соратников Хрущева; впрочем, «соратниками» их называть рискованно: славя его прилюдно, они уже тогда готовили против него заговор).

Тем не менее с тех пор имя Зорге было канонизировано; не привези Хрущеву на дачу этот фильм Чампи или будь на месте Никиты Сергеевича другой человек, так бы это имя еще на десятилетия оставалось вычеркнутым из нашей истории.

Впрочем, ни один вопрос никогда не остается безответным, тайное — рано или поздно — становится явным, сие — историческая аксиома.

Нева, 1988, № 6

В. Гроссман

ПРАВОЕ ДЕЛО ПОБЕДИТ

Из письма к Н. С. Хрущеву о рукописи романа «Жизнь и судьба» *

В моей книге есть горькие, тяжелые страницы, обращенные к нашему недавнему прошлому, к событиям войны. Может быть, читать эти страницы нелегко. Но, поверьте мне,— писать их было тоже нелегко. Но я не мог не написать их...

Как же понять, что в наше время у писателя производят обыск, отбирают у него книгу, пусть полную несовершенства, но написанную кровью его сердца, написанную во имя правды и любви к людям...

Я прошу Вас вернуть свободу моей книге; я прошу, чтобы о моей рукописи говорили и спорили со мной редакторы, а не сотрудники Комитета государственной безопасности...

* Скорее всего, это письмо не дошло до Н. С. Хрущева. Ответа на него В. Гроссман не получил.

...Вот уже год, как книга изъята у меня. Вот уже год, как я неотступно думаю о трагической ее судьбе, ищу объяснения происшедшему. Может, объяснение в том, что книга моя субъективна?

Вот уже год, как я не знаю, цела ли моя книга, хранится ли она, может быть, она уничтожена, сожжена?

Если моя книга — ложь, пусть об этом будет сказано людям, которые хотят ее прочесть. Если книга моя клевета, пусть будет сказано об этом. Пусть советские люди, советские читатели, для которых я пишу 30 лет, судят, что правда и что ложь в моей книге.

Но читатель лишен возможности судить меня и мой труд тем судом, который страшней любого другого суда — я имею в виду суд сердца, суд совести. Я хотел и хочу этого суда.

Мало того, что книга моя была отвергнута в редакции «Знамя», мне было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, что работу над рукописью я не закончил еще, что работа эта затянется на долгое время. Иными словами, мне было предложено говорить неправду.

Мало того, когда рукопись моя была изъята, мне предложили дать подписку, что за разглашение факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном порядке.

Методы, которыми все происшедшее с моей книгой хотят оставить в тайне, не есть методы борьбы с неправдой, с клеветой. Так с ложью не борются. Так борются против правды.

Что же это такое? Как понять это в свете идей XXII съезда партии?

Вы на XXII съезде партии безоговорочно осудили кровавые беззакония и жестокости, которые были совершены Сталиным. Сила и смелость, с которой Вы сделали это, дают все основания думать, что нормы нашей демократии будут расти так же, как выросли со времен разрухи, сопутствовавшей гражданской войне, нормы производства стали, угля, электричества. Ведь в росте демократии и свободы еще больше, чем в росте производства и потребления, существо нового человеческого общества. Вне беспрерывного роста норм свободы и демократии новое общество мне кажется немыслимым...

Московские новости, 1987, № 42;
Литературная газета, 1988, № 9

Ю. Райзман

РОСТКИ НАДЕЖДЫ

Я расскажу, как мы с Евгением Габриловичем задумали Губанова *. Это было трудное время пятидесятых годов. Жилось нам еще очень скудно, но появились первые ростки надежды — нет, не на сытость, но на духовное обновление общества. Мы почувствовали, что нужен герой, который мог бы стать олицетворением (не люблю этих слов — олицетворение, символ, но здесь иначе не скажешь) этих надежд. А в какой-то степени и вернуть изначальный смысл простому и ясному слову — коммунист. Потому мы так и боролись за такое именно название фильма! Но почему-то именно оно и вызывало столько нареканий и внутреннего сопротивления — словно «там», наверху, в чиновничьих кругах, ощущали внутренний полемический смысл слова, вынесенного в заглавие фильма.

Руководителем кинематографии тогда был Михайлов, с ним-то и шла основная борьба. Фильм шел мучительно трудно — к тому же непривычная для меня стилистика массовых сцен. Хотя и эту картину я стремился делать по-своему, прежде всего как рассказ об одном-единственном человеке (повторяю, не об истории), о драме личности, тогда уже вошедшей в конфликт с эпохой, которая скоро стала послеленинскими годами. Это еще раз к вопросу о будущей судьбе Губанова, если бы он не был расстрелян десятью бандитскими выстрелами в упор...

Картина, повторяю, шла мучительно. И в какой-то момент ее — а такие случаи у меня происходили чуть ли не каждый фильм — вполне могли закрыть, не выпустить, ну и что там еще?

В это время в разгар борьбы происходит большой прием в Кремле, и Микоян знакомит меня с Хрущевым. «Вот, Никита Сергеевич,— говорит он,— это товарищ Райзман, он снял ту самую картину (тогда она была еще без названия), которую мы на днях смотрели». Хрущев с интересом посмотрел на меня и начал говорить какие-то хорошие, теплые слова. Я пользуюсь моментом и бросаюсь в атаку: «Никита Сергеевич,— говорю,— мы бы хотели, чтобы картина называлась «Коммунист».

* Главный герой художественного фильма «Коммунист».

— А что,— говорит Хрущев,— хорошее название.

В этот момент я вижу, как Михайлов уже делает круги на дальних подступах. Потом, когда я отхожу от правительственного стола, он подходит ко мне и, слегка полуобняв за плечи, тонко замечает: «А не подумать ли нам о второй серии «Коммуниста»?»

Советская культура, 1988, 4 июня

А. Вознесенский

Н. С. ХРУЩЕВ: «В ВОПРОСАХ ИСКУССТВА Я СТАЛИНИСТ»

Из интервью газете «Советская культура»

Поэты, заявившие о себе в 60-х годах, пожалуй, лучшие свои вещи написали в 70-х и 80-х. В стихах сказалась боль от крушения иллюзий. Деление на поколения в поэзии механистично. В те годы я написал о поколениях — «горизонтальном» (по возрасту) и «вертикальном» (по совести и таланту). Эти слова о «вертикальном» поколении, доносительски исказив, процитировали, чтобы вывести из себя Н. С. Хрущева, на злополучной встрече с интеллигенцией в Кремле. Он потребовал меня на трибуну.

Свердловский голубой купольный зал был заполнен парадными костюмами, белыми нейлоновыми сорочками, входящими тогда в обиход. Это в основном были чины с настороженными вкраплениями творческой интеллигенции.

Трибуна для выступающих стояла спиной к столу президиума. Почти впритык к столу, за которым возвышались — Хрущев, Брежнев, Суслов, Козлов и Ильичев... Их десятиметровые портреты украшали улицы по праздникам. Их несли над колоннами.

Хрущев был нашей надеждой, я хотел рассказать ему как на духу о положении в литературе, считая, что он все поймет.

Но едва я, волнуясь, начал выступление, как кто-то из-за спины стал меня прерывать. Я продолжал говорить. За спиной раздался микрофонный рев: «Господин Вознесенский!» Я просил не прерывать. «Господин Вознесенский,— взревело,— вон из нашей страны, вон!»

По сперва растерянным, а потом торжествующим лицам зала я ощутил, что за спиной моей происходит нечто страшное. Я сбернулся. В нескольких метрах от меня вопило искаженное злобой лицо Хрущева... Глава державы вскочил, потрясая над головой кулаками. «Господин Вознесенский! Вон! Товарищ Шелепин выпишет вам паспорт». Дальше шел совершенно чудовищный поток.

За что?! Или он рехнулся?.. «Это конец»,— понял я. Только привычка ко всякому во время выступления удержала меня в рассудке.

Из зала, теперь уже из-за моей спины доносился скандеж: «Долой! Позор!»

Метнувшись взглядом по президиуму, все еще ища понимания, я столкнулся с ледяным взором Козлова. Как остановить этот ужас? Все-таки я прорвался сквозь ор и сказал, что прочитаю стихи.

«Никаких стихов! Знаем! Долой! Вон!» — неслось мне в спину. Зал хотел крови...

И тут в перекошенном лице Главы я увидел некую пробивающуюся мысль, догадку, будто его задело что-то, пробудило сознание, что-то стало раздражать — или это мне показалось? — будто он увидел в ревущей, торжествующей толпе свою будущую гибель, почуял стихийную силу неподконтрольной номенклатуры. Через год она свернет ему шею. Набычась, он обиженно протянул: «Нет, пусть прочитает».

Когда я дошел до строк: «Какая пепельная стужа сковала б Родину мою! Моя замученная муза, что пела б в лагерном краю?» — зал злорадно затих. В те дни, теряя контроль над процессом, Глава уже давал в политике задний ход. Читая, я, как обычно, отбивал ритмы поднятой рукой. Когда кончил, раздались робкие хлопки в зале. «Агент! Агент!» — закричал в зал премьер. «Ну вот, агента зовет, сейчас меня заберут»,— подумалось. А он все кричал, но уже тоном ниже, видно выпустив пар: «Вы что руку поднимаете? Вы что, нам путь указываете? Вы думаете, вы вождь?» Он взмок от получасового крика, рубашка прилипла темными пятнами. Но он и не думал передыхать.

— Ну теперь, агент, пожалуй сюда! Очкарик в красной рубахе, агент империализма,— короткий пухлый палец тыкал в угол зала, где сидел молодой художник Илларион Голицын, потомок князей, ученик Фаворского. Он-то, оказалось, и хлопал мне...

Я потом долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления, это купеческое самодурство.

Помню, я как в тумане прослушал его (Хрущева) доклад, где уже хвалился Сталин, прошел через оживленную, вкусно покушавшую толпу. Около меня сразу образовалось пустое место, недавние приятели отводили глаза, испарялись.

Помню, я вышел на темную мартовскую кремлевскую площадь. Бил промозглый ветер. Куда идти? Кто-то положил мне лапищу на плечо. Оглянувшись, я узнал Солоухина. Мы не были с ним близки, но он подошел: «Пойдем ко мне, чайку попьем. Зальем беду». Он почти силой увлек меня, не оставляя одного, всю ночь занимал своим собранием живописи, пытался заговорить нервы...

— Всем нам еще предстоит понять причины силы и бессилия такой яркой и далеко не однозначной личности, как Н. С. Хрущев. Для этого нужно вспомнить все, до мельчайших деталей, чтобы воздать должное, чтобы извлечь уроки из ошибок. Но одни вспоминают 50—60-е годы как время революционных перемен. Другие с болью, кто-то с обидой, а кто-то с гневом. Кто прав?

— Те, кто вспоминает искренне. Доброта поражает зло, чтобы зла стало меньше. Думаю, одна из ошибок Хрущева в том, что он не доверял интеллигенции. Все свои обиды за хозяйственные неудачи он вымещал не на своих соратниках, а на художниках и поэтах. Помню, в зале обескураженное лицо Олега Ефремова, Ю. Завадского, когда он кричал на меня.

Мне рассказывали, как Н. С. Хрущев топал ногами на тоненькую Алигер. Как крохотная старушка Шагинян ушла пешком с его дачи, выдернув из ушей слуховой аппарат, чтобы не слышать того, что премьер кричал ей вслед. Никто не посмел ей дать машину.

Мало читая сам, он оценивал с чужих слов, доверился наушникам и интриганам. Трагедия с романом «Доктор Живаго» написана ими же. Хрущев не доверял демократизации, не позволяя народу самому судить о сталинских преступлениях, он разрешал это лишь себе в кругу высшей элиты.

Хрущев — в истории фигура трагичная. Его доклад на XX съезде — акт безоглядного риска и чести. Кстати, пора доклад обнародовать. Люди должны знать истину.

Да и доклад Бухарина на I съезде писателей надо опубликовать.

...Я год скитался по стране. Где только не скрывался; до меня доносились гулы собраний, на которых меня прорабатывали, требовали покаяться, разносные статьи. Сознание отупело. Депрессия. Впрочем, был молод тогда — оклемался. Остались стихи. Матери моей, полгода не знавшей, где я и что со мной, позвонил журналист: «Правда, что ваш сын покончил с собой?» Мама с трубкой в руках сползла на пол без чувств.

Через год, будучи на пенсии, Хрущев передал мне, что сожалеет о случившемся и о травле, что потом последовала. Я ответил, что не держу на него зла. Ведь главное, что после пятьдесят шестого года были освобождены люди.

А. Козырев

БУДЬТЕ ВЕЛИКОДУШНЫ!

Уважаемый Андрей Андреевич! 26 апреля газета поместила интервью, которое журналист Г. Жаворонков взял у вас. В интервью — хула Н. Хрущеву. Такое отношение к нему вы выражаете не первый раз. Фразы типа «Хрущев был нашей надеждой!», «Его доклад на XX съезде — акт безоглядного риска и чести» выпадают из контекста. Вам хочется показать «искаженное злобой лицо Хрущева», который «доверился наушникам и интриганам» и дирижировал «ором» и «скандежем» не иначе как «коротким пухлым» пальцем, а его «десятиметровые портреты украшали улицы». Тот же Сталин, только экспансивный,— вытекает из того, что вами сказано. А если еще вспомнить, что при нем тоже были тюрьмы (которые, кстати, есть и будут) и в них тоже сидели, то разница размывается совсем.

Давняя обида не позволяет вам дать Н. Хрущеву ту оценку, которую вы обронили, но никак не развили: «Главное, что после пятьдесят шестого года были освобождены люди». Это действительно главное! Это то, из чего следует исходить в оценке Н. Хрущева, если мерить по большому счету.

Если бы вы отрешились от обиды 25-летней давности, вы не сказали бы: «...Глава давал в политике зад-

ний ход... я прослушал его доклад, где уже хвалился Сталин». С трудом, но я отыскал в своем личном архиве «Правду» за 10 марта 1963 г. и прочел речь Н. Хрущева на встрече с деятелями литературы и искусства. (Не удивляйтесь: в моем архиве сохранилась и «Литературная газета» за 25 октября 1958 г., в которой на трех страницах разгром «Доктора Живаго» Б. Пастернака; но теперь эта газета сложена вместе с «ЛГ» за 25 февраля 1987 г., в которой вы даете интервью Ирине Ришиной как председатель комиссии по литературному наследию Пастернака.) Неправда, что там, в той речи, хвалили Сталина. Прочтите еще раз. Там вновь и вновь о ленинской характеристике Сталина, о нарушениях ленинских норм партийной жизни, о сталинской подозрительности и мании преследования, о репрессиях, об уничтожении десятков тысяч колхозников в начале 30-х и т. д.

Есть там, конечно, некоторые рассуждения об авторитете Сталина, по-прежнему среди оппортунистов упоминается Бухарин, категоричны, а скорее, наивны оценки некоторых произведений литературы и искусства, а также деятелей этой области.

Духовное наследство Сталина сильно даже сейчас, по прошествии 35 лет. А тогда, в шестьдесят третьем, разве мог Н. Хрущев как политик не считаться с реальной силой носителей прежней авторитарности? Разве мог он в тех условиях повернуться к интеллигенции? Тем более что она еще не возродилась после репрессий. Разве за кукурузу, говоря вашими словами, ему свернули шею? Как с объективным фактом следует считаться, что Н. Хрущев генетически нес внутри себя те атрибуты власти, в которых он за десятилетия сформировался как политический деятель. Однако следует воздать должное и тому необъяснимому мужеству, с которым он, по существу, в одиночку пошел на разрыв с привычными методами всего лишь через три (!!!) года после Сталина.

Описывая инцидент, вы претендуете на паритет с Н. Хрущевым. Ведь вам тогда было около 30, ему — под 70. Вы были молодым поэтом, он — главой партии и правительства. При таких дистанциях он чувствовал в себе право на такой контакт с вами — во время вашего выступления (да, да—это была его слабость). Но вы ему в контакте публично отказали, продолжая говорить и жестикулировать. Как человек эмоциональный, он взорвался. Ну простите же ему случившийся выпад хоть теперь, через 25 лет! Поднимитесь на ту ступеньку, на ко-

торой опорой вам будет великодушие. Тем более что старик через год после инцидента передал вам свои извинения. А за то, что мать ваша о вас полгода ничего не знала, возьмите вину на себя: черкнули бы ей пару слов и тем успокоили бы ее.

У тех, кто хочет на своем знамени оставить культовое имя Сталина, в памяти нет места для Н. Хрущева. Но вы-то не с ними!

От правильной оценки прошлого, событий и лиц в нем зависит реализация наших желаний в будущем. Это тоже собирание сил.

А. Вознесенский

ОТВЕТ МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый тов. А. Козырев! Спасибо вам, что вы прочитали мое интервью и обратились с письмом через газету. Отвечаю вам в тот же день, так как и меня мучают те же вопросы. Рад видеть в вас единомышленника, который, цитируя, разделяет мое основное отношение к Н. С. Хрущеву: «Хрущев был нашей надеждой, его доклад на XX съезде — акт безоглядного риска и мужества... Главное, что после пятьдесят шестого года были освобождены люди...» Действительно, именно этими великими свершениями Н. С. Хрущев останется в истории.

Но вам не верится, что я реалистично описал во время его встречи с интеллигенцией «искаженное злобой лицо Н. С. Хрущева, который доверился наушникам и интриганам».

Давайте вместе с вами рассмотрим три фотографии этой встречи. Кстати, воздадим должное репортеру, который не испугался навести объектив на разъяренного главу державы. Вглядитесь сами. Вот искаженное, отнюдь не нежностью, лицо премьера, вот стакан, уронепный мною на трибуне. Давайте мысленно поменяемся местами. Представьте, что вы — поэт, вы беззаветно верите в преобразования, в гласность и наступающую демократию, что вы «вышли на трибуну и хотите рассказать как на духу о положении в литературе, считая, что он все поймет». За вашей спиной президиум из соратников, выбранных им, вы еще не знаете, что это президиум будущей эпохи застоя. И вдруг вы слышите рев: «Господин Козырев, вон из нашей страны!» И вы

так и не попросили у него прощения. Но дело не в наших с вами скромных персонах.

Думаю, что вы подпишетесь под моим ощущением: «Я потом долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, мощный замах преобразований и купеческое самодурство».

Вы пишете, что глава государства «чувствовал в себе право на такой контакт с вами», вы это называете «контактом», и крик с трибуны на художника И. Голицына: «Очкарик!», и издевательство над его фамилией, и ор в Манеже на художников, и топанье на хрупкую М. Алигер, публичное унижение людей, растаптывание их. Думаю, не только глава мировой державы, но и инструктор райкома вряд ли имеет право на такие контакты.

Повторяюсь, но думаю, что одной из ошибок Н. С. Хрущева было недоверие и неприязнь к интеллигенции, творческая роль которой в гласности теперь видна. Не будучи силен в культуре, он доверился наушникам и завистникам от литературы (о чем он сожалел, будучи на пенсии), санкционировал постыдную травлю Пастернака. Вы — объективист, вы сложили вырезку с погромными статьями о Пастернаке вместе с моей статьей против этих погромов. Но неужели у вас не дрогнуло сердце о сломленной судьбе Б. Пастернака, о том, что В. Дудинцев получил инфаркт в результате неправедных проработок, о гонениях на А. Яшина, автора известных «Рычагов», неужели вы не почувствовали боль за судьбу В. Гроссмана, за молодых художников, растоптанных «контактами»? Не о великодушии я думаю, а о сострадании, неужели у вас за них не болела душа? В том же номере «Советской культуры» над вашим письмом напечатано, что Н. С. Хрущев не ответил на отчаянный призыв Казакевича опубликовать его очерк против сталинизма. Вспомните срежиссированный шабаш на писательском собрании, требовавшем высылки Пастернака из страны. Прозаик кричал: «Вон из нашей страны, господин Пастернак!» Критик вторил: «Что нам делать с господином Пастернаком? Он не должен попасть в перепись населения СССР». Могущественный поэт заключал речь: «Вон из нашей страны!» Вероятно, по инерции эти формулировки и были повторены Н. С. Хрущевым на упомянутой встрече в Кремле. Вина за них лежит «на литературной общественности», воспитанной Ждановым.

В ответ на мою фразу, что Хрущев «тогда давал в политике задний ход и хвалил Сталина», вы безапелляционно заключаете: «Неправда это». И ссылаетесь на «Правду» с речью Хрущева, где он говорил якобы лишь об авторитете Сталина — об авторитете палача, что ли? Увы, вы же знаете, в ту эпоху лести и антигласности половина слов его не попадала в газеты, как не попали в газету ни эти три фотографии, ни его монологи против художников и писателей: «Вон из страны!» Сообщалось лишь о сердечности встреч.

Впрочем, вот его опубликованное высказывание, когда он давал в политике задний ход: «Как преданный ленинист-марксист и стойкий революционер, Сталин займет видное место в истории». Этим он перечеркивал свой доклад на XX съезде.

Вы почему-то не поддержали выдвинутое в моем интервью предложение о том, что доклад на XX съезде надо обнародовать. Это другая слабость Хрущева. Мне кажется, он не решился на гласность, он разрешал критиковать недостатки Сталина только себе и лишь в кругу высшей партийной элиты, не доверяя демократии. Поэт Б. Слуцкий, писавший антисталинские стихи, в результате травли попал в психиатрическую больницу. «Мнением народа» пользовались только для того, чтобы «по желанию трудящихся» уничтожить выплаты по облигациям займов. В этом трагизм великой фигуры Хрущева, преобразователя и борца за мир, который порой не мог победить в себе до конца сталиниста. Эренбург вспоминал слова Хрущева: «В вопросах искусства я сталинист». Но разве возможно быть сталинистом в литературе и идеологии и стать реформатором в экономике?

Я не историк, я просто описал эпизод, описал все, как было. Советую вам почитать исследования Ф. Бурлацкого о Хрущеве и воспоминания А. Аджубея, любящего и хорошо знавшего его...

Как вы правильно пишете, «он генетически нес в себе те атрибуты власти, в которых он сформировался как политический деятель». То есть над ним довлело его прошлое и соучастие, он постоянно подавлял в себе сталиниста, «черный камень». За все это тоже отвечает Сталин, ибо «черный камень» — это производство его системы.

Обиды, как вы понимаете, у меня на Хрущева не было. Был шок от неоправдавшихся надежд на начавшуюся было демократизацию, была боль. Всегда, даже в

самые страшные мои перипетии, я понимал то великое, что он сделал для нашего народа. Много лет назад я сказал уже, что «не держу на него зла. Главное, что в пятьдесят шестом году были освобождены люди».

Но урок трагического опыта Хрущева надо понять для сегодняшней нашей и будущей жизни, чтобы не захлебнулась нынешняя борьба за демократизацию. Почему ему, сделав великий шаг освобождения, так и не удалось стать реформатором, победить сопротивление бюрократии и темных сил? Вот в чем вопрос. Его во многом погубили и льстецы типа Подгорного, типа создателей фильма «Наш Никита Сергеевич». Льстецам он лично подписывал Ленинские премии по литературе за описания своих поездок. Окружение его, развив его самодурство, ослабило его в святой борьбе. Они, как и вы, освещали в нем лишь «белый камень» и этим помогали расти черной опухоли, которая губила его могучую натуру. Этим они убили в нем преобразователя.

Народу надо знать всю правду, во всех деталях, как бы они нас ни раздражали. Рассказанный мной эпизод — лишь точка гигантской мозаики портрета Хрущева. Осколки «черного камня» видны на этих трех фотографиях.

Мы помним все доброе, великое, содеянное Н. С. Хрущевым, но надо проанализировать, где его сгубил «черный камень», почему погибла первая попытка перестройки,— для того чтобы не погибла перестройка сегодняшняя. Ибо, как известно, третьей перестройки не будет.

«От правильной оценки прошлого, событий и лиц в нем зависит реализация наших желаний в будущем» — с этими вашими словами я полностью согласен.

Советская культура, 1988, 26 апреля, 9 июня, 11 июня

М. Ромм

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ С Н. С. ХРУЩЕВЫМ

До декабря 1962 г. мне не приходилось лично видеть и слышать Н. С. Хрущева. Правда, мы живем в век газет, радио и телевидения, и это давало возможность ознакомиться и с внешностью Хрущева, и с его манерой говорить... Все, казалось бы, было уже известно. Но все-

таки все это не заменило личных впечатлений, и когда я впервые просто услышал его и увидел на трех встречах с интеллигенцией и еще на одном, более ответственном собрании, то впечатление оказалось совершенно неожиданным. Человек предстал гораздо разнообразнее по краскам и, я бы сказал, и по оттенкам, гораздо сложнее и необыкновеннее. А некоторые его стороны вызвали просто изумление.

...Надо сказать, что я до этого времени принадлежал к числу поклонников Хрущева. Меня даже называли «хрущевцем». Я был очень вдохновлен его выступлением на XX съезде, мне нравилась его человечность. Я старался ему прощать все. Правда, иной раз попадались какие-то такие необыкновенности, которые заставляли оторопеть. Вдруг на одном из митингов он говорит: «Идеи Маркса, это, конечно, хорошо, но ежели их смазать свиным салом, то будет еще лучше». Мне в голову никак не приходило, что идеи Маркса можно смазать свиным салом...

Все в нем перемежалось, но в общем мне казалось: да ведь тем не менее человек.

Есть такое свойство у наших соотечественников: восхищаться на всякий случай начальством, его еще Салтыков-Щедрин отметил в «Истории одного города», что каждый новый градоначальник был душенька или красавчик.

Про Хрущева сказать было «красавчик» нельзя, но «душенька» — говорили. Говорили все, ну и я тоже говорил. Не красавчик, но душенька.

В области культуры дела шли хорошо, дышалось свободно, искусство двигалось вперед, и мы продолжали время от времени говорить друг другу: «Он, правда, не красавчик, но душенька, душенька».

Так шло до декабря шестьдесят второго года. Свобода делалась все как-то ощутимее, и я в нее как-то уверовал, что даже выступил на конференции Института истории искусств в ВТО... И стало мое выступление ходить по рукам в качестве «подпольного чтива», а на меня были поданы жалобы в Президиум ЦК. Дела мои в этот момент сильно пошатнулись. А тут как раз оказалось, что очень уж «вовремя» я выступил с этой речью, потому что буквально через неделю состоялось знаменитое посещение Манежа, где Хрущев, как мне рассказывали, топал ногами, обрушился на левое искусство, а заодно на всю культуру, на молодых поэтов.

Я знал абстракционистов, которые вызвали этот гнев, бывал у них в мастерских. Интересные были ребята, самоотверженные, голодные и бесконечно преданные своему делу. В малюсенькой комнатке, 8 квадратных метров, продавленная тахта, тут жена, полуторагодовалая девчонка — дочь. И тут же, на краешке стола, он пишет свои полотна. И ничего в доме нет, кроме хлеба и кипятка и молока для ребенка...

Видел я их. Сердце сжалось. Стали собирать подписи под письмом, чтобы не очень их били. Я подписал, уже было подписано это письмо Фаворским, Эренбургом, еще многими.

Но такое время было тревожное, тучи стали сгущаться над Хуциевым, над Эренбургом... да тут еще на молодых поэтов гроза пошла, и вот в этой обстановке, когда непонятно было, куда же склонится эта чаша весов, вот тут и состоялась первая встреча.

В декабре шестьдесят второго года я получил пригласительный билет на прием в Дом приемов на Ленинских горах.

Приехал. Машины, машины, цепочка людей тянется. Правительственная раздевалка. На втором этаже анфилады комнат, увешанные полотнами праведными и неправедными. И толпится народ, человек 300, а то, может быть, и больше. Все тут: кинематографисты, поэты, писатели, живописцы и скульпторы, журналисты, с периферии приехали — вся художественная интеллигенция тут. Гудит все, ждут, что будет.

А через двери, которые ведут в главную комнату — комнату приемов, видны накрытые столы: белые скатерти, посуда и яства. Черт возьми! Банкет, очевидно, предстоит! Что же это, смягчение, что ли? Ради чего ж накрытые столы?

Но вот среди этого гула, всевозможных взаимных приветствий и вопросительных всяких взоров появляется руководство, толпа устремляется к Хрущеву, защелкали камеры.

Хрущев беседует как-то на ходу, направляется в эту самую главную комнату, все текут за ним. Образуется в дверях водоворот из людей. Все стараются поближе к Хрущеву, туда поскорей... Все туда, туда, туда. И, как пылесос, эта главная комната с какой-то удивительной быстротой всасывает людей.

Ну, расселись все. С одного конца раздался такой звоночек, что ли.

Хрущев встал и сказал, что вот мы пригласили вас поговорить, но чтобы разговор был позадушевнее, получше, пооткровеннее, сначала давайте закусим. Закусим, а потом поговорим.

Хрущев еще извинился, что нет вина и водки, и объяснил, что не надо пить, потому что разговор будет, так сказать, вполне откровенный...

Примерно час ели и пили. Наконец подали кофе, мороженое. Хрущев встал, все встали, зашумели, загремели стулья, повалил народ в анфилады.

Перерыв.

Кончился перерыв, все устремились обратно в зал. Уже столы убраны, я оказался в другом месте. Началось с доклада... Запомнилось несколько выступлений. В одном назвали меня провокатором, политическим недоумком, клеветником, а заодно разносили Щипачева... Суть другого выступления сводилась к тому, что коменданты лагерей были прекрасные коммунисты...

А реплики Хрущева были крутыми, в особенности когда выступали Эренбург, Евтушенко и Щипачев, которые говорили очень хорошо.

Вот когда фигура Хрущева оказалась совсем новой для меня.

Вначале он вел себя как добрый, мягкий хозяин крупного предприятия, вот угощаю вас, кушайте, пейте. Мы все вместе тут поговорим по-доброму, по-хорошему.

И так это он мило говорил — круглый, бритый. И движения круглые. И первые реплики его были благостные.

А потом постепенно как-то взвинчивался, взвинчивался и обрушился раньше всего на Эрнста Неизвестного. Трудно было ему необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он разговаривал об искусстве, ничего в нем не понимая, ну ничего решительно. И так он старается объяснить, что такое красиво и что такое некрасиво; что такое понятно для народа и непонятно для народа. И что такое художник, который стремится к «коммунизму», и художник, который не помогает «коммунизму». И какой Эрнст Неизвестный плохой. Долго он искал, как бы это пообиднее, пояснее объяснить, что такое Эрнст Неизвестный. И наконец нашел, нашел и очень обрадовался этому, говорит: «Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри, из

стульчака. Вот что такое ваше искусство. И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите».

Говорит он это под хохот и одобрение интеллигенции творческой, постарше которая,— художников, скульпторов да писателей некоторых.

И тут же: «И что это за фамилия — Неизвестный? С чего это вы себе псевдоним такой выбрали — Неизвестный, видите ли. А мы хотим, чтобы про вас было известно».

Неизвестный говорит:

— Это моя фамилия.

А ему:

— Ну что это за фамилия — Неизвестный?

И в таких репликах, то злых, то старательно педагогических, прошло уже два или три часа. Все устали. Видим мы, что ничьи выступления — ни Эренбурга, ни Евтушенко, ни Щипачева — очень хорошие, ну просто никакого впечатления, отскакивают как от стены горох, ну ничего, никакого действия не производят. Взята линия, и эту линию он старается разжевать.

Наконец берет заключительное слово. Из этого заключительного слова запомнились мне несколько абзацев.

Начал он его опять же мягко. Ну вот, говорит он, мы вас тут, конечно, послушали, поговорили, но решать-то будет кто? Решать в нашей стране должен народ. А народ — это кто? Это партия. А партия кто? Это мы. Мы — партия. Значит, мы и будем решать, я вот буду решать. Понятно?

— Понятно.

— И вот еще по-другому вам скажу. Бывает так: заспорит полковник с генералом, и полковник так убедительно все рассказывает, очень убедительно. Генерал слушает, слушает, и возразить вроде нечего. Надоест ему полковник, встанет он и скажет: «Ну вот что, ты — полковник, я — генерал. Направо кругом марш!» И полковник повернется и пойдет — исполнять! Так вот, вы — полковники, а я, извините,— генерал. Направо кругом марш! Пожалуйста.

Вот такое заключение.

Или вот еще другое:

— Письмо тут подписали. И в этом письме между прочим пишут, просят за молодых этих левых художников, и пишут: пусть работают и те и другие, пусть-де, мол, в изобразительном вашем искусстве будет мирное

сосуществование. Это, товарищи, грубая политическая ошибка. Мирное сосуществование возможно, но не в вопросах идеологии.

Эренбург ему с места:

— Да ведь это была острота! Никита Сергеевич, это в письме такой, ну, что ли, шутливый способ выражения был. Мирное же письмо было.

— Нет, товарищ Эренбург, это не острота. Мирного сосуществования в вопросах идеологии не будет. Не будет, товарищи! И я предупреждаю всех, кто подписал это письмо. Вот так!

Долго длилось, часа два, это выступление, но никак я не могу вспомнить, что он говорил. Стихи даже читал какого-то шахтера. Он все старался объяснить, какое искусство хорошее, и в частности привел стихи, такие плохие стихи, что диву даешься. Запомнил их, очевидно, с молодости, с тех пор стихов-то не читал. Вот стихи прочитал: вот шахтер написал. Правда, шахтер не очень грамотный, но стихи хорошие по содержанию.

И вот как красиво рисуют одни художники. Вот там есть автопортрет товарища такого-то — залюбуешься, красавец. А посмотрите, что эти пишут! Жутко смотреть.

Вот так закончилось это заседание на Ленинских горах. Расходились все сытые, но тревожные, со смущенной душою, не понимая, что будет. Дела после этого пошли плохо, стали завинчиваться гайки, стали помещаться письма, разоблачительные статьи. В общем, начался разгром. Всем провинившимся пришлось лихо в это время. И мне пришлось довольно лихо. Главным образом за мое выступление в ВТО.

Предложено мне было уйти из ВГИКа, но незаметно уйти, после весенней сессии, дотянуть и смыться. Ну разумеется, из Союза тоже.

А дело мое готовилось к разбору. И решил я применить испытанное средство: заболеть. Поехал на дачу и заболел на полтора, даже на два месяца. Сидел на даче, отсиживался. Приказано мне было написать объяснение по поводу моего выступления, «клеветнического». Не писал я этого объяснения, долго тянул. Потом написал. Ошибок не признал. Признал резкость формы, а по содержанию привел множество доказательств того, что я был прав.

И вдруг приходит снова повестка-письмо: снова приглашают меня на какое-то совещание творческой интел-

лигенции с руководством. Но на этот раз совещание не на Ленинских горах, а в Кремле, в Свердловском зале.

Итак, вторая встреча.

Продолжалась она два дня, в один день не уложились. Началась с утра.

Пришел я в Кремль, в Свердловский зал. Те же люди, та же творческая интеллигенция, только вдвое больше народу. На Ленинских горах было человек 300, а здесь 600, а то и 650. И мелькают между знакомых лиц какие-то неизвестные молодые люди, в скромных темных костюмчиках, аккуратных воротничках. Обстановка сугубо официальная. Зал идет амфитеатром, скамьи. А напротив на специальном возвышении места для президиума, трибуна для выступающего. Аккуратный, красивый, холодный зал.

Расселись все. Ясно было, что идет продолжение. Никто особенно хорошего не ждал. Расселись все, и молодые люди расселись — так, по всему залу. Куда ни поглядишь, недалеко сидит аккуратненький, внимательный.

Встали все. Поаплодировали друг другу. Сели. Тишина. Настороженная тишина. Ждем.

Встает Хрущев и начинает:

— Вот решили мы еще раз встретиться с вами, вы уж простите, на этот раз без накрытых столов. Мы решили на этот раз внимательно поговорить, чтобы побольше народу послушало. Но в перерывах тут будет буфет — пожалуйста, покушайте.

Опять начинает как благодушный хозяин.

— Погода,— говорит,— сейчас, к сожалению, плохая. Зима, промозгло так, не способствует она сердечности атмосферы. Ну, ничего, поговорим зато серьезнее. Но следующую встречу мы намечаем провести в мае или в июне, солнышко будет, деревья распустятся, травка — тогда уж мы встретимся по-сердечному, тогда разговор будет веселее. Но сейчас вот так приходится, по-зимнему.

Помолчал. Любил он погоду на помощь себе призывать, когда выступал. Всегда она ему помогала. Солнышко или его отсутствие.

Помолчал. Потом вдруг без всякого перехода:

— Добровольные осведомители иностранных агентств, прошу покинуть зал.

Молчание. Все переглядываются, ничего не понимают: какие осведомители?

— Я повторяю: добровольные осведомители иностранных агентств, выйдите отсюда.

Молчим.

— Поясню,— говорит Хрущев.— Прошлый раз после нашего совещания на Ленинских горах, после нашей встречи, назавтра же вся зарубежная пресса поместила точнейшие отчеты. Значит, были осведомители, холуи буржуазной прессы! Нам холуев не нужно. Так вот, я в третий раз предупреждаю: добровольные осведомители иностранных агентств, уйдите. Я понимаю: вам неудобно сразу встать и объявиться, так вы во время перерыва, пока все мы тут в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, и проскользните и смойтесь, чтобы вас тут не было, понятно?

Вот такое начало.

Ну а потом пошло, пошло — то же, что на Ленинских горах, но, пожалуй, хуже. Уже никто возражать не смел. Щипачеву просто слова не дали. Мальцев попробовал было что-то вякать про партком Союза писателей, на который особо нападали, но его стали прерывать и просто выгнали, не дали говорить. А те, кто говорил, благодарили за то, что в искусстве наконец наводится порядок и что со всеми этими бандитами (иначе их уже не называли — абстракционистов и молодых поэтов), со всеми этими бандитами наконец-то расправляются.

Признаться, я запамятовал, какие выступления были в первый день, какие — во второй. Два выступления было ключевых, я бы сказал. Одно — донос в очень благородной форме о том, что Вознесенский давал интервью в Польше вместе с группой молодых поэтов и в этом интервью был задан вопрос, как он относится к старшему поколению и т. д., как с поколениями в литературе. И он-де ответил, что не делит литературу по горизонтали, на поколения, а делит ее по вертикали, для него Пушкин, Лермонтов и Маяковский — современники и относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной *. И из-за этого разгорелся грандиозный скандал. Это было уже во второй день, по-моему.

* Так в магнитофонной записи рассказа М. И. Ромма.

А в первый день, если не ошибаюсь, было еще выступление Пластова. Вышел такой человек с проборчиком, скромненький, не молодой и не старый, глуховатый или притворявшийся глуховатым, с простонародным говором таким, и начал, беспрерывно кланяясь, благодаря партию и правительство и лично Никиту Сергеевича Хрущева, рассказывать самые удивительные истории.

Начал он так:

— Вы знаете, Никита Сергеевич, после того заседания на Ленинских горах я, воодушевленный, восхищенный, старался запомнить все. Ведь это ж историческое событие. И вот записал себе заметки и поехал к себе, где я живу (я живу далеко, в глубинке, там у нас совхоз, колхоз когда-то был), еду и в поезде все повторяю, чтобы не забыть, и ваши слова, и слова товарища Ильичева, и что говорилось, и как говорилось.

Приезжаю, ну меня на станции на санях встречает Семен, он старик уже теперь окладистый. Когда-то я его пастушонком написал. Приятель мой.

Сел я и все жду, что он заговорит со мной об этом великом событии на Ленинских горах. А он все не заговаривает, не заговаривает. Так, говорит, кто болен, кто здоров, кто помер, кто жив — как, что.

Я ему говорю: «Что ж ты меня не спрашиваешь про событие-то?» — «Какое событие?» — «Ну на Ленинских-то горах совещание интеллигенции с правительством, художников». Он говорит: «А что, тебе влетело, что ли?» Я говорю: «Да нет, я, наоборот, на коне, другим влетело — абстракционистам, они оторвались от народа». Он говорит: «Как — оторвались от народа? Они что, из иностранцев или графов?» Я говорю: «Да нет, свои, но оторвались. Да вы что, газеты-то читаете?» А тот мне: «Которые читаем, которые так раскуриваем».

Приехал я к себе, ну никто ничего не знает, Никита Сергеевич. Там не только что абстракционизм или там сюрреализм, там и что такое реализм, никто не понимает. Ну собрались мужики и спрашивают меня: «А что этим художникам, платят?» Я говорю: «Платят». «И хорошо платят?» — «Да платят». Они говорят: «Это чудно, мы вот уж который месяц только галочки ставим, зарплату не получаем, а тут, оторвавшись от народа, а платят!»

И вот в этом роде он все говорил. Его Хрущев пытался прерывать, вставлять замечания, он повернется: «Ась? Да-да, вот я и говорю!»

Например, такой эпизод:

— Приказали мне доярку такую-то написать. Я посмотрел на нее и фас, и в профиль. Ну ничего нет в ней ни героического, ни романтического, ни реалистического — ну как ее писать?

Хрущев его прерывает:

— А я ее так бы на вашем месте написал, чтобы эта самая доярка была героической и романтической,— вот что такое искусство.

Пластов приставляет руку к уху:

— Ась? Ну, вот-вот, я и говорю, Никита Сергеевич, ничего в ней нет ни героического, ни романтического, писать-то и невозможно.

Хрущев опять:

— Да я говорю — ее так можно написать...

Пластов:

— Вот я и говорю: нет в ней ничего, Никита Сергеевич. А вот, помню, писал я соседку — коз она у меня пасла, во время войны еще было,— поразило меня трагическое выражение лица. Пишу день, пишу два, пишу три, но времени-то мало — днем пасет коз, пригонит, уж скоро темнеет. Затянулся немножко портрет. Вот однажды она меня и спрашивает: «Скажи, долго ты еще портрет-то будешь делать?» Я ей говорю: «Да дня четыре». Она говорит: «Как бы мне не помереть к воскресенью». Да и померла.

Из зала его:

— От чего?

Он говорит:

— От голода.

И такую он стал картину деревни рисовать, все поддакивая Хрущеву и говоря: «Спасибо вам, Никита Сергеевич»,— клуба нет, спирт гопят цистернами, все безграмотные, в искусстве никто ничего не понимает. Эти все совещания никому не нужны. Такую картину постепенно он обрисовал, что жутко стало... жутко стало. И по сравнению с этим рассказом и «Вологодская свадьба», и «Матренин двор» * просто показались какой-то идиллией, что ли.

* Речь идет об очерке А. Яшина «Вологодская свадьба» и рассказе А. Солженицына «Матренин двор», опубликованных в то время.

Вот так он все продолжал, говорил, говорил, а закончил он так:

— Надо, братцы, бросать Москву, надо ехать на периферию всем художникам, на глубинку. Там, конечно, комфорта нету, ванной нету, душа нету, но жить можно.

И заканчивает:

— В Москве правды нет!..

И обводит так рукой. А говорит-то он на фоне Президиума ЦК! «В Москве правды нет!» И хоть и смеялись во время его выступления, когда он кончил, как-то стало страшновато...

А Хрущев все время кипел, все время вскидывался, и Ильичев ему поддакивал, а остальные были недвижны.

Пришлось в этот первый день выступить и мне. И опять выяснилась на этом выступлении какая-то удивительная сторона Хрущева.

От меня ждали покаянного выступления. Поэтому едва я записался, мне тут же дали слово. Я даже не ожидал, моментально.

Я вышел и с первых слов говорю:

— Вероятно, вы ждете, что я буду говорить о себе. Я говорить о себе не буду, эта тема, как мне кажется, недостаточно значительная для такого собрания. Я буду говорить о двух моментах. Я прежде всего хочу поговорить о картине Хуциева *.

И начал заступаться за картину Хуциева, и в частности разъяснять смысл эпизода свидания отца с сыном, когда сыну видится мертвый отец, и кончается этот разговор тем, что он спрашивает его: «Как же мне жить?», а отец отвечает: «Тебе сколько лет?» — «Двадцать два».— «А мне двадцать»,— отвечает отец и исчезает.

Я и говорю Хрущеву: ведь смысл этого в том, что ты же старше меня, ты должен понимать, я же понимал в твои годы и умер за Советскую власть! А ты что?

И вдруг Хрущев мне говорит:

— Не-ет, нет-нет-нет,— перебивает он меня.— Это вы неправильно трактуете, товарищ Ромм, неправильно трактуете. Тут совсем другой смысл. Отец говорит ему: «Тебе сколько лет?» — «Двадцать два» — и исчезает. Даже кошка не бросит котенка, а он в трудную минуту сына бросает. Вот какой смысл.

---

* Имеется в виду фильм М. Хуциева «Застава Ильича».

Стали мы спорить. Я слово, он — два, я слово, он — два. Наконец я ему говорю:

— Никита Сергеевич, ну пожалуйста, не перебивайте меня. Мне и так трудно говорить. Дайте я закончу, мне же нужно высказаться!

Он говорит:

— Что я, не человек,— таким обиженным детским голосом,— что я, не человек, свое мнение не могу высказать?

Я ему говорю:

— Вы — человек, и притом Первый секретарь ЦК, у вас будет заключительное слово, вы сколько угодно после меня можете говорить, но сейчас-то мне хочется сказать. Мне и так трудно.

Он говорит:

— Ну вот, и перебить не дают.— Стал сопеть обиженно.

Я продолжаю говорить. Кончил с картиной Хуциева, завел про Союз. Союз-то наш был накануне закрытия. Состоялось постановление ликвидировать Союз кинематографистов, и уже была назначена ликвидационная комиссия. Все! Союза, по существу, уже не было. Но я сделал вид, что не знаю этого постановления. И сказал, что вот ходят слухи о ликвидации Союза, но, мол, де, Союз по таким-то, таким-то и таким-то причинам нужен.

Он меня перебивает:

— Нет, разрешите перебить все-таки вас, товарищ Ромм. Это все должно делать Министерство культуры.

Я ему говорю:

— Министерство культуры не может этого делать, у него для этого возможностей нет. Скажем, послать творческую комиссию в Азербайджан или куда-то. Да, кроме того, это деньги будет стоить. Ведь наш-то Союз ничего не стоит государству, мы же на самоокупаемости.

Закончил я выступление. Потом выступил Чухрай и закончил тем же: что нужно сохранить Союз.

И вдруг Хрущев объявляет перерыв и после перерыва начинает так:

— А знаете, товарищи, раскололи наши ряды кинематографисты. Вот мы было уж закрыли им Союз, а вот послушали и подумали: а может, оставить?

Ну мы вскочили и говорим:

— Оставить!

— Давайте оставим. Только вы уж смотрите!

Нет, вы подумайте, накануне Секретариат ЦК запретил, я сказал несколько слов, несколько слов добавил Чухрай, и он решил — оставить!

Знаете, даже радости от этого не было.

Я подумал: вот так решаются дела! А на этом заседании в основном-то ведь собирались еще ликвидировать и Союз писателей, слить его с Союзом художников, композиторов и т. д., ликвидировать парторганизацию Союза писателей (она, кстати, была ликвидирована, а у нас почему-то была, наоборот, организована).

Вот так это все было. Так протянулся этот первый день. В перерывах ели в буфетах чудные закуски и обменивались недоуменными, тревожными взглядами. В перерыве подошел ко мне казахский крупный кинематографист и говорит: «Вы меня простите, Михаил Ильич, вашу картину «Девять дней одного года» на Комитете по Ленинским премиям мы забаллотировали, это не значит, что мы к ней плохо относимся, мы ее очень высоко ценим, но сами понимаете, было нужно, нам это сказали, так что вы на меня не сердитесь, пожалуйста».

Ну я сказал: не буду сердиться, не буду.

И то же самое молча сказал мне Завадский. Подошел, пожал плечами, вытянул руки, что-то промычал, не сказавши ни слова, поднял брови — отошел.

В общем, все-таки первый день показался не очень страшным. Как-то прошел он мутно, но ничего чудовищного не произошло.

Разошлись, на завтра было назначено продолжение.

И вот наступил второй день, так сказать, третья моя встреча с Хрущевым.

Пришли мы в тот же зал, те же люди, сели на прежние места. Оглянулся я, а позади меня молодой человек в аккуратном... Ну, думаю, надо быть сдержанным в выражении чувств. И в ту же минуту мне сидящий рядом Ю. Я. Райзман говорит: «Миша, будьте сдержанны». То же самое я тихо сказал Тарковскому.

И тут вошел президиум, вошел добрый, веселый, полный жизненных сил Н. С. Хрущев, за ним все остальные. Постояли и поаплодировали, сели. Козлов уставился своими ледяными глазами в зал. Поразительна была неподвижность его лица, тренированность исключительная. Оно не выражало ничего.

А Хрущев начал очень весело, начал так:

— Ну что ж, товарищи, должен сказать — вчерашнее предупреждение подействовало. Подействовало! Ни-

чего не просочилось. Даже могу сказать: вчера были приемы в некоторых посольствах, так просто из осторожности, очевидно, не явился почти никто. Даже вот так. Так что, в общем, хорошо, хорошо. Ну-с, давайте продолжать.

И начали продолжать.

Начался день как-то скучновато. Все та же жеванина, родство поколений, спасибо Никите Сергеевичу, искусство питается соками народа — и пошло, шло, шло...

Ну-с, вот вышел Вознесенский. Ну тут начался гвоздь программы. Я даже затрудняюсь как-то рассказать, что тут произошло. Вознесенский сразу почувствовал, что дело будет плохо, и поэтому начал робко, как-то неуверенно. Хрущев почти мгновенно его прервал — резко, даже грубо,— и, взвинчивая себя до крика, начал орать на него. Тут были всякие слова: и «клеветник», «что вы тут делаете?», и «не нравится здесь, так катитесь к такой-то матери», «мы вас не держим». «Вам нравится там, за границей, у вас есть покровители — катитесь туда! Получайте паспорт, в две минуты мы вам оформим. Оформляйте ему паспорт, пусть катится отсюда!»

Вознесенский говорит: «Я здесь хочу жить!»

— А если вы здесь хотите жить, так чего ж вы клевещете?! Что это за точка зрения... на Советскую власть!

Трудно даже как-то и вспомнить весь этот крик, потому что я не ожидал этого взрыва, да и никто не ожидал — так это было внезапно. Мне даже показалось, что это как-то несерьезно, что Хрущев сам себя накачивает, взвинчивает. Пока вдруг во время очередной какой-то перепалки, пока Вознесенский что-то пытался ответить, Хрущев вдруг не прервал его и, обращаясь в зал, в самый задний ряд, не закричал:

— А вы что скалите зубы! Вы, очкарик, вон там, в последнем ряду, в красной рубашке! Вы что зубы скалите? Подождите, мы еще вас послушаем, дойдет и до вас очередь!

Вознесенский не знает, что продолжать, говорит:
— Я честный, я за Советскую власть, я не хочу никуда уезжать.

Хрущев машет рукой:
— Слова все это, чепуха.

Вознесенский говорит:
— Я вам, разрешите, прочту свою поэму «Ленин».
— Не надо нам вашей поэмы.

— Разрешите, я ее прочитаю.

— Ну, читайте.

Стал читать он поэму «Ленин». Читает, ну не до чтения ему: позади сидит Хрущев, кулаками по столу движет. Рядом с ним холодный Козлов.

Прочитал он поэму, Хрущев махнул рукой:

— Ничего не годится, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего! Вот что я вам скажу. Сколько у нас в Советском Союзе рождается ежегодно людей?

Ему говорят: три с половиной миллиона.

— Так. Так вот, пока вы, товарищ Вознесенский, не поймете, что вы — ничто, вы только один из этих трех с половиной миллионов, ничего из вас не выйдет. Вы это себе на носу зарубите: вы — ничто.

Вознесенский молчит. Что уж он там пробормотал, не знаю, не помню, и Хрущев заканчивает так:

— Вот что я вам посоветую. Знаете, как бывает в армии, когда поступает новобранец негодный, неумеющий, неспособный? Прикрепляют к нему дядьку, в былое время из унтер-офицеров, а сейчас из старослужащих солдат. Так вот, я вам посоветую такого дядьку.

И тут же, без перехода почти:

— Ну вы там, вы, что скалили зубы? Вы там, в очках, пожалуйте сюда.

Встает какой-то человек в задних рядах:

— Я?

— Да нет, рядом.

Встает другой:

— Я?

— Вы, вы, вы!

Идет по проходу человек, действительно в очках, в красной рубашке под пиджаком, без галстука. Не знакомый никому, худенький такой человек.

Тут от этого крика хрущевского на Вознесенского всю эту толпу интеллигентов охватило какое-то странное, жестокое возбуждение. Это явление Толстой здорово написал в «Войне и мире», когда Растопчин призывал убить купеческого сына и как толпа вся, друг друга заражая жестокостью, сначала не решалась, а потом стала убивать.

Идет этот человек по проходу, а на него кричат. Кто-то кричит:

— Красную рубашку надел!

Он говорит:

— У меня нет другой.

— Иди, иди, отвечай за свои дела!

Выходит он. Хрущев ему:

— Вы кто?

— Я... я Голицын!

— Что, князь Голицын?

— Да нет, я не князь, я... я художник Голицын, я... художник-график... Я реалист, Никита Сергеевич, хотите, у меня вот тут есть с собой работы, я могу показать...

Хрущев так осекся, говорит:

— Не надо! Ну, говорите.

Тот:

— А что говорить?

— Как — что? Вы же вышли, говорите!

Тот говорит:

— Я не знаю, что говорить... я... не собирался говорить.

— Но раз вышли, так говорите.

Тот молчит.

Он говорит:

— Но вы понимаете, почему вас вызвали?

Голицын говорит:

— Да... я не понимаю...

— Как — не понимаете? Подумайте.

Он говорит:

— Может быть, потому, что я стихотворению товарища Рождественского аплодировал или Вознесенского?

— Нет.

— Не знаю.

— Подумайте и поймете.

Голицын молчит.

— Ну, говорите.

Голицын:

— Может быть, я стихи почитаю?

— Какие стихи?

— Маяковского,— говорит Голицын.

И тут в зале раздается истерический смех, потому что это нервное напряжение уже было невыносимо. Сцена эта делалась уже какой-то сюрреалистической, это что-то невероятное.

Наконец, когда он сказал — Маяковского, Хрущев сказал:

— Не надо, идите.

Голицын пошел и вдруг обернулся и говорит:

— Работать можно?

Хрущев:
— Можно.
Ушел Голицын.
Наконец слово было предоставлено Налбандяну, он отложил очередной эскиз, сказал свое «спасибо» Никите Сергеевичу, сел. Последовало заключительное слово Хрущева. Большой аттракцион!
Начал он, помнится, с того, что стал извиняться, что погорячился, покричал, мол, не обессудьте, дело важное, и погорячиться можно.
Потом стал объяснять нам, что такое хорошее искусство, на образных примерах.
— Вот идешь зимой, ночью, лунная ночь, по лесу. Снег под луной голубой такой, сосны, ели в снегу, глядишь — какая же красота! И думаешь: вот это бы кто-нибудь нарисовал. Так ведь не нарисуют же, а если нарисуют, так не поверят, скажут: так не бывает! А ведь бывает в жизни эта красота! Зачем же ходить в сортир за вдохновением? Вот был у меня друг-шахтер...
И опять читает какие-то стихи какого-то шахтера... А после этого пошла уж совсем странная игра. Начал Хрущев рассказывать такие вещи, что, по-моему, и президиум при всей своей выдержанности этого не ожидал.
— Вот, товарищ Эренбург пишет — он-де уже понял, после тридцать седьмого года он понял или после войны понял, что такое Сталин и прочее,— понял, но вынужден был молчать; выходит, он понял, а мы не понимали. А если понял, почему молчал? Выходит, все молчали? Нет, товарищ Эренбург, не все молчали, многие не молчали. А вы, товарищ Эренбург, говорите: все молчали. Не все молчали. Здесь товарищ Эренбург?
Но товарищ Эренбург уже ушел. На нем уже верхом проскакали и столько его поминали, что старик не выдержал и ушел с этого второго заседания, кажется, именно в тот момент, когда рев шел и Вознесенского долбали.
— Нет Эренбурга? М-да. Вот он говорит. Вы думаете, легко было нам? Ведь между нами говоря,— говорит Хрущев, понизивши голос и забывая о том, что в зале сидят ровным счетом 650 человек,— между нами говоря, это же был сумасшедший последние годы жизни, сума-сшед-ший. На троне — заметьте... Нет, не все молчали, товарищ Эренбург. А вот товарищ Эренбург думает, что это легко.

Вот это сюрреалистическое заседание, с этими рассказами Хрущева, оно, пожалуй, было венцом происшествий, более яркого я что-то не упомню.

...Пошел я домой, думаю: ну что из этого всего воспоследует? Даже последние слова Хрущева были какие-то возвышенные, что-то провозглашал он, призывал. Но какие тут призывы? Смятение у всех. Что делать? Что будет?

А назавтра парторганизацию писателей действительно разогнали и членов партии — писателей раскрепили кого куда: кого на «Мосфильм», кого в издательство, а некоторые к парторганизации зоопарка прикрепились, потому что она рядом, зоопарк-то рядом с Союзом писателей. Вот так. И не стало парторганизации в Союзе писателей. Единственный Союз, где нет парторганизации. В случае чего, нет парткома. Есть парторг, а это совсем-совсем другое.

Ну дальше как дела шли, все известно...

Четвертая встреча с Н. С. Хрущевым состоялась на июньском Пленуме ЦК, отличалась она необыкновенной помпезностью, хорошими обедами и огромным количеством присутствующих. На Пленум было приглашено больше 2 тысяч гостей.

Прежде всего поразило меня поведение нашей высокой интеллигенции, так сказать верхушки нашей.

Члены союзов писателей, художников и композиторов находились в недоумении и тоске, ибо эти три союза должны были быть слиты. И в кулуарах все спрашивали друг друга: что же мы будем делать, скажем, на пленумах союза? Неужели живописцы будут обсуждать вопросы музыки, а музыканты — романы, повести и рассказы? Ведь не может же быть, чем же мы будем заниматься?

Но, несмотря на это недоумение, руководство наших союзов восторженно приветствовало это слияние, приветствовало с тоской и недоумением во взоре, но приветствовало.

Ну на этом и кончилось. Опять пошло заседание.

Шло заседание, опять говорит очередной оратор. И вдруг очередного этого оратора опять прерывает Хрущев.

— Минуточку, — говорит он. И, обращаясь к двум членам ЦК, говорит: — Вы что здесь ухмыляетесь? Вы, товарищ такой-то... И такой-то (казахская фамилия, один из секретарей Казахстана)... Что вам тут смешно?

Вы находитесь на заседании ЦК, надо уметь вести себя прилично. Что вы, не хотите работать? Можно освободить! Как вы себе позволяете вести себя в присутствии членов Центрального Комитета партии! Бе-зо-бразие!

У меня даже сердце упало. Я, признаться, и не думал, что на членов ЦК можно орать вот таким образом, как на мальчишек. Я, правда, слышал, как он орал на Вознесенского, на Голицына, но на членов ЦК!

После перерыва пошел я вниз, что-то болит у меня под ложечкой, пошел я в амбулаторию, говорю:

— Дайте мне что-нибудь от печени.

— Почему от печени?

— Да болит под ложечкой.

— А почему вы думаете, что это печень?

— Да у меня больная печенка.

Послушал меня врач, посмотрел, где болит.

— Что вы,— говорит,— это не печень у вас. У вас стенокардия, это сердце.

Я говорю:

— Отродясь у меня не было стенокардии, и сердце у меня железное.

— Ну вот не было, а теперь есть. Это у нас бывает.

Огонек, 1988, № 28

Ю. Нагибин

«ТАМ НАС НЕ ПОЙМУТ!»

Илья Эренбург как-то рассказал мне замечательную историю. Произошло это, когда не хотели печатать часть его мемуаров — об опальном в то время Мандельштаме. Эренбург начал борьбу, и редактор сказал ему: «Илья Григорьевич, что вы хотите — мы-то с вами умные люди, но т а м нас не поймут!» И возвел очи горе. Эренбург решил пройти до конца, и настал момент, когда ему показали на последнюю инстанцию непонимания. Должность «самого непонятливого» исполнял в то время Н. С. Хрущев, человек, надо сказать, весьма неглупый. Он сказал: «Илья Григорьевич, о чем вы говорите, мы с вами умные люди, но т а м же ничего не поймут!» И указал вниз.

Сейчас, когда человеку инициативному нельзя отказать со ссылкой на «непонимающее» руководство, когда свет идет с самого верха, этот свет уничтожается по мере приближения к тем, кто внизу. Пробка в середине — среднее звено, пресловутая наша бюрократия.

Октябрь, 1988, № 2

М. Ходос

ЗАКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

В начале 60-х Вучетич первым разработал проект мемориала в честь Победы на Поклонной горе в Москве. И вот летом шестьдесят второго он со своими помощниками выставил макеты всего комплекса-ансамбля в закрытом для посещений зале строительной выставки ВДНХ на Фрунзенской набережной. Макеты занимали отдельный большой зал. Они включали скульптуру и архитектуру пяти связанных единой композицией памятников и сооружений.

В центре композиции — железобетонная сферическая оболочка диаметром 104 метра. Верхняя ее часть покрыта позолотой, символизирующей солнце, свет, победу в войне. На нижней поверхности мозаикой инкрустированы знамена гвардейских частей. На каменной платформе плиты, под оболочкой с трехступенчатым подножием, выложены фашистские штандарты и знамена из черного, серого и белого мрамора.

Напротив центральной композиции высилась 90-метровая скульптура воина-победителя с ребенком на руках, в два раза превосходящая по высоте установленную в Трептов-парке в Берлине. Симметрично напротив этой скульптуры установлена колонна такой же 90-метровой высоты. Она завершалась головой женщины с приоткрытым ртом. По колонне высечено слово «Помни». Справа и слева от центральной части композиции — сделанные из красного камня высокие знамена по числу городов-героев.

В один из тех дней на Фрунзенской набережной на 12 часов дня был назначен просмотр проекта членами Президиума ЦК КПСС. Задолго до назначенного времени в зал приехали Е. В. Вучетич, бывший председатель Госстроя СССР И. Т. Новиков, бывший главный архитектор города Москвы М. В. Посохин и я, работавший в

ту пору главным инженером раздела «Строительство» ВДНХ СССР.

В 12 часов на территорию выставки через служебные ворота въехали машины. В первой — Н. С. Хрущев.

Евгений Викторович Вучетич начал свое сообщение о проекте мемориала с того, что в нем слиты воедино пафос Победы и драматизм исторической правды. Добавил, что замысел композиции ансамбля ему подсказал Никита Сергеевич Хрущев. Потом он пояснил, для чего немецкие знамена размещены на плите-подножии. Посетители, подходя к Вечному огню в центре ансамбля, будут попирать их ногами.

Рассказ Вучетича о скульптуре солдата с ребенком перебил А. И. Микоян:

— Такая фигура установлена в Трептов-парке в Берлине меньшего размера, зачем повторять ее в мемориале?

Хрущев ответил за Вучетича:

— Будем считать, что в Берлине установлена копия, оригинал будет стоять в Москве.

М. А. Суслов при обсуждении комплекса высказался за удаление с колонны «Помни» головы трагической женщины:

— Потомкам не следует напоминать об издевательствах фашистов над нашим народом. Монумент должен прославлять только Победу, ратные подвиги народа.

Хрущев не согласился:

— Нельзя оставлять в забвении издевательства фашистов над народом. В Трептов-парке на барельефах зрители видят погибших людей, плачущих женщин, ужасы и зверства. Почему же нам не оставить память о зверствах немцев внукам и правнукам героев и последующим поколениям? Трагическая женщина на колонне выражает чувство протеста и скорби. Нам не следует ничего забывать. Война для нас началась очень драматично...

Затем он довольно долго рассказывал, как началась война, в какой растерянности пребывал первые дни войны Сталин, какие потери мы понесли в первые недели.

Не могу сказать, что Хрущев произвел на меня впечатление большого знатока искусства. Но то, что у него были свои принципы, взгляды, которые он умел отстаивать, это определенно.

Впоследствии было поручено разработать иной проект. С тех пор конкурсные соревнования на лучший

проект мемориала продолжаются уже чуть ли не 30 лет. И, увы, лучшего, чем предлагал в свое время Вучетич, лично я пока не встречал. Хотя, может, это дело вкуса.

Литературная газета, 1988, № 38

Д. Гранин

«ЭТО ВАШЕ ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО»

В октябре 1955 г. академик Игорь Евгеньевич Тамм пригласил Зубра * выступить в Москве в Институте физических проблем у П. Л. Капицы с докладом о генетике. Ни в одном биологическом институте доклад на такую тему был в то время немыслим. Все институты находились еще под контролем лысенковцев. Одни физики пользовались автономией. У них была своего рода крепость, и в стенах этой крепости они решили организовать публичное выступление Зубра. Вместе с ним на этом «капичнике» должен был выступать Игорь Евгеньевич Тамм. Его интересовали только что сформулированные представления Уотсона и Крика о двойной спирали как основе строения и репродукции хромосом. Структура ДНК стала сенсацией тех лет. Он решил доложить об этом на «капичнике». Зубра же Игорь Евгеньевич попросил рассказать о радиационной генетике и механизме мутаций. Согласовали с Петром Леонидовичем Капицей. Он одобрил темы, и в программу первого годового собрания были поставлены оба доклада.

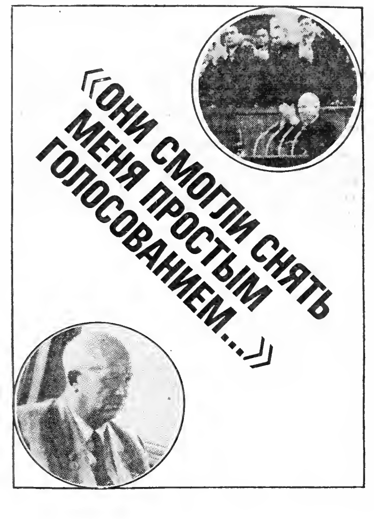
Известие об этом взбудоражило ученых Москвы. Шутка ли — публичные доклады о генетике, которая еще пребывала под запретом. О генетике, о которой не разрешали читать лекции. Многие побаивались, что в последнюю минуту все сорвется, лысенковцы добьются отмены. В сущности, это был вызов, публичный вызов монополии лысенковцев. И то, что появится сам Зубр, что впервые в Москве перед всеми выступит человек, о котором ходили разные слухи, тоже вызывало интерес. Капица попросил повесить всюду объявления — и в институте, и в физическом отделении Академии наук, чтобы все носило открытый характер. За три дня до заседания кто-то из начальства позвонил в институт и дал

* Крупный ученый-генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский.

указание снять с повестки генетические доклады как «не соответствующие постановлению сессии ВАСХНИЛ». Этот кто-то добивался самого П. Л. Капицы, но не добился и вынужден был передать сие референту. Выслушав референта, Капица спокойно сказал, что постановление ВАСХНИЛ не может касаться Института физических проблем. На следующий день звонок повторился. На сей раз голос в трубке звучал категорично, сослался на указание Н. С. Хрущева. Тогда Капица решил выяснить положение у самого Хрущева.

Итак, Капица позвонил Хрущеву, его соединили. Он спросил: правда ли, что Хрущев запретил семинар? Ничего подобного! Известно ли Хрущеву о звонке в институт? В ответ получил заверение, что ему, Хрущеву, ничего не известно, что, если бы было надо, он сам позвонил бы Капице и что программа семинаров — их внутреннее дело и зависит только от П. Л. Капицы.

Гранин Д. А. Зубр. М., 1988, с. 173—174


«ОНИ СМОГЛИ СНЯТЬ
МЕНЯ ПРОСТЫМ
ГОЛОСОВАНИЕМ...»

Мы, коммунисты, говорим, что построение коммунизма требует создания определенных экономических предпосылок. Если пытаться установить коммунизм, когда не развиты производительные силы, то это будет не коммунизм, а нищета. Коммунизм в нашем понимании — это изобилие. В нашей стране, например, в свое время были такие люди, которые хотели, чтобы был объявлен коммунизм, когда для этого еще не были созданы материальные условия. Но если объявить коммунизм, когда имеются, скажем, лишь одни штаны на 10 человек, и разделить эти штаны поровну на 10 частей, то все будут ходить вообще без штанов. Мы отрицаем такой «бесштанный коммунизм».

...Почему сейчас у нас некоторые работники боятся пойти в коллектив, чтобы посоветоваться с ним. Такие люди думают, что все видят и только они изрекают истину, а остальные должны слушать и говорить «есть!». Но даже у военных, если подчиненный говорит «есть», то его просят повторить: а как ты понял и как ты будешь выполнять это «есть»?

Поэтому я считаю и глубоко убежден, все члены Президиума ЦК считают, что проведение этих мер по расширению участия трудящихся в управлении предприятиями и стройками даст большие положительные результаты. Да, товарищи, конечно, придется повозиться при разработке различных мероприятий по руководству производством. Но вы ведь знаете, что любой приказ надо разъяснять, надо, чтобы его правильно поняли. А если вы прежде, чем издать приказ, соберете комитет, обсудите среди рабочих, техников, с участием профсоюзной, комсомольской, партийной организаций все меры, которые надо изложить в приказе, то этот приказ будет иметь куда большее значение и силу. Его будут хорошо понимать все.

Этим вы поднимаете тысячи людей на борьбу за то новое, что разработали и решили осуществить. Если вы действительно хорошее дело разработали, успех его будет обеспечен тем, что его будет активно поддерживать весь коллектив. Кто этого не понимает, тот не понимает существа нашего государства, существа ленинских принципов руководства производством.

Н. С. ХРУЩЕВ

О. Волобуев, С. Кулешов

ТАК И НЕ «ПРОРВАЛСЯ» К НАРОДУ

О Никите Сергеевиче Хрущеве написано немало книг и статей. Но, к сожалению, не в СССР, где первые статьи о нем появились только в 1987 г. Разумеется, в период своего лидерства Хрущев был героем публикаций: как и полагалось тогда, безудержно-апологетических. В этом можно убедиться, заглянув в легко и публицистически завлекательно написанную книгу «Лицом к лицу с Америкой» — о поездке Хрущева в США. Будучи в результате и собственных ошибок, и сопротивления бюрократических слоев партийного и государственного аппарата исключен из лидирующей обоймы, более того, оказавшись на пенсии, Хрущев лишь некоторое время еще занимал умы населения. За его политической смертью последовала физическая, а затем пришло время (и здесь не обошлось без усилий пропагандистского механизма) фактического забвения этой неординарной личности. В памяти последующих поколений его облик все более размывался. Правда, определенные импульсы для того, чтобы он не ушел окончательно, давал одно время экстравагантный на первый взгляд, но в целом весьма символичный надгробный памятник Хрущеву работы Эрнста Неизвестного на Новодевичьем кладбище. Правда, затем и доступ на кладбище был очень ограничен.

На Западе же личность Хрущева до сих пор привлекает внимание публицистов и политологов. Профессор Гарвардского университета, экономист с мировым именем, Джон Гэлбрейт отзовется в 1987 г. о Н. С. Хрущеве, с которым он встречался в годы президентства Дуайта Эйзенхауэра, как об обаятельном, остром па язык и широко информированном политическом деятеле.

Советолог Абдурахман Авторханов в книге «Загадка смерти Сталина (Заговор Берии)» пишет, что сталинские преемники, выдвигая Хрущева, считали его «мужиком», «недотепой», он же «оказался величайшим сфинксом». А затем «десять лет правил великим государством с репутацией «Иванушки-дурачка», но с головой гениального мужика». В этих рассуждениях есть и верное наблюдение, но в целом образ опрощен. А в чем-то есть и преувеличение: вряд ли можно согласиться с эпитетом «гениальный».

За грубоватой рабоче-крестьянской, простецкой внешностью Хрущева скрывалось довольно сложное содержание. Его энергичность, смелость, практический склад ума, «мужицкая натура» импонировали многим. Находясь в одной больнице с маршалом А. М. Василевским, Константин Симонов записал данную маршалом характеристику Хрущева военных лет: «Хрущев был человеком энергичным, смелым, постоянно бывал в войсках, никогда не засиживался в штабах и на командных пунктах, стремился видеться и разговаривать с людьми, и, надо сказать, люди его любили». Александр Фадеев после встречи с Хрущевым делает такую запись в дневнике: «Его обаяние в цельности народного характера. Ум его тоже народный — широкий и практический и полный юмора. Все это необыкновенно гармонирует с его внешним обликом. И хотя он русский, трудно было бы найти другого такого руководителя для Украины».

В личной жизни Хрущев, как и большинство крупных партийных деятелей его поколения, был скромен. К роскоши и мебели равнодушен. Отличался общительностью, разговорчивостью, интересом к людям. Однако ему были свойственны упрямство и апломб. Возражений или несогласия он не любил. Ведь формирование личности будущего Первого секретаря приходилось на бурные 20-е годы, а формирование его как политического деятеля — на сталинские, 30-е. И то и другое десятилетия поставили на нем свои печати.

Генерационно Хрущев припадлежал к поколению, рожденному Октябрем. Октябрь открыл рабочему-слесарю, как и многим другим рабочим и крестьянским сынам, путь к жизни, наполненный высшим смыслом — строить новое, невиданное на земле, социалистическое общество. Гражданская война и 20-е годы были его политической школой. Они отшлифовали его природный ум, приучили к самостоятельности и смелости решений, воспитали его как агитатора и организатора. 30-е и 40-е годы учили иному: с одной стороны, масштабности, умению управлять людьми и делами, распоряжаться властью; с другой — преклоняться перед властью, администрировать, устранять опасность, скрывая свое истинное лицо, свои истинные мысли и чувства.

Смерть Сталина освободила его, как и других членов Политбюро, от страха за свою жизнь. Наступал новый этап в жизни советского общества. Наступал новый этап и в жизни Никиты Хрущева. Предстояла борьба за

высшую власть, из которой ему суждено было выйти победителем. Теперь начиналось его, Хрущева, «великое десятилетие».

Хрущев был вдохновителем и главным организатором ареста Берии. Сумел привлечь на свою сторону других членов Президиума, убедить Маленкова в необходимости проведения антибериевской акции. В сентябре 1953 г. его избирают Первым секретарем ЦК КПСС. В феврале 1955 г. на посту Председателя Совета Министров СССР Маленкова сменяет Булганин, а Хрущев утверждается в роли ведущего лидера.

За десятилетие — до октября 1964 г. — Хрущев, будучи Первым секретарем ЦК КПСС, а с 1958 г. и Председателем Совета Министров СССР, проводил преобразования, охватившие все стороны жизни советского общества. Эти преобразования характеризовались в народном хозяйстве попытками перехода от сугубо административных к экономическим методам управления, от принуждения к учету материальных интересов труженика, от жесткой централизации по отраслям к территориальной прежде всего организации хозяйственной жизни. В социальной сфере было сделано не так мало для улучшения народного благосостояния. Широко развернулось строительство жилых домов с малогабаритными, но отдельными семейными квартирами; была уменьшена в часах рабочая неделя; повысились размеры минимальных пенсий. Принципиально изменилась жизнь колхозников: повысились закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, возросли доходы колхозов, колхозники получили паспорта, то есть стали полноправными гражданами. Началось движение за либерализацию общества. Выступая на XX съезде КПСС, Хрущев говорил: «...партия не должна бояться говорить народу правду о недостатках и трудностях нашего продвижения вперед. Кто боится признания ошибок и слабостей, тот не революционер. Нам нечего скрывать свои недостатки, ибо наша генеральная линия верна, дело коммунистического строительства растет и побеждает, а недостатков станет тем меньше, чем шире будут привлекаться массы к борьбе с ними». Поставлены были перед обществом такие вопросы, как повышение самостоятельности, роли и значения Советов, соблюдение законности, восстановление демократических норм внутрипартийной жизни, передача все большего числа государственных функций общественным организациям...

На XXII съезде КПСС было сказано, что пролетарская демократия превращается во всенародную социалистическую демократию. В Отчетном докладе ЦК КПСС на этом съезде сформулирован главный ориентир: «Из всех ценностей, созданных социалистическим строем, самой великой ценностью является новый человек...»

Хрущев как тип политического деятеля был прямой противоположностью Сталину. Сталин — это личность, ориентированная на идею как бы вне человека, на идею, абстрагированную от реальной человеческой жизни. И какой бы гуманистической ни была сама идея, она, воплощаясь в личности Сталина, в его деяниях, превращалась по отношению к конкретным людям, группам людей, в конечном счете ко всему народу в свою противоположность. Прямо так и напрашивается известный афоризм философа Дицгена о том, что всякая истина, доведенная до предельной крайности, превращается в свою противоположность — в абсурд. Сталин сам себя сформировал как сверхчеловека. Не случайно он и говорил о себе в третьем лице: товарищ Сталин.

Сталин, по определению Константина Симонова, был великим актером. С нужными людьми он был не только гостеприимен, но даже обаятелен. Однако это обаяние, замечает Симонов, «было каким-то подчеркнутым, осознанным и умело эксплуатируемым». Именно такое функциональное отношение вызывало чаще всего непонимание Сталина у людей, на которых он обращал то согревающий, то испепеляющий взор свой. Это были не капризы (хотя и капризы могли быть), а проявления сущностного сталинского видения мира людей как мира вещей.

Хрущев тоже бывал капризен. Капризен, как почти все, кому доставалась слишком большая власть над людьми. Но в своей сущности он был человечен и располагал — при многих личностных недостатках — именно этой человеческой сущностью. Он не считал каждое свое слово богоданным, не взвешивал его, как драгоценность, прежде чем выпустить «в люди». Хрущев бывал излишне многословен и, говоря прямо, попросту болтлив. Доброжелательность, расположение к людям, приземленность делали Хрущева, по контрасту со Сталиным, в глазах многих людей слишком обыкновенным человеком по сравнению с его предшественником.

XX съезд КПСС одобрил положения доклада Хрущева о культе личности Сталина. В марте содержание

доклада стало известно членам партии. О нем заговорили все и везде.

Сам по себе доклад Хрущева не был глубоко аналитическим. В нем приводились факты необоснованных репрессий, расправ с видными партийными и государственными деятелями, преследования их семей. Все это действовало, как шоковый грозовой разряд в атмосфере общественной жизни.

Сегодня высказано много справедливых мнений о необходимости публикации доклада. Да, печатать его надо, но это будет уже в большей мере акт исторической справедливости, чем сдвиг в осмыслении прошлого. Ведь за время перестройки общественное сознание ушло значительно вперед. И информационно, и тем более концептуально...

Вновь вопрос о том, каким путем идти, встал менее чем через полтора года после XX съезда КПСС. Напуганная разворачивающимся разоблачением культа личности «старая сталинская гвардия» решила сместить Хрущева с поста Первого секретаря. В июне 1957 г. Молотов, Маленков, Каганович попытались, сколотив арифметическое большинство, осуществить свой план на заседании Президиума ЦК КПСС. Однако собравшийся в те дни Пленум поддержал Н. С. Хрущева. Попытка поставить партию перед свершившимся фактом снятия Первого секретаря путем «дворцовой интриги» не удалась. Заметим, это был первый случай, когда оппозиционеры ни сразу после поражения, ни позже не подверглись репрессиям.

После июньского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС, видимо, имелась возможность пополнить Президиум ЦК способными кадрами, выступающими за реформы, за обновление общественной жизни. Но кто туда был избран из поколения, вступившего в партию в 30-е годы? В. В. Гришин, А. П. Кириленко, Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский — руководители, не оставившие достойного следа в памяти народной. За что, за какие деловые и личные качества эти люди стали ими? В результате «кадровой слепоты» Первого флагманский корабль оказался укомплектованным людьми, не имевшими не только своего политического, но даже и выраженного индивидуального лица.

Недостаточно критическое отношение к «выдвиженцам» сочеталось с недостаточно критическим отношением к «информации», поступавшей от окружения. Сейчас

известно, что и в случае с Пастернаком, и в отношении к художникам, и в случае осуждения Зощенко за его встречу с английскими студентами решающую роль сыграла предварявшая конфликты информация. Илья Эренбург рассказывает о встрече с Хрущевым по вопросам, связанным с Движением сторонников мира, воспользовавшись которой он пытался объяснить позицию Михаила Зощенко и ситуацию, в которой оказался писатель. Попытка Эренбурга защитить Зощенко окончилась неудачей, и в своих воспоминаниях он замечает: «Я ушел с горьким привкусом: намерения у него (у Хрущева.— *Авт.*) хорошие, но все зависит от «информации» — кого он слушает и кому верит» (Огонек, 1987, № 23).

Известно, что у Хрущева были весьма непростые отношения с творческим миром, художественной интеллигенцией. Сказывались недостаток образования, культуры. Да и необузданность характера. Андрей Вознесенский показывал фотографию, где он — на трибуне, а над ним — с нависшим кулаком Никита Хрущев. Его накрутили, настроили. Так же накручивали мало смыслящего в новаторской живописи Хрущева против Эрнста Неизвестного и других художников-авангардистов. А после отставки Хрущев сдружился с некоторыми из них. Высказывал сожаление, что вел себя некорректно и недостойно руководителя.

Среди художественной интеллигенции уже после смерти Хрущева ходили слухи, что якобы он несколько раз произносил: «Не жалею ни о чем, что сделал! Жалею лишь, что не успел реабилитировать Бухарина и Рыкова». Слова эти передавались под большим секретом. В февральском номере «Огонька» за 1988 год опубликованы воспоминания актера Михаила Козакова, работавшего в театре «Современник», когда на спектакль «Большевики» М. Шатрова пришел Хрущев, уже пенсионер, с семьей. Шатров спросил:

— Ну как вам спектакль, Никита Сергеевич?

— Интересно, интересно, товарищ автор. Только вот у вас там упоминаются Бухарин и Рыков... Вы их не очерняйте. Это были хорошие люди... Надо было их реабилитировать. Но вот не вышло.

В октябре 1961 г. состоялся XXII съезд КПСС. Он проходил в мажорной тональности. Выступая с Отчетным докладом ЦК, Хрущев говорил:

— Советская Родина вступила в период развернуто-

го строительства коммунизма по всему широкому фронту великих работ. Экономика и культура Советского Союза находятся на крутом подъеме... Творческие силы народных масс по всей стране бьют тысячами живых родников.

На съезде была принята новая, третья Программа партии, которая провозглашалась конкретной, научно обоснованной программой строительства коммунизма. Исторические рамки Программы были определены в 20 лет. За это время страна должна была добиться самого высокого жизненного уровня населения по сравнению с любой капиталистической страной. Ставились задачи создания изобилия продуктов питания, удовлетворения потребности всех слоев населения в высококачественных товарах, обеспечения каждой семьи отдельной благоустроенной квартирой.

Это была действительно Программа, достойная социалистического общества, реально отражающая его глубинную сущность и его гуманистическую направленность. Важной частью Программы была задача всестороннего развертывания и совершенствования социалистической демократии. Речь шла о расширении роли и прав местных Советов депутатов трудящихся, о систематическом обновлении состава руководящих органов, о широком участии в управлении общественных организаций и объединений, о постоянном государственном и общественном контроле, всемерном развитии свободы личности и прав советских граждан.

Имелись ли основания для такого исторического оптимизма, который был отражен в Программе? Известные основания, полагаем, имелись. В результате социально-экономических реформ, проводимых с конца 1953 г., с сентябрьского Пленума ЦК КПСС, посвященного мерам по дальнейшему развитию сельского хозяйства, наблюдался быстрый рост промышленного и сельскохозяйственного производства. СССР стал производить почти пятую часть мировой промышленной продукции. В 1957 г. был запущен в космос первый искусственный спутник Земли. В апреле 1961 г. на околоземную орбиту выведен корабль «Восток» с первым космонавтом Юрием Гагариным на борту. Советский Союз открыл для человечества космическую эру. С конца 50-х годов развернулось движение коллективов и ударников коммунистического труда. Комсомольская молодежь с энтузиазмом откликнулась на призыв участвовать в ос-

воении целинных земель. Налицо был общественный подъем, напоминавший многим годы первой пятилетки.

Хрущеву, похоже, стало казаться, что народ, как и в 20-е годы, готов к маршу во имя светлого будущего. Находясь, как, видимо, и другие члены Политбюро, в плену упрощенных представлений о коммунизме и к тому же недостаточно понимая реальную действительность, Хрущев решился на заманчивый и привлекательный призыв: объявить непосредственной ближайшей задачей построение коммунистического общества в кратчайшие исторические сроки. На XXII съезде КПСС Хрущев говорил о том, что «стихийное движение масс рождало утопические теории о будущем золотом веке», но представители утопического социализма были далеки от реальности, когда намечали пути осуществления своих идеалов. Обращение к утопическому социализму понадобилось для того, чтобы подчеркнуть реалистичность плана построения коммунистического общества в основном за два десятилетия — период ничтожно малый по всем историческим меркам.

На том же XXII съезде КПСС Хрущев самонадеянно заявлял:

— Многие западные политические деятели иной раз говорят: «В достижения вашей промышленности мы верим, но не понимаем, как вы выправите положение с сельским хозяйством». Беседуя с ними, я говорил: «Обождите, мы вам еще покажем кузькину мать и в производстве сельскохозяйственной продукции».

И что же... В 1962 г., следующем после принятия новой Программы партии, произошло повышение цен на мясо, мясные продукты, молоко. Наступает 1963 год — страна испытывает серьезные продовольственные трудности: выстраиваются очереди за молоком и хлебом. Начинается ввоз зерна из других стран. Сказывается многое: и обобществление находившегося в личном пользовании домашнего скота; и многократно осужденное, но выжившее планирование сельскохозяйственной продукции в духе «продразверстки»; и командно-административная система руководства колхозами и совхозами; и незаинтересованность работника в повышении доходов из-за товарного дефицита. Не все в этом продовольственном кризисе 1963—1964 гг. ясно, так как он до сих пор не проанализирован экономистами и историками.

В октябре 1964 г. Пленум ЦК КПСС освободил Хрущева от обязанностей Первого секретаря и члена Президиума. Решение о снятии было принято в тот момент, когда Хрущев и Микоян находились на отдыхе, а член Президиума Фрол Козлов был болен. Все прошло без осложнений. Народ воспринял отставку недавно превозносимого в печати и с трибун лидера спокойно и даже с удовлетворением. Партийный аппарат — с еще большим удовлетворением. Разделение обкомов и райкомов на промышленные и сельские, аппаратные перетряски, перманентные реформы порождали чувство неуверенности и неопределенности. Но не только партийный аппарат, но и довольно широкие круги членов партии и тем более населения не были готовы к глубоким переменам, не осознавали их необходимость. Идеологические стереотипы были еще очень сильны. Имя Сталина для многих продолжало оставаться символом успехов и достижений социализма. Демократизация общества как важнейшее слагаемое результативности социально-экономических реформ проходила замедленно, с перекосами и отступлениями.

Хрущева и его десятилетие вспоминают по-разному. Те, кого он освободил от ада острожной, лагерной и ссыльной жизни, те, кому он вернул доброе имя их родителей и родственников, бывает, даже до сих пор собираются на день его рождения. Те, к кому сегодня вернулась вера в перемены, те, кто всю жизнь боролся за них, думают о второй половине 50 — начале 60-х годов как о времени несбывшихся надежд и первых импульсов процесса движения за обновление общества. Для людей, сохранивших веру в то, чему учили в 30 — 40-е годы, Хрущев — ненавистный ниспровергатель и разрушитель дорогих их сердцу идеалов. В обыденном сознании многих Хрущев — неавторитетный руководитель партии и государства, скомпрометировавший себя обещаниями, всеобщим насажденпем кукурузы, изъятием скота у колхозников.

Андрей Вознесенский признается, что он долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетается, казалось бы, несовместимое: мощный замах преобразований и добрые надежды 60-х годов, тормоза старого мышления и купеческое самодурство. Добавим к этому: нетерпение и нетерпимость. Во всяком нетерпении живет надежда на чудо: на кукурузу или химию, на «догнать и перегнать», на «показать кузькину мать».

Парадоксы Хрущева — это парадоксы соединения в одном человеке недюжинной энергии, инициативы, настойчивости, эгоцентризма, а порой и невежества. Он тоже прошел эволюцию на посту руководителя — «розовел, краснел, чернел». Выступил против генетики, попытался приблизить Лысенко... Были и при нем гонения на творческую мысль. Волюнтаристские шараханья из стороны в сторону.

Сам продукт определенной эпохи, социальной и политической среды, Хрущев хотел преодолеть ее законы, разрушить ее во многом теми же методами. Сломать бюрократию, действуя по-бюрократически. Развенчать культ личности Сталина, не отказываясь от создания собственного культа, хотя и без репрессий, но тоже достаточно авторитарного.

Хрущев так и «не прорвался» к народу, хотя и пытался: ездил на предприятия, выступал перед рабочими, встречался с интеллигенцией. Он оказался заложником того аппарата, той административной машины, которая перемалывает или выталкивает новации, не вписывающиеся в отработанную систему инструктивного и регламентированного течения жизни. Возможно, он думал, что поднялся над Системой, но в действительности она его крепко держала за ноги. С могущественной Системой, ее образом мыслей должен был считаться и Первый секретарь. А когда он попытался что-то сломать в этой Системе, она сдернула его с пьедестала.

Сейчас уже, наверное, все больше становится людей, которых не надо убеждать в том, что Хрущев — крупная, незаурядная личность, чрезвычайно противоречивая, в полной мере несшая в себе черты своей эпохи.

Он сделал очень и очень много, выразив в своих действиях против культа личности Сталина то, что шло гораздо дальше личной силы и слабости, что нельзя измерить выносом тела развенчанного «отца народов» из Мавзолея. Ведь речь шла о целом историческом процессе, с его внутренней объективной логикой. Произошел огромный сдвиг в общественном сознании на всех его уровнях: идеологическом, социально-психологическом, нравственном. Дети пятьдесят шестого года не случайно лидируют сегодня в борьбе за перестройку.

Социалистическая индустрия,
1988, 20 ноября

Ю. Левада, В. Шейнис

1953—1964: ПОЧЕМУ ТОГДА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Говорят, прошлое учит только тому, что оно ничему не учит. Следует добавить лишь: тех, кто не хочет или не умеет учиться. К концу периода, о котором мы ведем речь, было кем-то пущено в оборот определение: «великое десятилетие». Великим оно, к сожалению, не стало, хотя — как знать? — может, и могло бы стать, окажись люди, которые сами творят свою историю, мудрее, дальновиднее, смелее. Но сейчас оно для нас — едва ли не самое поучительное десятилетие послеоктябрьской истории. Слишком многое поставлено сегодня на карту, чтобы пренебречь его уроками.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПОВОРОТ

14 октября 1964 г. Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев, находившийся на отдыхе в Пицунде, был вызван на неожиданно созванный Пленум ЦК и смещен, как было официально заявлено, «в связи с ухудшением состояния здоровья» и, как было вскоре уточнено,— за «волюнтаризм» и «субъективизм». И того и другого в его деятельности было немало. Но этой малосодержательной формулой была зашифрована сама суть попыток десталинизации нашего общества. В 1964 г. консервативные силы взяли реванш за свое поражение в 1957 г., хотя к тому времени произошла почти полная «смена караула».

В 1957 г. волна общественного обновления еще шла, хотя и неровно, на подъем. Хрущеву достало тогда смелости, чтобы обратиться к ЦК через голову «сместившего» его Президиума, и доверия, чтобы необходимую поддержку получить. В 1964 г. он не смог апеллировать к партии и народу в защиту своего курса — и не только потому, что не готов был к столь непривычному нарушению «правил игры», а его противники действовали, не в пример прошлому, искусно. Сам курс на реформы, крайне непоследовательный, утратил и динамизм, и былую притягательную силу, а его лидер — престиж. Ведь ни один его шаг не был сделан достаточно твердо, ни одно начинание не было доведено до конца. Монополия

на инициативу и истину, которую руководство упорно старалось удержать в своих руках, мешала пробуждению сознания общества и самоорганизации его живых сил. Буквально за каждым шагом вперед включались механизмы торможения, запретов на творчество, сомнение, поиск. Более всего реформы губило то, как именно они проводились и какие ограниченные — по сравнению со вспыхнувшими надеждами — результаты давали.

ИСХОДНЫЙ ПУНКТ — КРИЗИС

Осознанию реальности часто мешают мифы. Один из них, выживший и работающий против сегодняшней перестройки,— реформы 50—60-х годов дестабилизировали не столь уж скверный порядок: «при Сталине цены снижали» и т. д. Второй — при социализме, и особенно в СССР, не может быть кризисов. На деле ситуация начала 1953 г.— апогей самовластного безумия Сталина на фоне нарастающего кризиса всей системы сталинизма. Кризиса тем более опасного, что оглушенное фанфарами общество не могло даже отдать себе отчет в серьезности положения.

Через восемь лет после войны, когда в побежденных странах уже обозначилось «экономическое чудо», а наша пропаганда твердила о небывалых хозяйственных успехах и еще более грандиозных планах «покорения природы», в городах нередко выстраивались многочасовые очереди за продуктами, в деревне же, почти как в военное лихолетье, выгребались только что не последние «три мешка сорной пшеницы».

На мировой арене все еще очень остро — и не только дипломатически! — продолжалось выяснение отношений (и притязаний) по поводу итогов войны. Был упущен лишь теперь восстанавливаемый шанс нормально войти в мировое сообщество; народ, выдержавший самую страшную войну в своей истории, спешно изолировали от внешнего мира, вводили идеологический карантин. Международные политические кризисы следовали один за другим, а официальная доктрина утверждала, что, начнись мировая война, погибнет один только капитализм. С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Вышинский, используя ту же стилистику, что и на московских процессах 30-х годов, обличал «поджигателей войны», а в общественном мнении Запада все новые позиции завоевывали сторонники «жесткого кур-

са», убывал моральный потенциал нашей победы в антифашистской войне.

Мировая научная мысль подводила к НТР, а авантюристы и идеологические опричники, преуспевшие в борьбе с «буржуазной лженаукой» и «низкопоклонством», совершали свои небескорыстные набеги на генетику, физиологию, теоретическую физику, не говоря уж об общественных науках. Следовавшие одна за другой кампании «охоты на ведьм» — аналог маккартизма — разлагали общественную мораль. Перестановки наверху, которые стареющий вождь провел на XIX съезде, и «дело врачей» были зловещими предвестниками того, что подготовка новой волны массового террора вступила в решающую фазу. Публикации последнего времени чуть приподняли завесу над критической ситуацией июня 1953 г., когда члены высшего руководства, отбросив взаимные подозрения, преградили путь к власти Берии. Но даже самая смелая фантазия едва ли сможет ответить на вопрос, что было бы с нами всеми, партией и страной, проживи еще несколько месяцев Сталин. Людям, которые взошли на трибуну Мавзолея в день похорон Сталина, досталось нелегкое наследство.

ГОДЫ НАДЕЖД И РАЗОЧАРОВАНИЙ

В последовавшие за тем годы произошли сдвиги, оставившие неизгладимый след в жизни общества. Наметились повороты — к мирному сосуществованию, чуть большей терпимости по отношению к другим социалистическим силам. Стали осуществляться необходимые шаги по повышению жизненного уровня народа: снижения цен после 1955 г. прекратились, но зато росли заработки, пенсии перестали быть символическими, жилья было построено вдвое больше, чем за все годы Советской власти до того... Резкое, хотя и далеко не последовательное, разоблачение беззаконий и террора сталинского времени начало менять духовный климат в стране, вытеснять и безгласный страх, и слепую веру.

Хроники многих государств рассказывают, как часто новая правящая «команда» начинает со снятия избыточных напряжений в стране и вокруг нее — с понятной целью укрепления своих позиций. Так поступало поначалу и руководство образца 1953 г. Выпуск «пара» может либо предшествовать реформе, либо под-

менять ее. Между тем уже тогда общество нуждалось не в исправлении отдельных «ошибок» прошлого периода, а в коренной перестройке.

Почему же со временем оборвались, не получили развития многие начинания первого послесталинского десятилетия? Чтобы ответить на этот основной вопрос, необходимо разобраться в трех других: как осуществлялись реформы? Кто их проводил? Как понимало и принимало их общество?

Реформы могут проводиться по-разному. Слишком быстро — и тогда они могут породить социальный хаос. Слишком медленно — и тогда они рискуют уйти в песок. Найти верный темп неимоверно трудно, и наивно думать, что сначала в кабинетах может быть разработан, а затем на практике реализован некий безукоризненный план безболезненных преобразований. Элементы импровизации, решений, принятых под давлением обстоятельств, метод проб и ошибок неизбежны во всяком серьезном общественном процессе. Но самый ненадежный, провальный вариант проведения реформы описывается известной формулой: «иди — стоп — назад». В этом случае цели, даже если они осознаны, постоянно ускользают как мираж, механизмы остаются недостроенными и работают вхолостую, общественная поддержка реформаторов слабеет, а ряды их противников консолидируются.

Между тем в истории нашей страны нелегко найти другой период, настолько внутренне противоречивый, наполненный приливно-отливными волнами, смягчением запретов — и незамедлительными откатами в политике, идеологии, экономике. В большинстве случаев реформаторские начинания были непосредственной реакцией на ту или иную критическую ситуацию, а порой побочным результатом внутренней борьбы и компромиссов в руководстве. Вспомним хотя бы, как шли мы к XX съезду.

Уже через месяц после смерти Сталина совершается событие беспрецедентное — реабилитация врачей-«отравителей». Печать, усиленно готовившая гала-процесс, решительно меняет тон. В апреле же в Грузии возвращается на руководящую работу ряд работников, ранее осужденных по так называемому «мингрельскому делу».

Довольно скоро, весной 1953 г., исчезают ссылки на Сталина. На страницах печати появляются термины

«культ личности» и «коллективное руководство». Примета времени: один высокопоставленный автор доказывает, что все классики — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин (именно в таком наборе) — боролись с культом.

Вторая половина года открывается сообщением о разоблачении Берии, а завершается судом и расстрелом «врага партии и народа» и шести его ближайших сотрудников. Важнейшее событие, однако, истолковывается в привычных терминах («агент международного империализма», «наймит зарубежных империалистических сил») и увенчивается закрытым процессом (материалы которого не опубликованы до сих пор).

1954 год: в литературе и публицистике появляется ряд «оттепельных» произведений. Немедленно наносится контрудар по «Новому миру», опубликовавшему статьи В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Щеглова, в которых был дан честный анализ послевоенного литературного процесса. С поста его редактора в первый раз уходит А. Твардовский. На этом фоне довольно бесцветно проходит собранный после 20-летнего перерыва II съезд писателей. Разворачивается кампания против молодежного нонконформизма. С «подачи» тогдашнего руководителя комсомола Шелепина «стилягам» на улицах режут брюки, как при Петре I стригли бороды. Но в 1954 г. начинаются, а в 1955 г. приобретают довольно заметный масштаб политические реабилитации жертв сталинского террора; выжившие возвращаются из лагерей. Весной 1955 г. разоблачения вторгаются в сферу внешней политики: Н. С. Хрущев произносит сенсационную формулу извинения перед И. Тито на белградском аэродроме (впрочем, вина за прошлое возлагается в основном все на того же Берию).

1956 год открывается XX съездом. Произнесенный в ночь на 25 февраля драматический доклад Хрущева на закрытом заседании съезда оглашается в марте практически повсеместно (хотя не опубликован до сих пор), но первые попытки начать серьезный публичный разговор о причинах и природе деформаций пресекаются — внутри страны окриком и репрессиями (уже в апреле — мае), в международном коммунистическом движении (в ответ на выступления П. Тольятти и других) — решительной отповедью. Завершается год событиями в Польше, Венгрии и первыми после Сталина, хотя и не очень многочисленными, политическими арестами в

нашей стране*. Вскоре после этого была разгромлена редакция журнала «Вопросы истории», посягнувшего на некоторые мифы в нашей историографии.

Для стартовых лет «оттепели», особенно в сложный период борьбы за XX съезд, эти рывки легко объяснимы. Но в таком же режиме на всех главных направлениях шла наша первая перестройка и в последующие годы. Назревшие экономические и социальные преобразования подменялись беспорядочными административными реорганизациями, так быстро сменявшими друг друга, что их не всегда легко было заметить — не то что оценить,— и непрерывными кадровыми перестановками.

ВО ВЛАСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ

Импульсивные порывы и отдельные прозрения не могли вывести за рамки старых стереотипов политического и социального мышления. К ним относились, например, представления о «врожденном» совершенстве социалистического общества, которое нуждается лишь в очищении от извращений и наслоений, в возвращении к «истокам». Или о неизменной монолитности этого общества. О невозможности иных моделей социализма, кроме утвердившейся в нашей стране. О безусловном приоритете планирования перед товарно-денежными отношениями и формулируемых государством общественных интересов — перед личными. Из всего этого выводились заключения, что социализм в силу одной своей природы может и догнать, и перегнать самые развитые капиталистические страны в каком угодно отношении. На это в 1961 г. были определены сроки — 10—20 лет.

При Сталине его мнения и указания считались главным критерием истинности любых идеологических постулатов, даже мерой оценки классических марксистских работ. Когда этот авторитет пал, быстро разраставшаяся идеологическая бюрократия во главе с таким мастером придворных интриг, как М. А. Суслов, приложила огромные усилия для сохранения сложившихся стереотипов под слегка подновленными вывесками. Постулаты

* Аресты эти были произведены среди студентов и интеллигенции, чтобы пресечь начавшееся было волнение в связи с событиями в Польше и Венгрии. Писатель В. Дудинцев вспоминал, как в 1957 г. его вызвали в КГБ: «Было страшно, Хрущев говорил, что у нас нет больше политических заключенных, а генерал показывал мне их снимки. И предлагал опознать».

переименовывались с такой же легкостью, как премии, дворцы, города. Издавалось множество пухлых коллективных трудов по истории, экономике, философии и т. д., лишенных какой-либо свежей мысли и служивших лишь увековечению тех же стереотипов. Жупел ревизионизма — этот непременный атрибут всех «проработок» после 1956 г.— активно использовался для того, чтобы представить опасной любую новую мысль и практически сделать руководство заложником идеологической мафии.

КРИТИКА КУЛЬТА, НО НЕ РЕЖИМА...

Осуждение преступлений Сталина (тональность которого не была неизменной; в начале 1957 г. Хрущев даже произнес слова: «Нашего Сталина мы никому не отдадим») балансировалось полным отказом от анализа политического режима и идеологии сталинизма. Более того, малейшая попытка поднять вопрос о социальных истоках этого явления сурово преследовалась. Отчасти это можно было объяснить нежеланием Н. С. Хрущева, А. И. Микояна и их коллег признать собственную вину как соучастников организации репрессий, отчасти — опасением перед неконтролируемыми массовыми эксцессами. Но сверх того, сказалось неумение к такому анализу подойти. В наборе политических стереотипов просто не было подходящих средств для этого.

Малоудачный эвфемизм «культ личности», избранный в качестве ключевого слова для характеристики политического режима и идеологической системы сталинизма, надолго вошел в политический лексикон. Он позволял свести проблему к преклонению перед личностью «вождя» и к злоупотреблениям с его стороны. На следующем витке развития это помогло обесценить и такую критику, сохраняя внешнюю лояльность решениям XX и XXII съездов.

В результате даже механизм беззаконных репрессий не был разоблачен до конца, реабилитация жертв произвола осталась неполной. Писатель К. Икрамов вспоминал впоследствии, как он получил документ о посмертной реабилитации отца * вместе с указанием никому об этом не рассказывать. Между тем для оздо-

* Икрамов А. И. (1898—1938) — первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана в 1929—1937 гг.

ровления общественной атмосферы и преодоления небезобидных мифов нам очень нужен был в то время свой вариант Нюрнбергского процесса — не столько, чтобы покарать стареющих палачей и организаторов террора (некоторые из них были осуждены на закрытых процессах), сколько для того, чтобы создать основу для духовного прозрения, морального очищения. Мы до сих пор не знаем не только масштабов террора, но и масштабов реабилитации конца 50-х годов.

Люди, проводившие преобразования, боялись преобразований и их последствий, боялись того, что только и могло дать гарантию их необратимости,— активизации и демократизации общества. Отсюда их непреодолимое убеждение, что вся правда — лишь для допущенных к ней согласно «табели о рангах», что информация должна распределяться по уровням чиновной иерархии, что огромные ее пласты должны быть надежно укрыты от большинства сограждан, которые могут ее «неверно понять». С трудом признав, что на Западе и в Японии разворачивается научно-техническая революция, они не смогли уяснить, какую роль играет в ней информационный компонент. Информация оставалась таким же «дефицитом», как продукты питания повышенного качества и импортный ширпотреб, доставляемые в закрытые распределители. Это имело двоякие последствия. Мучительно трудно шел процесс возрождения гражданского правосознания и общественного мнения, без чего серьезная демократизация немыслима, а информационный вакуум заполняли слухи и мифы. Но и сами «верхи», безуспешно боровшиеся с «приписками», лишали себя возможности реально оценить нарастание кризисных явлений и во многом должны были полагаться на агентурные, то есть заведомо искаженные, данные, парадную информацию с мест, подогнанную статистику.

...И КУЛЬТ УСПЕХА

Атмосферу десятилетия наполняли главным образом бесчисленные торжественные обещания (вплоть до построения коммунизма «при жизни нынешнего поколения») и рапорты об их исполнении. Считали, видимо, что таким путем вернее всего можно поддерживать бодрость духа в обществе, надежно ограничить зону сомнений и критики.

Хрущевское руководство не только пыталось, как заметил потом Черчилль, перепрыгнуть пропасть в два прыжка, но каждый «прыжок» считало последним, немедленно разворачивая подготовку к праздничным торжествам. Наивные ожидания быстрейшего разрешения всех проблем порождали «заказные» прогнозы сверхоптимистического порядка, наподобие тех, которые отразились в старой редакции партийной программы. Однако в двух областях — экономике и внешней политике — видимость благополучия было поддерживать особенно трудно. Неконтролируемые процессы в них заявляли о себе громче всего.

ВМЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

В экономике предстояло решить две задачи: включиться в соревнование с Западом, где уже широко осваивались достижения НТР, и повысить жизненный уровень народа. Первые шаги внушали некоторые надежды. Но довольно скоро обнаружились пробуксовки и сбои. На обращение с экономикой немалый отпечаток наложили и идеологический подход, и боязнь утратить привычные рычаги управления.

Установка на увеличение производства товаров массового потребления, широко заявленная в 1953 г., была вскоре же сокрушена переориентацией капиталовложений и воскрешением догмата о преимущественном росте первого подразделения. Наметившийся было курс на разумные преобразования в сельском хозяйстве был довольно быстро скомкан. Провозглашенный в 1955 г. «новый порядок планирования» для колхозов так и не был осуществлен. Индивидуальная инициатива считалась подозрительной, личные подсобные хозяйства и даже садовые участки то поддерживали (правда, временно), то осуждали и ограничивали. Тем больший кредит получила вера — то в аграрные чудеса, которые вновь и вновь обещал Т. Лысенко, то в тиражирование «рязанского почина», состоявшего в том, что область в 1958 г. втрое перевыполнила план поставок масла и мяса государству. (Когда спустя два или три года стало ясно, что это было достигнуто ценой уничтожения всего поголовья и скупки продуктов в магазинах соседних городов, организатор аферы секретарь обкома Ларионов покончил с собой.)

Вообще же вера в то, что в сложных хозяйственных

ситуациях существует будто бы одно главное звено, позволяющее вытащить цепь, находила воплощение то в освоении целины, то в продвижении кукурузы к Полярному кругу, то в химизации сельского хозяйства. Цепь, естественно, рвалась, и тогда главным объявлялось другое звено. Бесконечные и бессистемные реорганизации управленческих учреждений (министерств, совнархозов, Госплана, различных комитетов и комиссий, вплоть до пресловутого раздвоения партаппарата на промышленный и сельский) дискредитировали саму идею реформ. Введение совнархозов было подано как возврат к экономической организации, существовавшей при Ленине. На деле это был всего лишь переход с отраслевого к территориальному принципу построения все той же административно-командной системы, выбиравшей уже последние резервы экстенсивного экономического роста.

В начале 60-х годов некоторые экономисты предложили действительно радикальные преобразования хозяйственного механизма. Но в самостоятельности предприятий, в развитии товарно-денежного хозяйства усматривалось зловредное жало все того же ревизионизма...

Попытки наладить экономику силовыми приемами мстили за себя. Было обещано за три-четыре года создать потребительское изобилие, чуть позднее — отменить налоги с населения и сделать бесплатными услуги. На деле вновь обострились продовольственные трудности, пришлось в 1962 г. существенно повысить (как тогда надеялись — временно) цены на мясо и молочные продукты, а позже приступить к импорту зерна.

НОВЫЕ РЕАЛЬНОСТИ И «ОБРАЗ ВРАГА»

Не меньшими перепадами отличался внешнеполитический курс. Уже в 1953—1954 гг. в него были внесены важные коррективы. На XX съезде элементы реалистического видения мировых процессов — отклонение тезиса о неизбежности мировой войны, новое отношение к социал-демократам и т. д.— были включены в официальные документы. Были сделаны шаги к урегулированию на взаимной основе ряда наиболее взрывоопасных конфликтов, а в грозные дни карибского кризиса 1962 г. Н. С. Хрущев и Д. Кеннеди нашли в себе мужество преодолеть соблазны авантюризма и сделать шаг в сто-

рону от пропасти. Но многие наши внешнеполитические акции носили непродуманный, вызывающий характер. Грубое изречение Хрущева: «Мы вас закопаем!» * — хотя и было воспринято его партнерами с излишним буквализмом, в концентрированном виде выразило главный догмат старого политического мышления: наивную уверенность в близком торжестве коммунизма во всем мире.

Непоследовательность и нередкие крутые повороты во внешней политике подыгрывали агрессивным силам на Западе, осложняли международную обстановку и отвлекали ресурсы. Но они имели и крайне неблагоприятный внутренний эффект, продлевая жизнь психологии осажденной крепости и позволяя изображать, когда это требовалось, практически любую серьезную попытку откровенного разговора как происки врагов. Особо чувствительно воспринималось то, что происходило в Восточной Европе. Каждое обострение здесь вело к ужесточению политической и идеологической ситуации внутри страны. События 1956 г. в Венгрии вызвали психологический шок в руководстве, заставили его срочно корректировать курс, заявленный на XX съезде. Любая попытка вывести публичную критику за пределы, четко обозначенные свыше, воскрешала в памяти Хрущева и его окружения ненавистный фантом «клуба Петефи» — кружка венгерских левых интеллигентов, обсуждавших актуальные проблемы своей страны. Принятая в 1958 г. программа Союза коммунистов Югославии стала поводом для новой яростной кампании против югославских коммунистов, обвиненных в тяжких грехах «ревизионизма». Политические обвинения были подкреплены мерами экономического давления.

Один из трагических парадоксов нашего развития: реформаторы, проводившие XX съезд, осудив сталинский тезис об обострении классовой борьбы, тут же восстановили его в чуть смягченном виде постоянного будто бы «обострения идеологической борьбы» и широко использовали дубинку «идеологической диверсии» — подновленный вариант средневекового представления о «порче», которую дьявол может насылать как на отдельного человека, так и на целые народы... «Образ

* Имея в виду программное положение о неизбежности победы коммунизма во всем мире, Н. С. Хрущев обмолвился, произнеся эти слова. Но они стали уроком политической грамоты для американцев, до сих пор их вспоминают на Западе.

врага» — всегда лишь перевернутый образ собственного страха, так же как спесивое бахвальство («наши больные — самые здоровые в мире») — проекция собственного комплекса неполноценности.

Итак, продвижение вперед во всех сферах было скованным, непоследовательным, прерывистым. Оно предотвращало наиболее опасные кризисные обострения и «расшивало» самые узкие места, но не смогло сформировать инерцию внутреннего саморазвития.

Бесконечные перепады духовной и политической жизни вносили изрядную неуверенность и скепсис в ряды сторонников реформы и оставляли ее противникам надежду, что ход событий может быть повернут вспять одними лишь кадровыми перестановками в руководстве.

ВЕРХНИЙ ЭШЕЛОН

В высокоцентрализованном социальном организме, где преобладающая часть решений принимается в верхнем эшелоне власти, многое, слишком многое зависит от того, как формируется этот эшелон, каким образом изменяются ориентации входящих в него лиц.

Феномен «коллективного», а затем хрущевского руководства еще ждет своего исследователя. Но один из важнейших уроков той поры заключается в том, что судьбы страны и народа — под угрозой, если они в столь высокой степени зависят от раскладки сил в верхнем эшелоне. Сама же эта раскладка неустойчива и изменчива, пока не работают демократические механизмы законности, выборности, гласности, ответственности. Было бы несправедливо забывать, что первоначальные импульсы перемен шли сверху и в данных условиях могли прийти только оттуда. Можно было бы отнестись спокойно и к тому, что разоблачению Сталина на XX съезде рукоплескали люди, возносившие его на XIX съезде. Но ведь и в последующий период одни и те же лица сначала проводили, а потом сворачивали реформу, критику культа, реабилитацию невинных жертв.

Н. С. Хрущев опирался на формальную, уставную поддержку партийно-государственной иерархии, приученной следовать за лидером, определенное время пользовался популярностью в стране, особенно среди молодежи, интеллигенции, ветеранов партии. В отличие от своего предшественника, он не прибегал к массовым

репрессиям. Буйная энергия, инициативность, умение чувствовать многие болевые точки не раз давали ему преимущества перед оппонентами в руководстве.

Он, несомненно, во многом вдохновлялся благими намерениями. Его постепенно созревавшая ненависть к Сталину, как некогда и страх перед ним, была, видимо, искренней. Но при всем том он был сыном своего удивительного, страшного и лицемерного времени, нес в себе и его громогласно заявленные идеалы, и весь заряд его двоемыслия.

Время показало, что ресурсы той поддержки, на которую мог опереться Хрущев, исчерпаемы. Торжественные обещания не были выполнены. Инициативы перестали быть привлекательными. Соблазнительные картины якобы недалекого светлого будущего никак не могли заменить реального движения вперед. Бесконечные и неэффективные аппаратные перетряски восстановили значительную часть номенклатуры против своего лидера. Эти люди, в отличие от участников неудачной попытки переворота 1957 г. Молотова, Маленкова, Кагановича и других, своим выдвижением были обязаны исключительно или преимущественно Хрущеву. Разоблачения «культа» в чем-то им даже импонировали, поскольку укрепляли ощущение личной безопасности. Но теперь им этого было мало. Никакая, даже самая резкая критика бывшего главы иерархии не могла породить в их среде такое сопротивление, как непрерывные кадровые перетряски, постоянно нависавшая угроза их привилегиям и тому, что они понимали под стабильностью режима.

Из печати мы знаем лишь, как отметили эти люди в апреле 1964 г. 70-летие «нашего дорогого Никиты Сергеевича». Когда будут открыты архивы, выяснится, вероятно, как они тормозили начинания Хрущева, затем стали сговариваться за его спиной, а затем поставили перед свершившимся фактом октябрьский Пленум того же года.

В том, что события развернулись таким образом, была и беда, и вина Хрущева. Беда — ибо, даже обладая после 1957 г. известной свободой выбора своих соратников, он мог делать этот выбор лишь из сравнительно узкого круга людей, прошедших соответствующий отбор в сталинский период, в совершенстве овладевших искусством политической мимикрии и имевших преимущественно консервативные ориентации. Много-

летняя кровавая сталинская жатва не прошла бесследно. «Понижение морального и умственного уровня партии по сравнению со средним уровнем — моральным и умственным — страны»,— отмечал в своем дневнике 1941 г. В. И. Вернадский. Эта ситуация применительно к высшему эшелону была запрограммирована на многие годы вперед. Если даже в наши дни некоторые современные историки имеют, мягко говоря, бестактность высказывать сомнения в подлинности известного предсмертного письма Н. И. Бухарина, то как могло оно быть услышано тем «будущим поколением руководителей партии», которое окружало Хрущева?

Но Хрущев и сам подготовил свое падение, ибо многочисленные перетряски, которые осуществлялись по его инициативе, не касались главного — недемократического характера выдвижения кадров, вовлечения масс в политику. Поразительный парадокс: на «антисталинском» XXII съезде был принят новый Устав, который практически исключил выборность в руководящие органы партии. Придуманы были, правда, суррогаты демократической жизни: квота обновления руководящих органов и правила ротации для их членов. Сами по себе они никак не могли преодолеть окостеневшую систему политического администрирования. Позже управлявшая каста с легкостью отбросила и эти слабые попытки ограничить ее устойчивость и власть.

ГЛАВНЫЙ УРОК

Одно из самых расхожих представлений: народ, только-только начавший выходить из политического забытья, не был готов к переменам. Это правда, но не вся правда, ибо нельзя пройти школу подготовки к демократии вне самого демократического процесса, как нельзя научиться плаванию, не входя в воду.

Главная слабость не вполне определившегося и быстро окостеневшего политического режима в первое послесталинское десятилетие — не просто отсутствие эффективных демократических механизмов, а неспособность даже двигаться в этом направлении. Подорвав устои сталинского деспотизма, актив нового руководства и силы его поддержки даже не приступили к серьезной демократизации партии и общества. В рамках старых шаблонов было принято считать, что социалистическое общество «по природе» предельно демократич-

но; в контексте постоянной «аварийной» напряженности реальное вовлечение масс в процессы политических решений, а тем более открытое сопоставление разных мнений, свобода мысли и слова казались опасными. Отсутствие массовых репрессий еще далеко не тождественно демократизму. Практически отсутствовала и такая элементарная составляющая демократической жизни, как гласность, свобода слова и информации. Частые «встречи с народом», многолюдные совещания, парадные пленумы и съезды не заменяли работающих демократических механизмов. Во всех таких встречах Хрущев слышал лишь поддакивание себе, видел лишь «единодушное одобрение». Диалог отсутствовал, не было ни умения, ни желания слушать иные мысли. А мнимое единомыслие вновь и вновь оборачивалось универсальным безмыслием.

Надежды молодежи, восторженно приветствовавшей весну пятьдесят шестого, не воплотились в формы активного социального творчества. Попытки заткнуть экономические прорехи обращением к молодежному энтузиазму (целина, великие стройки) со временем стали обесценивать высокие слова и лозунги.

Цепляясь за отжившие стереотипы, не желая расставаться с принципом своей монополии на истину, хрущевское руководство не сумело мобилизовать надежные силы поддержки и в интеллигентных слоях общества: от обществоведов ожидали угодничества, а не рекомендаций, а художников, писателей, академиков непрестанно поучали с административных высот; неугодные мысли и непонятные художественные формы объявлялись государственно опасными.

За провал реформы особую ответственность несет интеллигенция. Конечно, сталинизм насильственно разорвал «связь времен», преемственность гражданских и культурных традиций российской интеллигенции, частое чередование «оттепелей» и «заморозков» в последующий период не способствовало их восстановлению. Но привычка подчиняться первому, хотя теперь уже и не такому страшному окрику вошла в кровь; она «срабатывала», когда была развернута травля Б. Пастернака в 1958 г., когда под лозунгами борьбы с «абстракционизмом» в 1962—1963 гг. «вся королевская рать» от литературы и искусства ринулась на защиту своих привилегий, когда в Ленинграде за «тунеядство» был осужден поэт И. Бродский. Не на высоте оказался и

корпус консультантов — научная «обслуга», призванная вырабатывать концепции перемен, но зачастую лишь потрафлявшая вкусам и предрассудкам «начальства».

Общество в целом остро нуждалось в реформах — и не знало, как их вести дальше, было потрясено разоблачениями, но не умело их осмыслить, да и лидер, произносящий бесконечные речи и все чаще увлекавшийся несуразными проектами, со временем стал проигрывать в массовом сознании в сопоставлении с небожителем...

Кто может сказать, насколько жестко был предопределен неуспех реформ 50—60-х годов и последовавший за ним продолжительный период застоя? В истории бывало не раз: за реформой, не доведенной до конца, не оправдавшей надежды одних и вселившей страх в других, следует контрреформа.

И все-таки... Главным результатом бурного и противоречивого десятилетия, без сомнения, была невозможность, немыслимость возврата к сталинизму, по крайней мере в его подлинных, «полных» формах.

Но и это не полный итог. Ведь именно в те годы были брошены в землю семена нового социального и политического мышления. Подвергнуты своеобразной «выбраковке» старые методы, при помощи которых рассчитывали решить новые проблемы. Развеяно немало иллюзий. Начали формироваться новое знание и новые нормы социального поведения. В общественную жизнь вошло поколение, не знавшее тотального страха, способное учиться понимать собственное общество и перестраивать его.

Через два десятилетия эти семена дали всходы.

Московские новости, 1988, № 18

Г. Федоров

КАК НАМ ОЦЕНИВАТЬ ХРУЩЕВА!

В № 18 «МН» помещена статья Юрия Левады и Виктора Шейниса «1953—1964: почему тогда не получилось». Здесь содержится ряд верных и глубоких мыслей. А все-таки статья двух уважаемых ученых местами вызывает чувство несогласия.

Вот что пишут авторы о реформах, проводимых Хрущевым: «Ни один его шаг не был сделан достаточно твердо, ни одно начинание не было доведено до конца... Более всего реформы губило то, как именно они проводились и какие ограниченные — по сравнению со вспыхнувшими надеждами — результаты давали».

Спору нет, были непоследовательность и неполнота в осуществлении реформ, административные меры в их проведении. Но можно ли это отнести ко всем реформам времен первой «оттепели»? Безусловно нельзя. Ряд реформ был проведен достаточно твердо, до конца доведен и вполне оправдал возлагавшиеся на них надежды. Перечислю.

Ликвидация всех видов тайных бессудных расправ, так называемых «троек», «особых совещаний» и т. п. При всем несовершенстве нового судебного законодательства, нового уголовного кодекса и т. д. наша страна становилась правовым государством.

Пенсионная реформа. До нее пенсии были настолько мизерны, что носили чисто символический характер. Реформа пенсий распространилась на десятки миллионов человек и сделала для них возможным сносное, хотя и скромное существование.

Жилищная реформа. Массовое жилищное строительство, развернутое при Хрущеве, сделало, по крайней мере для вступающих в жилищные кооперативы, доступным получение квартиры, да и цены на кооперативы были тогда вполне умеренными.

Крестьянская реформа. «До Хрущева» крестьяне из-за немыслимых поборов и налогов вели жалкое существование (если, конечно, судить не по лживым фильмам типа «Кубанских казаков» и не по небольшому количеству показушных хозяйств). Кроме того, крестьяне были, по существу, на положении крепостных. Реформа привела к тому, что деревня стала жить более или менее по-человечески и крестьяне получили возможность переходить из одного хозяйства, района и т. д. в другой, переезжать в город, обзаводиться паспортами. Конечно, хватало и непоследовательности, и просто ошибок в руководстве сельским хозяйством, однако коренная реформа все же дала положительные результаты.

Немало было проведено и других нужных реформ — вполне последовательно и эффективно.

Кстати, авторы совершенно напрасно пишут о продвижении при Хрущеве кукурузы «к Полярному кругу». Это побасенки, распространяемые теми, кто ненавидит Хрущева. А вот посевы кукурузы в умеренных широтах, впервые начавшиеся при нем, давали и продолжают давать большой экономический эффект. Я живу в подмосковном городе Климовске. Так вот вокруг него многие поля и поныне засевают кукурузой и получают отличный корм для скота. А люди старшего поколения наверняка помнят и банки с прекрасной консервированной кукурузой — вкусной, питательной и дешевой. Со снятием Хрущева «уволили» и эти консервы.

Так как же нам оценивать Хрущева?

При всех своих недостатках, непоследовательности и т. д. Хрущев в целом действовал в интересах страны и народа. Он совершил настоящий подвиг, рискуя не только политической карьерой, но и жизнью, когда отважился на развенчание Сталина и реабилитацию миллионов невинных людей, живых и убитых. Ведь он действовал в сплошном окружении сталинистов. А другого окружения тогда, в противоположность нынешнему времени, в высших эшелонах власти просто-напросто не было. Более того, Хрущев и сам был из окружения Сталина, и ему, Хрущеву, прежде всего понадобилось победить сталиниста в себе самом, что он и пытался делать, а уже затем бороться с другими сталинистами, создавая условия, без которых нынешнее обновление не имело бы ни возможностей, ни кадров, ни традиций. Это был подлинный лидер — ледокол, идущий впереди и прокладывающий путь каравану судов.

Московские новости, 1988, № 31

А. Стреляный

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О НИКИТЕ ХРУЩЕВЕ

...Видел ли Хрущев другие способы накормить народ, помимо тех, которые применял сам и вся премудрость которых в лозунгах: «Кукуруза решает все!» и «Кадры решают все!»? Как ни странно, видел и мог иной раз смело и хорошо о них рассказать. В 1956 г. он вручает орден Ленина Московской области, занявшей первое место в стране по удоям молока. Хвалит ее, поздравляет и вдруг...

— Возьмите финнов, датчан, голландцев. Они такие удои получают давно, и орденов им за это не дают!

Что там дают вместо орденов, как это все делается, он знает совершенно точно: «Если фермер не получит определенную прибыль, то разорится. Капиталистическая система в этом отношении беспощадна. Один предприниматель может другого за доллар в гроб вогнать».

От него же, от Никиты Сергеевича, почерпывая, что в США производится центнер мяса на душу населения, мы, его слушатели, смекали: в гроб-то в гроб, но такую гору мяса один богачи съесть, наверное, все же не в состоянии...

Как бы то ни было, главное про те порядки, про те стимулы и способы он знал и понимал. Но — не принимал.

Он верил в свои, в наши порядки и способы. «У нас другой строй, другая система. Она построена на том, чтобы люди помогали друг другу, учились...» Спохватившись, добавлял: «Но мы не можем допускать расхлябанность и инертность». Тем и занимался: взбадривал и шпынял руководимый персонал...

Два вопроса меня больше всего занимали, когда готовился писать о нем. Почему он ни разу, ни при одной из своих сокрушительных неудач не пенял на недавнюю войну и на плохие погоды и почему ни разу не вспомнил про нэп?

С первого и до последнего своего дня во главе страны Хрущев был убежден, что объективных, ни от кого не зависящих, данных историей и природой причин отставания того же сельского хозяйства нет. Сознание Хрущева было утопическое от и до, а ничто так не чуждо утопическому сознанию, как мысль о существовании неподвластных ему ограничений на устройство рая на земле. Воля и труд человека дивные дивы творят! Все по силам человеку, все он может при должном знании, умении, рвении, организованности и руководстве...

А про нэп, про эту попытку большевиков опереться на более или менее вольную коммерцию? Почему про нэп не допускал мысли? Ведь когда мечтал о свободных заготовках, близко подходил, очень близко. Но почему шел словно с завязанными глазами и в последний момент поворачивал назад? Из сталинской ямы вытащив деревню экономическими, попахивающими нэпом, методами, вдруг ударяется в пустяки, в сельхозпропаган-

ду и «конторизм», как называл его искания покойный Иннокентий Иванович Бараков, известный в 60-е годы бунтарь,— начальник Георгиевского сельхозуправления на Ставрополье. В чем дело?

Хрущев, вспомним, был из команды, которую Сталин набирал и воспитывал специально для уничтожения нэпа и для строительства казарменного социализма. Никита Сергеевич был создан не для торговли. Рожденный витать в облаках торговать не будет. Если бы в конце 20-х годов требовалось не кончать нэп, а укреплять его, Хрущева никуда не вынесло бы, вернее, вынесло бы совсем-совсем не туда. Он оставался бы слесарем, может быть, открыл бы свою мастерскую, а скорее всего был бы профсоюзным вожаком, состоял бы в оппозиции к правительству, кричал бы, что оно идет на поводу у торгашей, предает идеалы...

Он был слишком наивен и целен, чтобы юлить перед собой и людьми. Он не был так силен в диалектике, как иные наши академики, которые обещали нам все плюсы «полного» хозрасчета без допущения рынка товаров и кредитов: мол, и рыбку удастся съесть, и на кол не сесть. Человек целомудренный, Хрущев сильно подозревал: что-что, а это не получится.

А что потом произошло при Брежневе? Из хрущевской ямы деревню тоже вытащили методами, которые нэпом попахивали еще заметнее, но вместо того чтобы продолжать... В общем, сказка про белого бычка. Хрущевский откат объяснили его субъективизмом да волюнтаризмом, брежневский объясняют... Чем, кстати, мы его объясняем? Кажется, происками бюрократии, как будто она и впрямь не инструмент в тех или иных руках, а сама себе голова. А если спросить самого Хрущева, самого Брежнева? Один — своими словами, запинаясь и поминая кузькину мать, другой — по бумажке, но ответят одно и то же: слишком далеко заходить на пути нэпа ни-з-зя, потому что слишком далеко заходить по пути нэпа ни-з-зя никогда.

Хрущев верил в свой строй, не сомневался, что возможности этого строя «поистине безграничны», что цели выбраны правильно и надо идти к ним, и только к ним — не шататься, не отклоняться, не допускать усту-

пок всему ненашему, частному-единоличному. Он не хитрил, не выдумывал затемняющих слов, а называл вещи своими именами.

Хрущев не был ни чиновником, как Маленков, ни, как Брежнев, обывателем — им владело острейшее чувство личной ответственности за те обещания, которые давала его партия народу в 1917 г. До революции «мы за государство не отвечали», сурово напоминает он партийцам в одной из первых своих послесталинских речей, но теперь, когда партия уже 38 лет руководит страной, «недостаточно только критики капиталистической системы хозяйства и разговоров о том, что надо строить хозяйство на основе учения марксизма-ленинизма... Народ говорит нам:

— Я верю вам, я воевал за это в гражданскую войну, воевал с немцами, разгромил фашизм, а все-таки скажите мне: мясо будет или нет? Молоко будет или нет? Штаны хорошие будут? Это, конечно, не идеология. Но нельзя же, чтобы все имели правильную идеологию, а без штанов ходили».

Спустя 10 лет после войны — не 40, не 50, а 10! — он считал законными такие народные требования и доказывал своим, что оправдываться уже нечем, несмотря ни на какие происки мирового империализма. И не просто мясо и штаны числил Хрущев безотлагательным долгом коммунистов народу, нет, счет, который он выставлял своей партии от имени народа, был выше высшего: «Если мы не обеспечим своему народу более высокий жизненный уровень, чем в развитых капиталистических странах, то, спрашивается, какие же мы коммунисты?»

Он смотрел в корень. При всей своей мечтательности ни на секунду не упускал беспощадной сути дела: достоинство и преимущество социализма может быть доказано не просто отсутствием эксплуатации и безработицы, а только сочетанием этого отсутствия с присутствием доброго куска мяса. Иначе мир и сами советские люди сочтут, что тот строй лучше, и все происшедшее у нас отнесут к недоразумениям. Так смотрело на вещи его поколение революционеров. А глядя на вещи так, да к тому же при оставшемся от Сталина наследстве, рассчитывать можно было только на чудо, на скачки, на штурмы, на армейские порядки и армейский напор.

Не случайно главные слова в их словаре военные: наступление, рубежи, штабы...

Хрущев был из породы людей, созданных чрезвычайными положениями и для чрезвычайных положений. Это люди для разовых дел, решения отдельных проблем авральными способами. Все оставить, все забыть, ничего не считать, не мерить — навалиться всем миром на одну сторону и вытащить ее. Этому рабочему-революционеру с его малым набором самых грубых, но алмазно твердых понятий о том, что такое социализм, ни в какой мере не дано было проникнуться тем спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, к которому взывал под конец Ленин. Хрущеву мог бы помочь народный здравый смысл, которого ему не надо было занимать для дел, далеких от идеологии. Но в том-то и суть, что далеких. Он не был бы тогда революционером, оторванным от жизни так, как только и может быть оторван человек, выросший в идейной атмосфере, где линии и платформы важнее лиц и фактов.

Сумбурный человек, Хрущев был кем угодно, в том числе и утопистом, только не авантюристом. Ринувшись, косолапя, догонять Америку, испытывая детище Сталина на большом деле, он дал системе нагрузки, объявленные в паспорте. Он верил тем, кто заполнял этот паспорт,— всем этим струмилиным, кронродам, островитяновым, с бородками и безбородым, в косоворотках и при галстуках — бравым победителям разных пораженцев и прочих уклонистов. Вот он и устроил проверку. Устроил, видит бог, невольно — тем более достоверными следует считать результаты. К семидесяти годам он устал. «Чертовски!» — признавался помощнику.

— В феврале шестьдесят четвертого, помню, он был в Киеве, встречался со многими людьми,— рассказывает этот помощник А. С. Шевченко.— Возвращаемся в Москву. Только поезд отошел от Киева, он меня позвал на стакан чая и говорит: «Чертовски устал! Вот 70 лет стукнет в апреле, надо или отказываться от всех постов, или оставить за собой что-нибудь маленькое». А потом, когда стукнуло 70 лет и врачи начали говорить, что он здоров, решил остаться. И Брежнев ему говорил: оставайтесь. А он действительно собирался уходить и мог бы уйти, потому что был на пределе.

Что Хрущев подумывал об отставке, подтверждают и другие люди из числа самых близких к нему. Весной

шестьдесят четвертого он собрал по какому-то поводу человек пятьсот комсостава, перед которым произнес надрывно-самокритичную речь. Говорил, что ему с ними не удалось выполнить обещания, которые он давал народу, что ничего у них не получается и надо, видимо, уступать места другим, пусть попробуют другие. Есть мнение, что именно серьезность этого хрущевского намерения или порыва ускорила его политический конец. Сталинисты и обыватели, железные Шурики и добрые Леониды Ильичи (одни мечтали навести без него настоящий порядок, другие — пожить «наверху» тихо, в свое удовольствие) одинаково противились тому, чтобы Хрущев подавал пример, нацеленный в будущее. Страна, где первое лицо может покинуть кресло только по причине смерти или заговора,— это одна страна, это **ихняя** страна. Страна же, где человек мог бы признать свое поражение, с достоинством уступить место другому и продолжает посильно, окруженный подобающим уважением и вниманием, участвовать в жизни общества,— это совсем другая страна, для них хуже чем чужая.

Заговор созревал. О том, что с некоторыми руководителями областей тайно обсуждался вопрос о снятии Первого секретаря, узнал и сам Хрущев. Перед отъездом в отпуск он будто бы собрал **свой коллектив**, сказал, что до него дошло, какой вопрос в последнее время дебатируется, и угрожающе пообещал вернуться к этим разговорам после отпуска. Товарищи поняли, что медлить нельзя.

Московские новости, 1988, № 42

Р. Медведев

Н. С. ХРУЩЕВ. ГОД 1964-й — НЕОЖИДАННОЕ СМЕЩЕНИЕ

Конец лета и начало осени 1964 г. были наполнены для Хрущева обычной работой. После возвращения из Скандинавии и поездки в ЧССР он начал готовить новую реформу управления сельским хозяйством. Но проект Хрущева встретил возражения и в кругах Президиума ЦК, и среди секретарей обкомов, которым новая перестройка казалась ненужной и даже вредной при слабом развитии специализации в колхозах и универ-

сальной взаимосвязи всех отраслей сельского хозяйства. Но Хрущев настаивал на перестройке, он изложил свои предложения в пространной Записке и разослал ее по областным комитетам партии и в ЦК республиканских компартий. Предполагалось обсудить этот вопрос на Пленуме ЦК в ноябре.

В октябре Хрущев решил отдохнуть на государственной даче в Пицунде. Он не чувствовал себя усталым или больным.

Находясь на даче, Хрущев следил за подготовкой полета в космос корабля «Восход» с тремя космонавтами на борту, а также принимал и на юге различных государственных деятелей. А между тем в Кремле уже началось расширенное заседание Президиума ЦК КПСС, на котором Суслов и Шелепин поставили вопрос о смещении Хрущева со всех его постов.

Конечно, этот вопрос возник не в один день. Обсуждение вопроса о возможной замене Хрущева происходило в кругах ЦК и Президиума еще в первые месяцы 1964 г. Развитию этих настроений и обсуждений способствовал и тот факт, что за девять месяцев 1964 г. Хрущев 135 дней провел в поездках по разным краям и странам. Есть свидетельство о том, что более детально вопрос о снятии Н. С. Хрущева обсуждался группой членов Президиума и ЦК в сентябре, когда они проводили свой отпуск на юге. Приглашенные первым секретарем Ставропольского крайкома Кулаковым для охоты в район озера Маныч, эти члены ЦК меньше занимались стрельбой или рыбной ловлей, чем политическими обсуждениями. Важную роль в подготовке смещения Хрущева играл Н. Г. Игнатов. Он долгие годы работал секретарем ЦК КПСС, с 1957 по 1961 г. входил в Президиум ЦК КПСС. Однако у Хрущева сложились с Игнатовым плохие отношения, и после XXII съезда последний потерял свои высшие посты. В 1962—1964 гг. Игнатов был Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. Он не обладал на этом посту никакой реальной властью, но мог беспрепятственно ездить по всей стране и помогать созданию антихрущевского блока.

После отъезда Хрущева на юг подготовка к его смещению происходила уже в Москве. В центре обсуждения находились, как можно было судить, М. А. Суслов и А. Н. Шелепин. Решающее значение имело согласие с ними секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и министра

обороны СССР Р. Я. Малиновского. Это исключало возможность различного рода случайностей. Президиум ЦК собрался уже тогда, когда большинство членов Президиума и большинство членов ЦК КПСС высказались за смещение Хрущева.

Утром 13 октября Хрущев принял на своей даче министра Франции Г. Палевского. Когда Хрущев намеревался пригласить Палевского к обеду, в это время его позвали к телефону. Звонил Брежнев и передал, что в Москве собрались члены ЦК и хотят провести Пленум с обсуждением предложений Хрущева по сельскому хозяйству. Хрущев выразил крайнее недовольство:

— Этот вопрос несрочный, к тому же я в отпуске, и вы могли бы подождать.

Но Брежнев настаивал, к телефону подходил также и Р. Я. Малиновский. Сопротивление Хрущева оказалось сломленным только тогда, когда Брежнев сказал, что люди собрались и Пленум будет обсуждать намеченные вопросы без его участия, если Хрущев не приедет.

— Ладно,— сказал с раздражением Хрущев,— присылайте самолет...

Вместе с Хрущевым в Москву вылетел и Микоян. На аэродроме в Москве Хрущева встречал только председатель КГБ В. Е. Семичастный. Для Хрущева и Микояна стало очевидным, что на Пленуме ЦК речь будет идти отнюдь не о структуре управления сельским хозяйством.

В заседании Президиума ЦК КПСС участвовало 22 человека. Кроме членов и кандидатов в члены Президиума здесь присутствовали министры СССР А. А. Громыко и Р. Я. Малиновский, несколько секретарей обкомов, в том числе секретарь Волгоградского обкома А. М. Школьников, резко выступивший против Хрущева.

Председательствовал на заседании сам Хрущев, никакой стенограммы не велось. Обсуждение было бурным, резким, откровенным, временами очень грубым. Хрущев решительно отвергал почти все обвинения и сам выдвигал немало обвинений против присутствующих членов Президиума. В защиту Хрущева выступал один Микоян, который заявил, что его деятельность — это большой политический капитал партии, который она не вправе так легко растрачивать. Но Микояна никто не поддержал.

Было очевидным — в том числе и для Хрущева,— что Пленум ЦК КПСС, который в июне 1957 г. поддержал его и отверг решение Президиума, на этот раз окажется не на его стороне. Все же среди 330 членов и кандидатов в члены ЦК у Хрущева мог оказаться не один десяток сторонников, и обсуждение на Пленуме могло быть также не очень гладким, и члены Президиума ЦК стремились этого избежать.

Однако убедить Хрущева «добровольно» уйти в отставку не удалось, и заседание, начавшееся 13 октября, пришлось прервать поздно ночью для отдыха. Все разошлись по домам, условившись возобновить заседание утром 14 октября. Однако ночью Хрущев позвонил Микояну, который также не ложился спать.

— Если они не хотят меня, то пусть так и будет,— сказал Хрущев.— Я не буду больше возражать.

На следующий день заседание Президиума ЦК продолжалось не более полутора часов. Первым секретарем ЦК КПСС было рекомендовано избрать Л. И. Брежнева, Председателем Совета Министров СССР — А. Н. Косыгина.

По свидетельству известного французского журналиста Мишеля Татю, еще 31 октября 1963 г., когда Хрущев принимал лидера французских социалистов Ги Молле, последний спросил его о новом поколении советских лидеров, которые могли бы наследовать власть Хрущева. В своем ответе Хрущев на первое место поставил Л. И. Брежнева, которого очень хвалил. Затем он назвал А. Н. Косыгина, которого хвалил за компетентность. Хрущев назвал также Н. В. Подгорного. Мы видим, что Никита Сергеевич весьма точно назвал своих преемников, хотя и не подозревал, что все эти перемены произойдут так скоро.

Во второй половине дня 14 октября в Кремле открылся Пленум ЦК КПСС, члены которого уже заранее прибыли в Москву со всех концов страны.

Заседание Пленума открыл Л. И. Брежнев. Председательствовал А. И. Микоян. Присутствовал и Хрущев, который за время заседания не проронил ни слова. Доклад на Пленуме сделал М. А. Суслов. Этот доклад продолжался всего один час. В нем не содержалось попытки проанализировать деятельность Хрущева за 11 лет, подвести итоги или сделать выводы. Это был крайне поверхностный документ, в котором все сводилось глав-

ным образом к перечислению личных недостатков или «грехов» Хрущева.

Суслов сказал, что Хрущев допустил крупные ошибки в своей работе, в руководстве партией и правительством, принимал необдуманные, торопливые решения, допустил организационную чехарду. В последние два-три года Хрущев сосредоточил в своих руках всю полноту власти и стал ею злоупотреблять. Все достижения и успехи в стране он относил к своим личным заслугам, совершенно перестал считаться с членами Президиума, не прислушивался к их мнению, постоянно всех поучал.

В основном эти замечания были справедливы. Нужно было сказать, однако, что Хрущев сосредоточил в своих руках всю полноту власти не два-три, а пять-шесть лет назад и что члены Президиума слишком редко обращались к нему с критическими замечаниями, но гораздо чаще поддакивали ему. Большая часть непродуманных и поспешных решений Хрущева проводилась им через Президиум и Пленум ЦК КПСС.

Суслов сказал, что в печати все больше и больше писали о заслугах Хрущева. За 1963 год в центральных газетах 120 раз помещался портрет Хрущева, а за девять месяцев 1964 г.— 140 раз. Между тем даже портреты Сталина печатались 10—15 раз в год. Хрущев окружил себя советниками из родственников и журналистов и прислушивался к их голосу больше, чем к голосу членов Президиума.

И здесь Суслов многого недоговаривал. Портреты Сталина печатались в центральных газетах куда чаще, чем 10—15 раз в год. Хрущев все время ездил по стране. Он более 40 раз побывал за границей, и все это, естественно, находило отражение в центральных газетах. Между тем Сталин почти никуда не выезжал из Москвы и Кремля. Суслов явно преувеличил роль сына и дочери Хрущева: практически при решении важных государственных дел они не имели никакого влияния на отца. Верно, что в прессе и идеологических органах партии имелось немало подхалимов. Но это были, как правило, члены ЦК, а не случайные люди. Среди подхалимов можно было бы назвать и часть членов Президиума ЦК, которых продвинул сам Хрущев.

Суслов очень критически высказался далее о разделении партийного руководства по производственному принципу. Эта работа стала началом как бы двух партий — рабочей и крестьянской.

Но в конце 1962 г. эта реформа не встретила возражений на Пленуме ЦК КПСС, ее тогда одобрил и сам Суслов.

Суслов резко критически отозвался о предложениях Хрущева по созданию специализированных управлений в сельском хозяйстве. Записку Хрущева по этому поводу Президиум ЦК отозвал и обсуждение ее отложил.

Хрущев, как сказал Суслов, возомнил себя специалистом во всех областях: в сельском хозяйстве, дипломатии, науке, искусстве — и всех поучал. В ГДР он держался, как в одной из областей СССР, и учил немцев вести сельское хозяйство. Многие материалы, подготовленные аппаратом ЦК, Хрущев публиковал под своим именем.

В первой части этих упреков Суслов, несомненно, прав. Хрущев не страдал недостатком скромности и даже американскому кукурузоводу Р. Гарсту при посещении фермы сделал ряд замечаний, с которыми тот не мог согласиться. Но второй упрек Суслова несправедлив. Многие послания и заявления Хрущева действительно готовил аппарат ЦК, но это прямая обязанность аппарата. Тот же Суслов, выступая на съездах компартий Запада и Востока, произносил речи, подготовленные для него аппаратом ЦК. При этом Хрущев даже в большей мере, чем Суслов, принимал участие в составлении подобного рода речей.

По свидетельству Суслова, рассылая членам Президиума записки, Хрущев требовал письменных заключений, давая для этого иногда лишь 40—45 минут. Никто из членов Президиума не мог составить за столь краткий срок письменных заключений, и заседания Президиума превращались в формальность.

Вероятно, такие случаи имели место, но не как правило, а как исключение. Хрущев не мог лишить членов Президиума ЦК права голоса, хотя бывали ситуации, как, например, в дни карибского кризиса, когда он был вправе требовать от членов Президиума самого быстрого ответа на те или иные предложения.

Суслов заявил, что Хрущев так запутал управление промышленностью, создав госкомитеты, совнархозы, что представляется очень трудным все это распутать. Промышленность сейчас работает хуже, чем при прежних методах управления.

Этот упрек Хрущеву был справедлив, хотя было неправильным делать одного Хрущева ответственным

за плохую работу и за плохое управление промышленностью.

Как заявил Суслов, Хрущев проводил неправильную политику ценообразования. Повышение цен на мясо, молочные продукты, некоторые промтовары ударило по материальному положению рабочих. Неправильную политику вел Хрущев и в отношении животноводства, в результате чего было вырезано много коров и сократилось поступление мяса.

Суслов был прав, обвиняя Хрущева в ошибочной политике в области животноводства. Но если повышение цен на мясо и молочные продукты было ошибочным, то почему новые цены сохранились и после октябрьского Пленума? Почему повышение цен на многие промтовары происходило и в 60—70-е годы?

По свидетельству Суслова, Хрущев был неосторожен в своих выступлениях и беседах.

Хрущев и в самом деле — и в частных беседах с корреспондентами и бизнесменами, и при встречах с главами государств, и с ораторской трибуны — часто говорил не только с необычной, но подчас и с излишней откровенностью. Стенограммы любых бесед Хрущева тщательно выправлялись и затем одновременно публиковались как в зарубежной, так и в советской печати.

Суслов рассказал членам ЦК и о некоторых ошибочных решениях Хрущева в области внешней торговли. Так, например, в рамках совместной договоренности Польша построила авиационный завод для производства самолетов Ан-12, и Советский Союз должен был приобрести 500 таких самолетов. Но Хрущев отказался от покупки, заявив, что мы можем делать такие самолеты дешевле.

По словам Суслова, за 10 лет работы Хрущев не только ни разу не принял министра внешней торговли Патоличева, но ни разу ему не позвонил.

Трудно оценивать эти решения Хрущева, не зная его мотивов. Можно предположить, например, что Польша запросила за самолеты Ан-12 слишком высокую цену, гораздо большую ранее запланированной. Странно, что Хрущев и Патоличев никогда не встречались.

Из примеров самоуправства Хрущева М. А. Суслов остановился на эпизоде с Тимирязевской академией. Узнав, что в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева есть ученые, несогласные

с его сельскохозяйственными рекомендациями, Хрущев решил выселить академию из Москвы, а ее факультеты расселить по глубинке в разных местах. При этом он говорил: «Нечего им пахать по асфальту». Суслов сказал, что члены Президиума ЦК не были согласны с Хрущевым и под разными предлогами оттягивали переселение, создавая различные комиссии.

Эти обвинения совершенно справедливы. Если перевод министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР на базу совхозов «Михайловское» и «Яхрома», расположенных в 100—120 километрах от Москвы, был явно ошибочной мерой, то попытка разрушить Тимирязевскую академию могла служить примером нелепого самоуправства и самодурства.

Суслов подверг критике и многие из аспектов сельскохозяйственной политики Хрущева. Выступая против паров, Хрущев снимал с работы директоров совхозов, которые оставляли в своих хозяйствах чистые пары, не считаясь с их доводами. Он хотел снять и секретаря ЦК КП Казахстана Кунаева, который защищал чистые пары. Хрущев снял с поста министра сельского хозяйства Пысина, не дав никаких разъяснений на этот счет членам Президиума.

В последние годы Хрущев развернул ничем не оправданное наступление против приусадебного хозяйства колхозников. Он даже распорядился уменьшать и урезать приусадебные участки, что вызвало раздражение в деревне, так как отрезанные участки обычно ничем не засевались и зарастали бурьяном. Хрущев предложил Академии наук СССР открыть две вакансии для избрания в академики сторонников Лысенко Н. Нуждина и В. Ремесло. На заседании Академии наук академик А. Д. Сахаров отвел эти кандидатуры. Лысенко выступил в связи с этим с грубой речью и позже сообщил об этом Хрущеву. Хрущев был разгневан и заявил, что если Академия наук будет заниматься политикой, то «мы такую академию разгоним, нам она не нужна». Об этом стало известно в кругах академии. Во многих областях Хрущев предлагал ликвидировать колхозы и создавать совхозы, мотивируя это нерентабельностью колхозов. Между тем, заявил Суслов, колхозы более рентабельны, чем совхозы.

Все эти замечания Суслова совершенно справедливы, и их можно было бы продолжить. Во многих областях и районах личное хозяйство колхозников и рабочих

совхозов деградировало до уровня более низкого, чем уровень 1953 г.

Опускаю далее ряд мелких придирок и замечаний, которые вряд ли следовало упоминать на Пленуме. В заключение Суслов поставил вопрос: «Могли ли раньше призвать Хрущева к порядку? Члены Президиума это делали, предупреждали Хрущева, но, кроме грубого отпора и оскорблений, они ничего от него не слышали». В конце своего доклада Суслов сказал, что смещение Хрущева — проявление не слабости, а смелости и силы, и это должно послужить уроком на будущее.

Во время доклада Суслова члены ЦК нередко выкрикивали реплики, которые были направлены против Хрущева и свидетельствовали о накопившемся раздражении. Когда Суслов сказал, что дело шло к культу Хрущева, из зала выкрикнули: «Он давно культ». После доклада Суслов сказал, что, судя по репликам, Пленум одобряет решение Президиума и поэтому нет необходимости открывать прения. Решение было принято единогласно в следующей формулировке: Н. С. Хрущев освобождается от своих постов в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья. Было принято еще одно решение — не допускать впредь совмещения в одном лице должности Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР.

Избранный Первым секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал в своей краткой речи, что незачем выливать на самих себя грязь. Он рекомендовал на партийных собраниях и совещаниях вопроса об освобождении Хрущева подробно не обсуждать, а на собраниях беспартийных говорить лишь то, что будет опубликовано в газетах.

Один из западных исследователей писал о результатах Пленума ЦК:

«Пленум проголосовал против Хрущева, хотя, безусловно, он имел какую-то поддержку. В некотором смысле это был его лучший час: еще 10 лет назад никто не мог предположить, что преемник Сталина может быть устранен таким простым и мягким методом, как простое голосование».

То же самое сказал и сам Никита Сергеевич. Вернувшись вечером домой, он бросил портфель в угол и сказал:

«Ну вот, теперь я в отставке. Может быть, самое главное из того, что я сделал, заключается в том, что

они смогли меня снять простым голосованием, тогда как Сталин велел бы их всех арестовать».

Аргументы и факты, 1988, № 27

С. Павлов

«НА СМЕНУ ПРИДУТ ДРУГИЕ — СМЕЛЕЕ И ЛУЧШЕ НАС...»

...В 1954 г., спустя год после смерти Сталина, Н. С. Хрущев обратился к молодежи с призывом осваивать целину... И вот ранним-ранним утром (был март, довольно холодно) у райкома * меня встретила огромная, в несколько сот человек, толпа молодежи. Я поразился! Ведь еще только накануне вечером я был в Кремле, где выступал Никита Сергеевич. Его речь транслировалась по радио, газеты еще даже не успели появиться в киосках. А наутро... мы все были «мобилизованы» — работали круглые сутки и, едва справляясь с потоком добровольцев, отбирали ребят на целину. Так появился тогда в Целиноградской области совхоз «Красногвардейский».

Я подробно говорю об этом, чтобы показать, что этот период работы комсомола начинался хорошо, целина буквально вдохнула в его деятельность новую жизнь. Это была настоящая революция: от бумажного хлама мы перешли к реальным делам.

Не все, конечно, складывалось легко и просто. Тяжело было, когда отряды целинников — удивительные, чистые люди! — сталкивались с барством, нежеланием руководителей вникнуть в их элементарнейшие бытовые нужды.

В 1959 г. я, тогда уже первый секретарь ЦК ВЛКСМ, был в совхозе «Красногвардейский», поговорил с парнями и девчатами и понял: многие потеряли веру, в глазах — уныние. Не было самого необходимого — продуктов, мыла, полотенец. А власть, как сейчас помню, представлял там начальник орса — пропитой забулдыга, державший при себе все ключи от складов. Что было делать? Мы тогда действительно мало кого боялись. Я сам взламывал склады, и в них было все — рис, другие крупы, макароны.

* В то время С. П. Павлов был первым секретарем Красногвардейского райкома ВЛКСМ города Москвы.

Такое отношение к добровольцам было не только в «Красногвардейском». Решили собрать пленум ЦК ЛКСМ Казахстана. В то время первым секретарем ЦК Компартии республики был Беляев — типичный продукт сталинской эпохи: жесткий, амбициозный, не терпящий возражений. В его огромном кабинете, придя туда на прием, я пытался доказать ему, что хлеб и забота о людях неразделимы, что надо помочь людям,— он же смотрел мимо меня, давая понять, что терпит мое присутствие вынужденно. Это тоже атмосфера тех лет. «Оттепель» не сразу изгоняла с постов беляевых и им подобных.

Но это все же была «оттепель». Общественная атмосфера в стране после смерти Сталина быстро изменилась. Думаю, кстати, что 50-е годы еще не до конца осмыслены с точки зрения значимости их для истории страны. Мне кажется, именно благодаря 50-м, благодаря феномену XX съезда партии оказалась возможной и нынешняя перестройка.

Разоблачение и расстрел Берии, руки которого обагрены кровью тысяч и тысяч людей, сняли напряжение не только с руководства страны, но и со всего народа. Не устрани Хрущев в июне 1953 г. Берию, его собственное пребывание в должности Первого секретаря ЦК могло оказаться очень кратковременным. Берия держал в руках все ключи, чтобы захватить власть в стране. Тогда это был, к сожалению, реальный фактор. Помню, когда в партийных и комсомольских организациях обсуждалось письмо ЦК партии о преступлениях Берии перед народом, я отчетливо понял, от какой скверны мы освободились. Этот фактор работал на раскрепощение. Стал проходить страх, люди перестали бояться открыто говорить.

Жить, когда в любую минуту могут постучаться к тебе домой и забрать...— это ужасно! Я ничего не преувеличиваю. Уводили родных у многих моих друзей детства. В тридцать седьмом арестовали отца у меня самого. Он был скромным экономистом в горкомхозе и страшно любил музыку, руководил хором. Хор был известен в нашем небольшом Ржеве — выступал и в Москве, и в Ленинграде. А жена начальника Ржевского НКВД пела в хоре льнозавода, который отнюдь не гремел.

— Слушай, убери ты этого, он мешает нам,— сказала она своему мужу.

Отца арестовали, обвинив в том, что тот мальчишкой пел в церковном хоре.

Непросто было освободиться от удушающей атмосферы страха. Партия тогда смогла дать людям веру, что подобного больше не повторится. И быть может, поэтому, избавившись от тяжелейшего наследия сталинской эпохи, руководителям страны искренне захотелось как можно скорее подарить народу ту жизнь, о которой мечтали, ради которой и совершали в 1917 году Октябрьскую революцию. Отсюда — известное забегание вперед, положение принятой XXII съездом партии Программы КПСС о том, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.

Я уверен, что о Никите Сергеевиче Хрущеве еще скажут добрые слова, которых он заслуживает.

Нам, тогдашним членам Бюро ЦК ВЛКСМ, удивительно легко работалось с ним, кроме, пожалуй, одного-двух последних лет. Он был очень интересным человеком, интересным руководителем. При всех своих недостатках, опять-таки пришедших к нему из сталинских времен,— слабости на лесть и восхваление, единовластии — он был очень мужественным и конкретным человеком, искренне стремился изменить жизнь людей к лучшему. Прежде всего он беззаветно любил свой народ и свою партию, был предан нашим идеям.

Я никогда больше не видел более яростного разоблачителя культа личности Сталина, чем Хрущев. В разных ситуациях, в разных аудиториях очень часто, очень доказательно и предметно он говорил не просто о Сталине, но о том, что стоит за культом личности, о той бездне проблем, которую породил культ.

Н. С. Хрущев с большим уважением относился к комсомолу. Трудно назвать Пленум ЦК партии или какое-нибудь идеологическое совещание (последние довольно часто проводились в то время), где бы он прямо не обратился к комсомолу. Он, не скрою, и критиковал нас, но чаще обращения носили форму призыва, надежды, которую он возлагал на молодежь — шла ли речь о развитии химии, профтехобразования или о чем-либо еще. Когда мы приходили к нему с чем-то, то он к этому относился очень внимательно, был удивительно отзывчив на все наши инициативы.

На одном совещании мы очень предметно покрити-

ковали тогдашнего председателя Госпрофобра страны Зеленко. Тут же, во время перерыва, Хрущев поручил Козлову, второму секретарю ЦК партии, внести соответствующий вопрос на Секретариат. И когда вопрос там был рассмотрен, выяснилось: Зеленко, помимо того, что был плохим руководителем, консерватором, рутинером, оказался и крупным взяточником. В Армении, например, ему подарили глобус из чистого золота — весьма приличных размеров и к тому же украшенный драгоценными камнями.

Вернусь, впрочем, к комсомольским проблемам. Мне думается, заслуга партии, ее руководства тех лет состоит и в том, что комсомол в 50-х и начале 60-х годов все время искал что-то конкретное, реально помогал стране. Без преувеличения скажу, что с комсомолом считались. И в Москве, и на местах знали, что Никита Сергеевич Хрущев систематически организует встречи партийно-государственного руководства с представителями ЦК ВЛКСМ. Тогда же зародился и стал набирать силу «Комсомольский прожектор».

«Комсомольский прожектор» действовал поначалу активно, выявил множество болячек. Но с самой главной, как я считаю, нашей болезнью — ведомственностью — «КП» в наше время не справился. Ведомственность же, на мой взгляд, гораздо страшнее местничества. Мало того, что она обескровила нашу экономику, она способствовала порождению сотен Тит Титычей — сановников, бюрократов, которые, сатанея в своих ведомственных пристрастиях, совершенно не думают о государственных интересах.

Не знаю, надо ли об этом (вроде бы напрямую к комсомолу не относится), но хочу вспомнить еще один эпизод. Он, как мне кажется, добавляет какие-то штрихи к портрету Никиты Сергеевича. Ведь при всем том, что одной ногой Хрущев стоял в уже ушедшей эпохе — был привержен административно-командным методам руководства, единовластию, однако, если он понимал, что в споре прав его оппонент, он соглашался, действовал так, как ему подсказывали...

Хрущев, помню, поддержал повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», и книга была выдвинута на соискание Ленинской премии. Я, будучи первым секретарем ЦК комсомола, входил в Комитет по Ленинским премиям. Не хочу говорить о литературных достоинствах книги, но показалась нелепой сама мысль при-

судить премию имени Ленина за книгу, в которой рассказывалось о подробностях лагерного быта. С этим тезисом я и выступил на заседании комитета. Меня поддержал только космонавт Герман Титов. Но проблема была все-таки поднята, начались дебаты.

В. Е. Семичастный, в то время председатель КГБ СССР и мой предшественник на посту первого секретаря ЦК ВЛКСМ, узнав о моем выступлении, вечером того же дня позвонил мне:

— Завтра тебе будет еще труднее: защитники Солженицына готовятся к атаке. Я пришлю тебе его следственное дело тех лет.

...Кандидатуру сняли с обсуждения, хотя уже и в «Правде», и в «Известиях» были опубликованы статьи, рекламирующие и «Один день Ивана Денисовича», и самого Солженицына как безусловного претендента на Ленинскую премию.

Хрущев все это понял, принял и, по-моему, не обиделся, по крайней мере никаких изменений в его отношении ко мне я не почувствовал.

На октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК партии Н. С. Хрущева освободили от обязанностей Первого секретаря ЦК. Сейчас иногда в печати это событие трактуется как «дворцовый переворот». Меня, свидетеля тех лет, участника октябрьского Пленума, часто спрашивают, чувствовалось ли тогда в обществе, что произошло нечто аномальное, тревожное, неправильное, думали ли мы, что 1964 год — начало другого, застойного периода нашей истории.

Нет, мы верили, что решение было своевременным и даст начало лучшей жизни.

Никита Сергеевич последние год-два стал резко регрессировать, он уже не вникал в суть проблем, очень устал... Часто собственные же суждения менялись у него на диаметрально противоположные: ведет, например, заседание, начинает говорить одно, потом совершенно другое.

Нацелился вдруг на науку и на одном из последних пленумов, не дойдя даже до трибуны, мог на ходу во всеуслышание бросить президенту Академии наук СССР:

— А с вами, товарищ Келдыш, мы еще разберемся. Развели, понимаешь... Прожираете страну! — Причем без всякой аргументации, без анализа...

Готовилась очередная реформа школы, и я пытался

доказать, что нам необходимо как-то пересмотреть систему оценки знаний учащихся, убедить, что институт второгодников — негодная практика: во многих странах этого нет, на это уходят колоссальные деньги! Он же понял по-своему:

— Ты правильно говоришь! Надо их к чертовой матери из школы гнать и пусть идут на животноводческие фермы.

Началась кукурузная лихорадка, ударили по личному подсобному хозяйству, которое давало в то время стране 60 процентов молока и мяса.

Никита Сергеевич уже не терпел каких-то полутонов, компромиссов. Это сказывалось и на внешней политике СССР. Поэтому его уход, повторюсь, был закономерным.

Спрашивают также, проявил ли себя тогда Л. И. Брежнев истинным лидером, не было ли альтернативы его избранию вместо Н. С. Хрущева.

В то время Брежнев был прежде всего скромным человеком. И первое время все вроде бы шло нормально: люди вздохнули с облегчением. К сожалению, длилось это недолго.

Леонид Ильич слишком быстро повернул в сторону... я бы сказал, показушного фактора. Его поездки, выступления были уже совсем не те, что раньше. А потом это бесконечное вешание орденов, медалей...

Возможно, кто-то из вас скажет: «Ну вот, пришел, нахвастался, какие они хорошие были. Но что же они головы склонили, что же допустили застойные явления?»

Нет, мы не склоняли голов, мы все время пытались что-то сделать, но, каюсь, пороху для того, чтобы встать на Пленуме ЦК партии — я и еще два секретаря ЦК ВЛКСМ входили тогда в состав ЦК КПСС — и сказать все то, о чем мы говорили между собой, чем мучились, не хватило...

Знаете, в чем наша трагедия, в чем, исключая, конечно, человеческие жертвы (это особая статья), самые страшные последствия культа? На мой взгляд, в том, что в нас убили смелость. Мы боимся сказать «белое», когда видим белое, и «черное» — когда видим черное. Я думаю, потребуются годы, чтобы люди до конца раскрепостились.

Но мы не потеряли главного — веру в социализм, веру в коллективизм, в человека, в духовные ценности.

А вам — идти дальше. Как поется в песне? «На смену придут другие — смелее и лучше нас...»

Комсомольская жизнь, 1988, № 17

Н. Месяцев

«НАДО ЕГО СДЕРЖИВАТЬ»

В один прекрасный момент, это было в 1960 г., вызывают в ЦК партии и предлагают поехать советником посланника (второе лицо после посла) в Китай — в это время уже наметились наши разногласия с КНР. Занимался я там в основном идейно-теоретическими вопросами, связанными с нашими и китайскими позициями. Это была аналитическая работа. Думаю, что тогда две крупные личности столкнулись — Хрущев и Мао Цзэдун. Можно было вести дела более спокойно и на более принципиальной основе, проявить выдержку и постепенно устранить противоречия. Года через два вызвал меня Ю. В. Андропов, он был секретарем ЦК — заведующим Отделом ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, и предложил работать в отделе его заместителем. С Андроповым прекрасно работалось: это был по-настоящему интеллигентный, большой души человек. Главным для него было дело, все личное отодвигал в сторону. Доверял людям и учил. «Мы с тобой — последняя инстанция,— говорил.— Если приходит какой-то вопрос в ЦК, ты прежде всего расшатывай его. Если этот вопрос качается, отложи в сторону, подумай еще. Мы должны выносить в ЦК КПСС только те вопросы, которые отвечают интересам страны, народа». Он уже тогда прибаливал. Садимся обедать, он в горсть лекарства — и в рот. «Юрий Владимирович, подлечиться бы надо». Но ему было недосуг.

Так я проработал до октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК. Еще шло заседание Президиума ЦК, где решался вопрос об освобождении Хрущева, а я уже начал работать в Госкомитете по радиовещанию и телевидению. Сидел и думал: «Кто победит? Если останется Хрущев — голова с плеч».

В комитет ночью привез меня Ильичев, секретарь ЦК, собрал коллегию, представил. Я на коллегии объяснил, чем вызван мой приход, хотя Президиум еще шел

и Пленум не начинался. Сказал: кто хочет со мной работать с учетом новой ситуации, прошу поддержки. Кто не хочет, тоже прошу сказать — все будет нормально. Поддержали. Кроме одного. К тому времени многие уже понимали, что Хрущев допускает серьезные ошибки. Да и его отношения с товарищами по работе были, очевидно, не из лучших. Я незадолго до октябрьского Пленума был свидетелем, когда он давал характеристики членам Президиума ЦК в беседе с руководством Партии трудящихся Вьетнама. Это были убийственные, нетоварищеские высказывания. Я сидел и думал: «Как же так, как же вы вместе работаете? Какие же взаимоотношения между вами? Это безнравственно!» Были у него, безусловно, и светлые стороны. Меня Хрущев поражал своим динамизмом. Рада Никитична, дочь Н. С. Хрущева, человек добрый и скромный, говорила: «Надо отца сдерживать. Ему же все время нужно что-нибудь перестраивать. Он даже на даче каждое воскресенье стол письменный ставит на новое место». Хрущев велик и смел в акте развенчания культа Сталина. Но не удержался он от властолюбия, от того, чтобы в чем-то не повторить Сталина. Он не довел до конца развенчание культа. А если бы довел, то многое в стране пошло бы по-другому.

На XX съезде партии я был в качестве приглашенного (все секретари ЦК ВЛКСМ были приглашены). Мы не знали, что будет доклад Н. С. Хрущева. И когда он начал его произносить, в зале установилась гробовая тишина. Ощущение такое, что каждый из присутствующих как-то самоуглубился и сам разбирался в себе. Это было потрясение. С этого заседания я вышел ошарашенный, разбитый.

Я не мог вообразить тех чудовищных злодеяний, которые были совершены Сталиным и его окружением.

Да, была тогда травля Пастернака. Андрей Вознесенский до сих пор вспоминает гнев Хрущева. Но мне неизвестно такое, что говорило бы о системе. В этом смысле напраслину возводить не стоит. Отдельные факты были. Наиболее яркий — выступление первого секретаря ЦК ВЛКСМ В. Е. Семичастного на торжественном пленуме ЦК, посвященном 40-летию комсомола. За три часа до начала пленума он говорит мне взволнованно: «Слушай, сейчас позвонил Никита Сергеевич, сделал задиктовку по поводу Пастернака, просит включить в доклад. Заходи, посидим, подумаем». Захожу, читаю.

Там такая брань, и если ее воспроизвести, то это будет свидетельствовать, что Семичастный и иже с ним другие секретари — малокультурные, малообразованные люди. Памятуя о вспыльчивости Хрущева, решили откорректировать текст. Но вместе с тем мы знали, что у Хрущева хорошая память, он мог исправления заметить, но решились все-таки взять на себя смелость. Сделали мягче, если хотите — в пределах возможного. После доклада мы внимательно наблюдали за Хрущевым, но он не обратил внимания, а может, сам уже немного отошел. Конечно, комсомол зря взял на себя миссию критики Пастернака, этого не стоило делать — и не только ради того, чтобы не разрушать тех прекрасных отношений, которые установились с творческой интеллигенцией, а ради правды.

Так вот, возвращаясь в 1964 год, в октябрьские дни. Я «сел» на радиокомитет, Владимир Степаков, заведующий отделом пропаганды,— на газету «Известия», Лев Толкунов — на газету «Правда». Утром я домой не поехал (три дня не ездил домой, работал в комитете), и когда закончился Пленум, принесли подписанное Президиумом решение об утверждении меня председателем комитета...

Комсомольская жизнь, 1988, № 18

Ф. Бурлацкий

«МИРНЫЙ ЗАГОВОР» ПРОТИВ ХРУЩЕВА

Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву, с его смелостью, склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой перемен. Можно было бы считать загадкой, почему Хрущев так покровительствовал человеку противоположного склада души и темперамента, если бы меньше знали Никиту Сергеевича. Как личность авторитарная, не склонная делить власть и влияние с другими людьми, он больше всего окружал себя такими руководителями, которые в рот ему глядели, поддакивали и с готовностью выполняли любое его поручение. Ему не нужны были соратники, а тем более вожди. Он довольно нахлебался с ними после смерти Сталина, когда Маленков, Молотов, Каганович пытались изгнать его с политического Олимпа, а быть может, и

сгноить где-то в Тмутаракани. Такие, как Брежнев, Подгорный, Кириченко, Шелест, были послушными исполнителями его воли, «подручными», как назвал, кстати говоря, Хрущев не без едкого юмора представителей печати. Правда, когда дело дошло до сакраментального вопроса «кто — кого?», именно эти «подручные» быстро перебежали на другую сторону... Ибо в политике не бывает любви — здесь превалируют интересы власти.

...Не все знают, наверное, что свержение Хрущева готовил не Брежнев. Многие полагают, что это сделал М. А. Суслов. На самом деле его осуществила группа во главе с А. Н. Шелепиным. Собирались они в самых неожиданных местах, чаще всего на стадионе во время футбольных состязаний. И там сговаривались. Особая роль отводилась Семичастному, руководителю КГБ, рекомендованному на этот пост Шелепиным. Его задача заключалась в том, чтобы сменить охрану Хрущева. И действительно, когда Хрущева вызвали на заседание Президиума ЦК КПСС из Пицунды, где он отдыхал в это время с Микояном, он увидел, войдя в самолет, новую, не свою охрану. Хрущев, видимо, сразу понял, что к чему, и безуспешно пытался уговорить летчика посадить самолет в Киеве.

До сих пор неясно, когда Шелепин вступил в столь рискованный сговор с Сусловым и Брежневым. Известно только, что дело происходило именно в такой последовательности: сначала — с первым, потом — со вторым. Известно также, что непосредственным поводом для заседания Президиума ЦК было выступление зятя Хрущева Аджубея в Западном Берлине, где он легкомысленно сказал о том, что нам ничего не стоит пойти на объединение двух Германий. Руководители ГДР немедленно выразили свое возмущение советским коллегам, и это послужило той искрой, которая воспламенила пожар.

...Успех «мирного заговора» против Хрущева оказался удачным по двум причинам. Первая — он сам в последние годы правления одну за другой подрубал все ветви того дерева, на котором зиждилась его власть. Другая причина — Шелепин.

Хрущев, кажется, ни к кому не относился с таким доверием и никого не поднимал так быстро по партийной и государственной лестнице, как этого деятеля. За короткий срок Шелепин из рядовых членов ЦК стал

членом Президиума, председателем Комитета партийно-государственного контроля, секретарем ЦК... Поистине верно говорится: избавь нас, боже, от наших друзей, а с врагами мы как-нибудь сами справимся...

Шелепин, однако, жестоко просчитался. Он плохо знал нашу историю, хотя кончил ИФЛИ *. Он был убежден, что Брежнев — фигура промежуточная, временная и ему ничего не будет стоить, сокрушив такого гиганта, как Хрущев, справиться с человеком, который был всего лишь его слабой тенью.

Надо заметить, что действительно всей своей карьерой Брежнев был обязан именно Хрущеву. Он закончил землеустроительный техникум в Курске и только в двадцатипятилетнем возрасте вступил в партию. Затем, окончив институт, он начинает политическую карьеру. В мае 1937 г. (!) Брежнев становится заместителем председателя исполкома горсовета Днепродзержинска, а черед год оказывается в обкоме партии в Днепропетровске. Трудно сказать, споспешествовал ли Хрущев этим первым шагам Брежнева, но вся его последующая карьера происходит при самой активной поддержке тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Украины, а потом и секретаря ЦК ВКП(б). Когда Брежнев был направлен на должность первого секретаря ЦК Компартии Молдавии, он привел туда много своих друзей из Днепропетровска, здесь же обрел в качестве ближайшего сотрудника тогдашнего заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии республики К. У. Черненко.

После XIX съезда партии Брежнев становится кандидатом в члены Президиума ЦК, после смерти Сталина оказывается в Главном политическом управлении Советской Армии и ВМФ. Чем больше укреплялся Хрущев, тем выше поднимались акции Брежнева. К октябрьскому Пленуму 1964 г. он — второй секретарь ЦК. Таким образом, Хрущев собственными руками соорудил пьедестал для преемника.

Впрочем, Брежнев не стал расправляться со своим прежним покровителем. Хрущев создал прецедент на июньском Пленуме ЦК КПСС 1957 г. Рассказывают, что после позорного поражения сталинской гвардии ему позвонил Каганович, который на протяжении многих

* Институт философии, литературы и истории.

лет покровительствовал Хрущеву, и спросил: «Никита, что с нами будет?» Хрущев ответил ему вопросом на вопрос: «А что бы вы сделали, если бы ваша взяла? Сгноили бы меня в тюрьме, расстреляли?» На это Каганович как-то неопределенно хмыкнул. Тогда Хрущев сказал: «А я вам скажу просто: идите вы все... знаете куда...»

Так был осуществлен великий переход от периода отстрела поверженных политических соперников до их отстранения и изгнания. Брежнев использовал этот прецедент. Он не стал расправляться с Хрущевым, а попросту отправил его в опалу, как отправляли 200 лет назад,— доживать век на подмосковной даче под хорошим присмотром.

В октябре 1964 г. в составе группы двух международных отделов ЦК я находился на загородной даче. По прямому поручению Хрущева мы готовили один из важных документов, касающихся внешней политики. Нас очень торопили. Секретари ЦК по нескольку раз в день справлялись, в каком состоянии находилось дело. Накачивая себя кофе и другими «лекарствами», мы мучительно вынашивали очередную «бумагу». Вдруг телефон затих. Никто не звонит. Проходит день. Начинается другой — ни звука. Тогда один мой старый друг говорит мне: «Съездил бы ты в Москву, узнал, что там происходит, подозрительная какая-то тишина».

Приехал я на Старую площадь. Зашел на работу и первое, что почувствовал,— именно подозрительную тишину. В коридорах — никого, как метлой вымело. Заглядываю в кабинеты — сидят по двое, по трое, шушукаются. Но вот встретил одного человека — помнится, заведующего сектором Чехословакии. Суетливый такой мальчик, из бывших комсомольских работников. Он говорит мне: «Сидите, пишете! Писаки! А люди вон уже власть берут!» Наконец узнаю, в чем дело. Второй день идет заседание Президиума ЦК... Выступают все члены руководства. Критикуют Хрущева. Предлагают уйти «по собственному желанию». Правда, пронесся слух, будто кто-то хотел оставить его Председателем Совета Министров СССР. Однако то ли не прошел вариант, то ли слух был неверен, но на октябрьском Пленуме 1964 г. было решено принять заявление об уходе «по собственному желанию»...

После Пленума Андропов — руководитель отдела, в котором я работал,— выступил перед сотрудниками и рассказал подробности. Помню отчетливо главную его мысль: «Теперь мы пойдем более последовательно и твердо по пути XX съезда». Правда, тут же меня поразил упрек, первый за много лет совместной работы, адресованный лично мне: «Сейчас ты понимаешь, почему в «Правде» не прошла твоя статья?»

А статья, собственно, не моя, а редакционная, подготовленная мной, полосная, называлась так: «Культ личности Сталина и его наследники». Была она одобрена лично Хрущевым. На протяжении нескольких месяцев ее не печатали. Почему? Уже после октябрьского Пленума стало ясно, что ее задерживали специально.

...Самая драматическая проблема — и это выяснилось очень скоро — состояла в том, что Брежнев был совершенно не подготовлен к той роли, которая неожиданно выпала на его долю. Он стал первым секретарем ЦК партии в результате сложного, многопланового и даже странного симбиоза сил. Здесь перемешалось все: и недовольство пренебрежительным отношением Хрущева к своим коллегам; и опасения по поводу необузданных крайностей его политики, авантюрных действий, которые сыграли роль в эскалации карибского кризиса; иллюзии по поводу «личностного характера» конфликта с Китаем; и в особенности — раздражение консервативной части аппарата управления постоянной нестабильностью, тряской, переменами, реформами, которые невозможно было предвидеть. Не последнюю роль сыграла и борьба различных поколений руководителей: поколения 1937 г., к которому принадлежали Брежнев, Суслов, Косыгин, и послевоенного поколения, в числе которого были Шелепин, Воронов, Полянский, Андропов. Брежнев оказался в центре, на пересечении всех этих дорог. Поэтому именно он на первом этапе устраивал почти всех. И уж во всяком случае не вызывал протеста. Сама его некомпетентность была благом: она открывала широкие возможности для работников аппарата. В дураках оказался лишь Шелепин, полагавший себя самым умным. Он не продвинулся ни на шаг в своей карьере, так как не только Брежнев, но и Суслов, и другие руководители разгадали его авторитарные амбиции.

Литературная газета, 1988, № 37

Г. Воронов

ОТ «ОТТЕПЕЛИ» ДО ЗАСТОЯ

Из беседы персонального пенсионера, бывшего члена Политбюро ЦК КПСС с корреспондентом «Известий» Р. Лыневым

Дача Совмина в Петрово-Дальнем. Собеседнику около 80 лет. Он много читает, внимательно следит за событиями, заинтересованно их обсуждает. Но наш разговор с Г. И. Вороновым о минувших днях. И ведем мы его с двух точек зрения: моей, рядового гражданина,— как мне все представлялось и виделось «снизу», и его, одной из ключевых фигур в руководстве партии и страны в те годы,— как он оценивал события тогда? Как оценивает их сейчас?

Начать разговор мне хотелось прямо с октябрьского Пленума ЦК партии в 1964 г., когда Н. С. Хрущев был освобожден от всех занимаемых им должностей. Но собеседник предпочел начать с общей оценки десятилетней «оттепели».

— То десятилетие, я убежден, еще ждет объективных исследований, анализа, в результате которых, во-первых, надо выделить главное в тот период. Главным я считаю разоблачение культа личности, его преступлений, освобождение миллионов людей, утверждение в стране новой атмосферы — более свободной, демократической; победу над мощной просталинской группой Молотова, Маленкова, Кагановича. Во-вторых, надо четко отделить достижения этого периода от ошибок, перегибов. Надо, например, ясно сказать, что если кто и хотел насадить кукурузу вплоть до Белого моря, так это бездумные исполнители либо карьеристы. Серьезные же люди как начали ее культивировать, скажем, в Красноярском крае, так и сейчас от нее не откажутся, поскольку она составляет основу кормовой базы. Или возьмите «хрущебы», тоже давшие немало поводов для анекдотов. Смеяться, право, не грешно, но правда в том, что благодаря именно панельным пятиэтажкам удалось впервые по-настоящему широко приступить к решению жилищной проблемы: выселить миллионы людей из подвалов, коммуналок, бараков. Можно критиковать с сегодняшних позиций идею совнархозов, но не надо забывать, что тогда именно совнархозы помогли ограничить все-

властие министерств и ведомств, разбудить хозяйственную инициативу на местах.

— В-третьих,— продолжает собеседник,— надо разобраться в причинах ошибок, отделив субъективные, в которых виноват лично Хрущев, от объективных. И тут надо признать, что при всем природном уме и энергии Хрущеву недоставало подлинной культуры, широты кругозора, необходимых, чтобы быть лидером такого государства, как наше. Понимая это, Хрущев как раз и старался шире опереться на окружение, но кому и в чем стоит доверять, а кому нет, разбирался не всегда. Именно здесь надо искать, по-моему, причину его покоробивших многих оценок и установок, например, в области литературы и искусства. Не говоря уже о сельском хозяйстве. Вообще я бы выделил три парадокса, которыми отмечен тот период. Первый: люди, подводившие Хрущева к самым непопулярным решениям, голосовавшие за них, в итоге оставались в тени, в то время как общественная антипатия досталась в полной мере Хрущеву-лидеру. Второй парадокс в том, что, утверждая новаторский дух, Хрущев все чаще опирался не на тех, кто с ним спорил, а на тех, кто ему поддакивал. Третий же парадокс — именно они, эти люди, впоследствии наиболее беспощадно обвинили его в ошибках, волюнтаризме.

— Вы имеете в виду оценки, данные на октябрьском Пленуме 1964 г.?

— И их, и последующее преувеличение ошибок Хрущева, и вместе с тем перечеркивание, отрицание того главного, позитивного, что он сделал. Сегодня пора восстановить правду.

— Восстановить. Но не значит ли это, во-первых, для вас лично внести коррективы в собственные прежние оценки? А во-вторых, раз правду приходится восстанавливать, не значит ли это, что тогда, в шестьдесят четвертом, с нею обстояло уже не так, как на XX съезде, где доклад Н. С. Хрущева прозвучал как очистительная гроза. А вот в его докладе на сессии Верховного Совета СССР летом 1964 г., за несколько месяцев до снятия, говорилось такое: за две последние пятилетки производство зерна возросло на 77 процентов, мяса — более чем в два раза, молока — на 76 процетов, масла — на 82 процента.

Не знаю, как упоминание этих цифр воспринималось ближайшими соратниками Н. С. Хрущева, а у многих

рядовых людей они вызывали раздражение: лишь минувшей осенью людям в ряде городов пришлось впервые за многие годы вспомнить, что такое талоны на хлеб, и встать за ним в длинные очереди. Тогда же впервые закупили зерно за рубежом.

Мясо с молоком? Но ведь цены на них были чуть раньше значительно повышены. И вместе с тем в городе и на селе было запрещено держать домашний скот. Кто же в народе не видел этой правды? И кто поддерживал подобный ход дел? Что ни говорите, а это снизило авторитет Н. С. Хрущева, так что его смещение было воспринято многими рядовыми людьми как финал вполне закономерный.

— Сказанное вами — тоже не вся правда,— горячо возражает Г. Воронов.— Трудности с хлебом, возникшие осенью 1963 г., носили временный, разовый характер. Они были вызваны неурожаем. И закупка зерна носила разовый характер — мы купили 12 миллионов тонн. По сравнению с закупками, ставшими вскоре хроническим явлением, это мало.

Что касается повышения цен на молоко и мясо, то и оно вводилось временно и с условием, что средства, поступившие в бюджет, будут направлены на подъем животноводства. Убежден — это дало бы результат. Но беда в том, что громадные средства — это уже после Хрущева — пошли на иные цели, где были загублены.

В сведении скота из личных хозяйств сказалась не столько уверенность в быстром подъеме общественного животноводства, сколько желание руководителей на местах отличиться в глазах руководства. Но я повторю: даже явные ошибки Н. С. Хрущева весят гораздо меньше того главного, что он сделал.

— *Мне по-прежнему трудно отделаться от вопроса: что руководству ТОГДА мешало объективно оценить роль Хрущева или, во всяком случае, избежать многих несуразностей? Официально было сказано, что Хрущев освобожден в связи с ухудшением здоровья и уходом на пенсию, но многие помнят: все последние месяцы, вплоть до смещения, Хрущев был активен, деятелен, много времени проводил в поездках по стране и за рубежом, постоянно выступал.*

В апреле, за полгода до снятия, поздравляя Хрущева с 70-летием, его соратники, в том числе и мой собеседник, выражали надежду, что им прожита только половина жизни, и желали «прожить по меньшей мере еще

столько же и столь же блистательно и плодотворно». В другом приветственном документе отмечалось, что под руководством Н. С. Хрущева партия обеспечила невиданное усиление экономического, оборонного и идейно-политического могущества нашей Родины и добилась крупных успехов в повышении благосостояния народа. Л. И. Брежнев по этому поводу вручил юбиляру четвертую Золотую Звезду и трижды расцеловал.

Все это происходило в разгар тайно готовящегося, как теперь пишут, заговора против Н. С. Хрущева.

Понимая, что собеседнику досадно вспоминать обо всем этом, я тем не менее снова прошу:

— *Расскажите, как было дело. Вы же были в курсе.*

— Все это готовилось примерно с год. Нити вели в Завидово, где Брежнев обычно охотился. Сам Брежнев в списке членов ЦК ставил против каждой фамилии «плюсы» (кто готов поддержать его в борьбе против Хрущева) и «минусы». Каждого индивидуально обрабатывали.

— *Вас тоже?*

— Да. Целую ночь.

Как о ключевой фигуре тех событий сейчас говорят и пишут о Суслове. Он заслуживает, думается, отдельного разговора. Надо понять, почему идеологом партии столько лет был этот человек. Взять его речи на трех партийных съездах: на XIX, где он славословил Сталина, на XXII, где превозносил Хрущева, и на XXVI, когда в зените власти был Брежнев. Главное в позиции Суслова — готовность следовать за тем, кто сильнее в данный момент. Вот и тогда, в 1964 г., готовый текст доклада ему вручили перед Пленумом. Главному идеологу оставалось лишь зачитать его. Что он и сделал. В числе обвинений в адрес Хрущева было и такое: выезжая на места, он все чаще, обходя партийное руководство, обращался по хозяйственным вопросам напрямую к руководителям Советов. Все обвинения легли, что называется, в строку. Сегодня понимаешь: целью смещения Хрущева было не исправление ошибок, не более точное следование курсу XX съезда, а захват власти, чтобы свернуть с этого курса. Что проявилось уже вскоре в небольшой вроде бы детали: у Кремлевской стены установлен бюст Сталина.

Ф. Бурлацкий, желая подчеркнуть внешнюю сдержанность нового правления на первых порах, отмечает, что в докладе Брежнева, посвященном 20-летию Победы

в Великой Отечественной войне, имя Сталина было упомянуто всего один раз. Это верно. Но верно и то, что зал встретил это упоминание овацией.

Некоторые авторы сегодня пишут, что «мотором» заговора были Шелепин с Семичастным. Это не так. К Шелепину, не претендовавшему на власть, и к Семичастному тогдашние «старшие товарищи» относились снисходительно, как к вчерашним комсомольцам. Что же касается Хрущева, то он с самого начала Пленума сдался. Сел в стороне от президиума и ни слова не сказал в свою защиту. Поэтому даже его сторонники не попытались его защищать. Лишь А. И. Микоян предложил оставить за Хрущевым хотя бы один пост: главы партии или правительства, но его не поддержали.

— Тогда ведь истина проходила лишь в одном — единогласном варианте. И наоборот — лишь единогласие считалось истиной. Ну а главный урок тех событий — в чем он?

— Мотивы у участников Пленума были разные, а ошибка общая: вместо того чтобы исправить ошибки одной яркой личности, стоявшей во главе партии, мы сделали ставку на другую личность, куда менее яркую. Подобные ошибки неизбежны, когда нет механизма критики руководства, исправления его ошибок, а когда надо, его замены.

Беда в том, что опыт, навыки демократии тогда еще были очень слабы. Пытаясь преодолеть груз прошлого, Хрущев и мы, люди его окружения, были в значительной мере продуктом этого прошлого и не позаботились, чтобы, расширив рамки демократии, включить в процесс преобразований народ.

За этот половинчатый демократизм, не закрепленный к тому же никакими политическими гарантиями, всем нам, в том числе и Хрущеву, пришлось поплатиться. Будем объективны: в первое время многим пришлась по душе сдержанность руководства, пришедшего на смену Хрущеву. Хотелось верить: раз стало меньше слов, значит, последует больше дел. Да и дела шли не так уж плохо: начались эксперименты в экономике, принесла плоды политика разрядки, но в целом-то поезд уже тормозил...

Беседа завершилась. Подумалось: как читатель воспримет откровения бывшего члена руководства? Откровения — вполне понятно — не беспристрастные. Кто-то,

возможно, найдет в них ответы на свои вопросы и удовлетворится. Кто-то, напротив, будет разочарован и рассудит, что Кунаев, Романов или Гришин, дай им слово, тоже постарались бы, осторожно признав ошибки прошлого, обвинить в этих ошибках других.

Но вот вопрос: почему подобные, через годы вскрываемые ошибки повторяются снова? Не потому ли, что их вскрытие не касается главного — командно-административной системы, позволяющей править народом и принимать важные решения от его имени, без его, народа, участия, не считаясь с ним, с его интересами.

Сегодня, приступая к переустройству политической системы, мы должны понять — это единственный способ избежать тех бесчисленных ошибок, которые нас десятилетиями преследуют. При этом стоит учесть наш общий опыт как достижений, так и утрат, потерь на пути к реальной демократии.

Известия, 1988, 17 ноября

С. Хрущев

ПЕНСИОНЕР СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предлагаемые вниманию читателя дневники Сергея Никитича Хрущева написаны во второй половине 60-х годов. В этом, кстати, их особая ценность. Ведь мемуары, написанные сегодня, неизбежно носили бы отпечаток нынешнего состояния общественной мысли. Дневники эти писались, что называется, в письменный стол: они никак не могли быть рассчитаны на публикацию. В те времена вообще вспоминать в печати можно было только то, что шло в одном русле со взглядами М. А. Суслова относительно дозировки правды, умолчания и прямого вымысла в скудном рационе питания нашей исторической науки и читательского интереса. Читатель может не сомневаться в личной честности и искренности автора дневников, что, естественно, не снимает необходимости учитывать субъективное видение. Сообщаемые факты, на мой, опять же субъективный, взгляд, не подлежат сомнению. Их истолкование — дело каждого, кто прочтет этот материал, приобретающий значение исторического источника. Именно фактами он, собственно, и ценен.

Могу себе представить, как нелегко было С. Н. Хрущеву передать для публикации этот почти детективный рассказ об одном из моментов нашей недавней истории, ставшим в большой мере поворотным. Перед читателем предстанут в том числе и мелкие люди, мелкие страстишки, повлиявшие на ход преобразований, которые могли бы стать необратимыми.

Волею случая оказаться в центре событий, сыграть в них какую-то, пусть посредническую роль, с изумлением убедиться в наивности тех, кто проявил мудрость и высокую гражданственность в важнейших политических вопросах, лицезреть победу интриги над идеалами (и в то же время понимать ошибки, обусловившие такую победу) — все это не могло не побудить думающего человека взяться за перо.

Автор, доктор технических наук, инженер по электронике и системам управления, не претендует на обобщения, на выводы о «системах управления» обществом. Это задача не одного человека и не одного года. Обилие материалов, максимальная добросовестность автора, тщательное их сопоставление читателями, спокой-

ный анализ на основе историзма и понимание тогдашних условий — вместо кавалерийского наскока, сенсационности, верхоглядства, претензий на всезнание, а также сегодняшней смелости, обращенной в страшное или странное прошлое... Только так, позволю себе повторить, наше общество познает самое себя.

Серго Анастасович МИКОЯН,
доктор исторических наук

Кончилось лето. Стало прохладнее, на деревьях зажелтели листья. Подходил к концу десятый год пребывания Хрущева на высшем партийном посту Первого секретаря ЦК КПСС.

Ушли в прошлое хлопоты об урожае 1964 г., поездки по сельскохозяйственным районам, поскольку отец своими глазами хотел увидеть, как обстоят дела. Он никогда безоглядно не полагался на доклады секретарей обкомов.

Хороший урожай был очень нужен, ведь в прошлом году из-за засухи хлеба не хватило и пришлось закупать зерно в Соединенных Штатах за золото.

Закончились и намеченные на 1964 год зарубежные поездки — в Объединенную Арабскую Республику, где его тепло принимал президент Насер, в Скандинавские страны.

Осенью отец надеялся отдохнуть, как-то собраться с мыслями и наметить планы на будущее. Замыслы были обширные: в ноябре — декабре должен был состояться очередной Пленум ЦК, на котором ожидали принятия важных решений. Одним из центральных вопросов было положение в сельском хозяйстве. За истекшее десятилетие производство сельскохозяйственных продуктов возросло, но эффективность была далека от тех образцов, к уровню которых стремился отец. Закупленные за границей комплексные фермы не обеспечивали в наших условиях выхода продукции, обещанного фирмами.

Другой, не менее важной проблемой была кадровая политика. Президиум ЦК КПСС старел — возраст большинства его членов приближался к шестидесяти, а сам отец только что отпраздновал 70-летие. Все чаще и чаще он возвращался к мысли: а кто же придет на смену, в чьи руки передать управление страной и партией? Умер Сталин, и пути разошлись, начались споры, разногласия. Кончилось все открытой схваткой. Подобного

допускать нельзя, считал отец, выход один — законодательно установить сменность руководства и гласность. Если каждый член Президиума будет знать, что ему отводится, скажем, два срока по четыре года между съездами партии, он будет больше думать о деле, смелее действовать, меньше оглядываться по сторонам. Да и подрастающее поколение в ЦК, в обкомах будет видеть для себя перспективу.

XXII съезд партии уже принял решение о сменности партийного руководства, но это только первый шаг. Нужно идти дальше, затвердить эти же принципы в новой Конституции. Давно принято решение о подготовке ее новой редакции, создана комиссия, а взяться за это дело отцу все некогда, постоянно отвлекают сиюминутные, требующие немедленного решения дела.

Самое подходящее время для работы над новой Конституцией — отпуск. Там, на мысе Пицунда, меньше будут отвлекать «пожарными» вопросами. Конечно, телефон не выключишь и присылаемые бумаги отнимают время, но разве можно это сравнить с московской суетой. Да и думается там, под соснами, лучше.

Я слышал о планах отца. На Пленуме для начала собирались расширить состав Президиума ЦК. За последние годы выросла молодежь — Шелепин, Андропов, Ильичев, Поляков, Сатюков, Харламов, Аджубей. Очень инициативные товарищи. Они живо откликаются на все новые предложения, на лету улавливают мысль, развивают ее, сразу же вываливают ворох предложений. С ними интереснее, живее идет работа. По существу, в решении многих партийных и государственных дел они играют не меньшую роль, чем члены Президиума, и целесообразно оформить сложившееся положение — обновить Президиум ЦК. К тому же это молодежь — она и придет на смену. Но все это следовало еще и еще раз обдумать.

К сожалению, в отпуск удастся поехать не раньше октября. С весны откладывается смотр новой ракетной техники, а Малиновский нажимает — нужно было принять решение о постановке на вооружение новых межконтинентальных ракет. Смотр новых видов ракетного оружия на одном из полигонов после многократных переносов был окончательно назначен на сентябрь.

Вместе с отцом должны были поехать члены правительства, отвечающие за оборонную промышленность: Брежнев, Кириленко, Устинов. На полигоне их ожидали

министры, командующие военными округами, конструкторы.

К сентябрю вся подготовка была закончена, утрясались последние детали — кто будет сопровождать высокое начальство. А поскольку количество желающих во много раз превышало число мест, списки придирчиво проверяли в ЦК, и заведующий Отделом оборонной промышленности Иван Дмитриевич Сербин безжалостно вычеркивал лишние фамилии.

Мне очень хотелось попасть в число счастливчиков, ведь на всех прежних смотрах я был среди демонстраторов новой военной техники. Недавно завершилась разработка новой межконтинентальной ракеты. Сейчас решалась ее судьба. Будут выслушаны мнения сторонников и противников и принято окончательное решение о запуске в серию.

К своей радости, я остался в списках. Началась предотъездная суета. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. За несколько дней до отъезда у меня разболелась нога. Пришлось обратиться к медицине.

— Ни о какой командировке не может быть и речи,— замахал руками врач.

Но я уже и сам понимал, что в таком виде на полигоне мне делать нечего.

Мои коллеги улетели, пожелав мне скорого выздоровления, а через пару дней вслед за ними отправился и отец.

В доме на Ленинских горах я с семьей занимал на первом этаже две комнаты с ванной, они представляли как бы отдельную квартиру, дверь которой выходила в коридор. Напротив располагалась обширная столовая. Вся семья редко собиралась за столом вместе. Каждый был занят собственными делами и ел в удобное для него время. Только вечером, когда отец возвращался с работы, все собирались на короткое время вместе, пили чай, рассказывали новости. Затем отец брал бумаги, пересаживался на свободное от посуды место и начинал читать. Семейное чаепитие заканчивалось, начиналась вечерняя работа. Все потихоньку, чтобы не мешать, расходились по своим комнатам или молча усаживались здесь же на диване и в креслах с газетами или книгами.

У меня были отдельный городской телефон и местный телефон связи с дежурным начальником охраны особняка. Телефоны, которыми пользовался отец, располагались на специальном столике в углу комнаты по

соседству со столовой. Там стояли аппараты городской и междугородной правительственной связи, а также городской телефон и прямой телефон в комнату дежурной охраны. Звонил отец по ним редко, только в неотложных случаях, считая, что рабочее время кончилось и надо дать людям отдохнуть, а не загружать их делами, которые можно выполнить в течение рабочего дня. Он очень не любил, когда не соблюдался принятый распорядок рабочего дня и кто-либо засиживался на работе допоздна. Это ему напоминало ночные бдения в сталинские времена.

Зная это, домой к нам звонили по делу чрезвычайно редко, только в экстренных случаях. Каждый звонок телефона правительственной связи в нашем доме был маленьким событием, и все присутствующие прислушивались к разговору, стараясь из отрывочных фраз понять, что же случилось.

Поэтому, когда однажды вечером во время моей болезни зазвонила «вертушка», я удивился: ведь отца нет в Москве и это все знают.

В трубке раздался незнакомый голос:

— Можно попросить к телефону Никиту Сергеевича?..

— Его нет в Москве,— ответил я, недоумевая, кто же это звонит на квартиру. Тот, кто может звонить по этому телефону, прекрасно знает, где сейчас находится отец.

— А кто со мной говорит? — последовал вопрос. В голосе чувствовалось разочарование.

— Это его сын.

— Здравствуйте, Сергей Никитич,— заторопился мой собеседник,— с вами говорит Галюков Василий Иванович, бывший начальник охраны Николая Григорьевича Игнатова *. Я с лета пытаюсь дозвониться до Никиты Сергеевича, мне надо ему сообщить очень важную информацию, и никак мне это не удается. Наконец, я добрался до «вертушки», решился к нему позвонить домой, и опять неудача.

Я очень удивился: о чем может говорить бывший начальник охраны Игнатова с Хрущевым, что у них может быть общего? Ситуация была необычной.

— Выслушайте меня,— заторопился Галюков, опасаясь, и не без оснований, что я положу трубку,— мне

* Игнатов Н. Г.— в то время Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, бывший член Президиума ЦК КПСС.

стало известно, что против Никиты Сергеевича готовится заговор! Об этом я хотел сообщить ему лично. Это очень важно. О заговоре мне стало известно из разговоров Игнатова. В него вовлечен широкий круг людей.

— Василий Иванович, вам надо обратиться в КГБ к Семичастному. Подобные дела в их компетенции, тем более что вы сами работаете там. Они во всем разберутся, если будет надо, доложат Никите Сергеевичу,— сказал я.

— К Семичастному я обратиться не могу, он сам активный участник заговора вместе с Шелепиным, Подгорным и другими. Обо всем этом я хотел лично рассказать Никите Сергеевичу. Ему грозит опасность. Теперь, когда вы сказали, что его нет в Москве, я не знаю, что и делать!..

— Позвоните через несколько дней. Он скоро вернется.— Я попытался успокоить его.

— Мне это может не удаться. Просто счастливый случай, что я добрался до «вертушки» и мне удалось остаться в комнате одному. Такое может не повториться, а дело очень важное. Речь идет о безопасности нашего государства,— настаивал голос.— Может быть, вы можете меня выслушать и передать потом наш разговор Никите Сергеевичу?

— Вы знаете, я... немного болен,— мямлил я, пытаясь выиграть время.

Я не знал, что делать. Не хватало мне встрять в подобную историю. Если это сумасшедший, он замучает меня разговорами, беспочвенными подозрениями, звонками. Ну а если он нормальный? И вдруг в его сообщении есть хотя бы частица правды? Я, выходит, отмахнулся от него ради собственного покоя? А вдруг это правда? Надо решать.

На том конце провода Галюков ждал ответа. Еще секунду поколебавшись, я наконец решился:

— Ну, хорошо. Скажите ваш адрес, я заеду сегодня вечером, и вы мне все расскажете.

— Нет, нет! Ко мне нельзя. У меня разговаривать опасно. Давайте поговорим где-нибудь на улице. Вы знаете дом ЦК на Кутузовском проспекте? Это дом, где живет ваша сестра Юля. Скажите, как выглядит ваша машина, я буду ждать на углу.

— У меня машина черного цвета, номер 02-32. Ждите, я буду через полчаса,— сказал я.

Обеспокоенный, я пошел переодеваться, на ходу убеждая себя, что весь этот разговор — плод больного воображения и мне по возвращении только придется пожалеть о потере нескольких часов. Но на душе было неспокойно...

В то время я не знал, что информация о назревающих событиях еще раньше дошла до моей сестры Рады. Летом 1964 г. ей позвонила какая-то женщина. Фамилии ее она не запомнила. Эта женщина настойчиво добивалась встречи с сестрой, заявляя, что она обладает какими-то важными сведениями. Рада от встречи всячески уклонялась, и тогда, отчаявшись, женщина сказала по телефону, что ей известна квартира, где собираются заговорщики и обсуждают планы устранения Хрущева.

— А почему вы обращаетесь ко мне? Такими делами занимается КГБ. Вот туда и звоните,— ответила Рада.

— Как я могу туда звонить, если председатель КГБ Семичастный сам участвует в этих собраниях! Именно об этом я и хотела с вами поговорить. Это настоящий заговор.

Семичастный в те времена дружил с Алексеем Аджубеем, мужем сестры, часто бывал у них в гостях.

Вся эта информация показалась Раде несерьезной. Она не захотела тратить время на неприятную встречу и ответила, что, к сожалению, ничего сделать не может, она частное лицо, а это дело государственных органов. Поэтому она просит больше ей не звонить.

Новых звонков не последовало...

Поступала такая информация и в ЦК. Об этом через много лет рассказывал бывший начальник охраны Никиты Сергеевича полковник Литовченко. Она поступала к первому помощнику Г. Т. Шуйскому, который ее предусмотрительно «топил». К тому времени Шуйский проработал с Хрущевым уже около 20 лет, почти со Сталинграда. Но, видимо, в тот момент решил сменить ориентацию...

Я ехал по Бережковской набережной Москвы-реки. Небо было закрыто тучами. Временами срывались отдельные капли дождя. Начинались сумерки.

Вот и поворот у гостиницы «Украина». Через несколько минут стал виден большой, облицованный кремовыми плитками дом ЦК. На углу маячила одинокая

мужская фигура в темном пальто и глубоко надвинутой шляпе.

Я остановил машину.

— Вы Василий Иванович Галюков?

Человек кивнул в ответ и оглянулся. На вид ему было лет пятьдесят.

— Я — Хрущев. Садитесь.

Он осторожно сел на переднее сиденье рядом со мной. Я тронул машину.

— Что же вы хотели рассказать? Я вас слушаю.

Мой пассажир нервничал. Несколько раз он оглянулся, внимательно посмотрел в заднее стекло и нерешительно предложил:

— Давайте поедем куда-нибудь за город. В лесок. Там спокойнее.

Невольно и я глянул в зеркало, но ничего подозрительного не заметил. Как обычно, по Кутузовскому проспекту несся поток машин.

— Что ж, за город так за город.

Молчим... Через полчаса справа показался проселок, ведущий в молодой сосняк. Свернули на него. За поворотом появилась большая поляна.

Уже начинало смеркаться, а низкие тучи придавали окружающему безобидно-мирному пейзажу некую таинственность.

Наконец я остановил машину. Мы вышли на траву и двинулись по тропке. Тропка узкая, идти рядом было неудобно — ноги то и дело попадали в заросшие еще зеленой травой ямки.

Галюков начал разговор. Вот что он рассказал мне.

— В бытность Николая Григорьевича Игнатова членом Президиума ЦК я состоял при нем, занимая должность начальника охраны. Вы меня, наверное, не запомнили, а я вас хорошо знаю. Бывал с «хозяином» на даче у Никиты Сергеевича и вас там видел.

Вообще-то с Игнатовым жизнь меня столкнула давно, я у него начал работать порученцем еще в 1949 г. В 1957 г. Николая Григорьевича избрали секретарем ЦК и членом Президиума, а я стал начальником его охраны. Отношения у нас были не чисто служебные, а, я бы сказал, дружеские. Сопровождая его в поездках, я был как бы его компаньоном и собеседником, на мне он «разряжался», говорил подчас то, что не сказал бы никому другому. И я был ему предан.

Когда Николая Григорьевича на XXII съезде КПСС не избрали в Президиум ЦК, мы вместе с ним переживали это, мягко говоря, неприятное событие. Кроме всего прочего, ему теперь не полагался начальник охраны, а я, конечно, привязался к нему за долгие годы.

— Не переживай,— успокаивал меня Игнатов,— я тебя пристрою. Уходи из органов. Свое ты уже отслужил, пенсию заработал. Остались у меня друзья, найдется тебе хорошее место.

Так я в 1961 г. вышел на пенсию... В скором времени Игнатов, в то время работавший Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР, подыскал мне нехлопотную должность у себя в хозяйственном отделе. Работы там особой не было. Когда Николай Григорьевич ехал отдыхать или в командировку, я обычно сопровождал его. На мне лежали заботы об обеспечении комфорта. Николай Григорьевич придавал большое значение тому, где, как и с кем он будет жить. Ему хотелось, чтобы условия не отличались от тех, к которым он успел привыкнуть, отдыхая в качестве секретаря ЦК на госдачах.

Так было и в этом году. Вызвал он меня к себе в кабинет 3 августа. Захожу, вижу, сидит он за столом довольный, вид у него хороший, как после отдыха.

Сказал мне, что решил 8-го ехать отдыхать на Кавказ.

О том, что он собирается на отдых, я уже знал, он заранее мне поручил все подготовить.

Я доложил, что для отдыха все подготовлено, что я договорился с директором санатория «Россия» в Сочи об отдельной даче. Обычно мы там останавливались.

6 августа мне позвонил начальник секретариата Игнатова и передал указание позвонить Николаю Григорьевичу.

7-го утром я ему позвонил, и он говорит:

— Ты готов? Завтра вылетаем в Сочи.

Такие отъезды для меня были привычными. Я быстро собрал вещи и 8-го утром позвонил на квартиру Игнатову. Он живет в том же доме, что и я.

Забрал я его чемоданы, и вдвоем на игнатовской «Чайке» поехали во Внуково. В тот же день мы были в Сочи.

Расположились на отведенной нам даче — она стояла несколько на отшибе в саду, поодаль от основных

корпусов. После обеда отправились гулять по территории санатория. Николай Григорьевич был в хорошем расположении духа, шутил. Дача ему понравилась.

— Вполне ничего дачка, на уровне,— обратился он ко мне и, следуя каким-то своим мыслям, добавил:

— Вообще-то Брежнев и Подгорный перед отъездом предлагали мне поселиться на четвертой госдаче.

— Так что, сказать, что мы займем эту дачу? — спросил я.— А они сказали Никите Сергеевичу? Ведь эти дачи вроде только для членов Президиума. Вдруг он узнает, и будут неприятности?

Игнатов ничего не ответил, и мы молча пошли по дорожке. Николай Григорьевич повернул обратно, а я следовал за ним на полшага позади.

Как бы в раздумье Игнатов бросил мне:

— Всему свое время. А Хруща они не слушаются.

Ругал он Никиту Сергеевича часто, особенно в последнее время, после вывода из состава Президиума, но бывало это после крепкой выпивки и по поводу каких-то конкретных решений. Игнатов считал, что на месте Никиты Сергеевича он все сделал бы иначе. Однако, что бы он ни говорил о Хрущеве, чувствовалось, что он его побаивается. А тут явно намекает, что с Хрущевым можно вообще не считаться,— это была новая нотка.

— Надо решить вопросы с продуктами и катером. Какие будут указания? Вы мне в Москве ничего не говорили,— уходя от этой темы, спросил я.

— Все в порядке. Я уже договорился с Семичастным и о катере, и о продуктах, и о подключении «ВЧ» к нашей даче. Спроси у дежурного: они получили распоряжение? — хохотнул Игнатов, глядя на мое вытянувшееся от удивления лицо.

Раньше у Игнатова с Семичастным не было никаких отношений. Более того, Игнатов терпеть его не мог, ругал за всякую оплошность, хотя в то же время боялся Семичастного, зная его хорошие отношения с Хрущевым, а особенно дружбу с Аджубеем. О том, чтобы обратиться с просьбой к Семичастному, раньше не могло быть и речи.

«Что же произошло?» — недоумевал я. Позвонил дежурному по санаторию и дежурному по КГБ — оба ответили, что все распоряжения о снабжении продуктами и катере получены.

Я доложил Игнатову.

Он был очень доволен.

— Есть же такие хорошие люди — Шелепин и Семичастный. Они мне ни в чем не откажут.

Такая перемена в отношениях между этими людьми тоже была непонятна. Почему плохо скрываемая вражда сменилась такой сердечностью? Тут явно что-то было не так... Потом Игнатов попросил меня узнать, кто еще из членов ЦК отдыхал поблизости.

Из дачи я позвонил секретарю Сочинского горкома партии, сказал ему, что Николай Григорьевич Игнатов отдыхает в санатории «Россия» и интересуется, кто из товарищей отдыхает в Сочи. Такой вопрос был обычным: каждый вновь прибывший в первую очередь интересовался соседями.

Секретарь горкома всегда был в курсе дела. Он тут же ответил мне, что в соседних санаториях отдыхает несколько первых секретарей обкомов, в частности Камчатского, Белгородского и Волынского. Фамилия последнего, кажется, Калита. Я все доложил Игнатову.

Прошло несколько дней.

Вдруг мне передают, что он срочно меня разыскивает. Через несколько минут я был у Игнатова.

— Знаешь, мне показалось, что я видел секретаря Чечено-Ингушского обкома Титова. Правда, он был далеко, и я мог обознаться. Позвони в регистратуру санатория, узнай, он это или нет. Если спросят, кто говорит, скажи, звонят из обкома.

Оказалось, что Титов действительно отдыхает рядом в «люксе». Я позвонил к нему в номер, но мне ответили, что он вышел. Я попросил передать, что звонили от Игнатова, который отдыхает здесь на даче и просит товарища Титова позвонить ему.

На следующий день Игнатов довольным голосом сообщил мне, что Титов звонил и он пригласил его в гости.

— Ты организуй все,— сказал он.

Организация застолья была одной из моих обязанностей во время нашего совместного отдыха. Собрались гости. Стол накрыли на веранде. Коньяк, осетрина, икра, шашлык — все как обычно.

Кроме Титова пришел Чмутов, председатель Волгоградского облисполкома, и еще несколько человек. Меня тоже пригласили за стол.

В перерывах между тостами Игнатов много вспоминал о своей работе в Ленинграде. Чмутов и другие

рассказывали анекдоты о Хрущеве. Все громко смеялись. Ничего подозрительного в этой встрече не было — собрались, выпили, поболтали и разошлись.

Игнатов остался доволен встречей. Несколько раз во время прогулок он возвращался к разговору о Титове.

— Очень хороший человек Титов, нужный нам, стоящий,— говорил Игнатов.

Август близился к концу.

29-го Игнатову вдруг позвонил Брежнев. Я присутствовал при этом розговоре.

Брежнев сказал, что раз Игнатов отдыхает в Сочи, то он его просит на пару дней съездить в Краснодар для участия в торжествах по случаю награждения объединения «Краснодарнефтегаз» Северо-Кавказского совнархоза орденом.

Игнатов с готовностью согласился.

— Заодно прощупаю Георгия,— пообещал он. (Георгий — это секретарь Краснодарского сельского крайкома партии Воробьев, давний знакомый Игнатова.)— Леня, у меня были Титов с Чмутовым. Выпили немного, языки поразвязались. Их слова говорят сами за себя. Они отражают общее настроение. Однако меня беспокоит Грузия. Числа 10 сентября вернусь из отпуска и думаю съездить в Тбилиси. Надо там поработать.

— А что тебя в Грузии беспокоит?

— Прочитал я в газетах письмо какой-то стодвадцатилетней колхозницы в адрес Никиты Сергеевича. Это неспроста. Видно, они там не понимают ситуации.

— Только-то. Пусть это тебя не беспокоит,— успокоил его Брежнев.

— Так это твоя работа? Тогда другое дело,— обрадовался Игнатов.— Есть еще кое-что. Говорил с Зарobяном из Армении, он настроен хорошо. Наш человек. Леня, но об одном я тебя прошу, все надо сделать до ноября.*

Они еще немного поговорили о погоде, об охотничьих успехах Леонида Ильича, и Игнатов положил трубку. Он радостно улыбался: было видно, что разговор ему по душе.

— Я забыл сказать,— спохватился Галюков,— сразу по приезде в санаторий Николай Григорьевич предупредил меня, что во время отпуска собирается съез-

* Заробян Я. Н.— в то время первый секретарь ЦК Компартии Армении.

дить в Грузию, Армению, Орджоникидзе и еще куда-то.

— Скучно сидеть на одном месте,— пояснил он.

Однако поездка все откладывалась.

— Подожди, не время,— отмахивался он, когда я напоминал, что надо побеспокоиться о билетах.

В Краснодар мы выехали 30 августа, на следующий день после разговора с Брежневым. Остановились в крайкомовском особняке. Вечером того же дня приехали гости — Байбаков, Качанов, Чуркин и другие руководители.

Сели ужинать. За ужином разговор крутился вокруг завтрашнего митинга по случаю награждения. Подробно обсуждали процедуру. Наконец все разъехались. Ужином Игнатов остался недоволен. Видимо, настроение ему испортило отсутствие Воробьева, он так и не приехал.

— Гордится. Не едет... — бурчал он.

— Что ж тут такого особенного? Конец августа, самая уборка, а у них туго с планом по хлебу. Наверное, носится по районам,— попытался я успокоить Игнатова, но он только махнул рукой.

31 августа состоялся митинг, на котором Николай Григорьевич, как Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, вручил орден. Как обычно после митинга был большой банкет для местного партийного и советского актива. Оттуда мы вернулись в особняк. С нами в машине ехали Качанов и Чуркин. Они проводили Николая Григорьевича до дверей, распрощались и уехали.

Вскоре подъехал Трубилин — председатель крайисполкома. Они с Игнатовым стали дожидаться Воробьева, который провожал уезжавшего в тот же день секретаря Саратовского обкома Шибаева. Часам к одиннадцати вечера приехал Воробьев. Посидели они втроем в доме несколько минут, и Игнатов с Воробьевым вышли в парк, примыкающий к особняку. Трубилина с ними не было, он остался в доме. Я пошел его искать — он сидел в комнате один, расстроенный. Время тянулось медленно. Прошел час, второй. Игнатов с Воробьевым все гуляли. Для Игнатова это было очень необычно: как правило, он ложился спать в одиннадцать часов, и должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы заставить его изменить своим привычкам.

В час ночи Трубилин начал нервничать, несколько раз подходил к двери, ведущей в парк, пытался разглядеть гуляющих. Потом не выдержал и отправился их искать. Вскоре он вернулся еще более мрачный.

— Все гуляют. Мне завтра работать. Поеду домой спать. С ними я попрощался,— ответил он на мой немой вопрос.

Трубилин вызвал машину и уехал. Я тоже отправился спать, после банкета у меня слипались глаза. Игнатов с Воробьевым продолжали кружить по дорожкам парка.

О чем они говорили, я не знаю. На следующее утро Воробьев приехал опять. Мы только встали. С ним был новый гость — Миронов из Ростова. Чуть позже приехал Байбаков. Все вместе сели завтракать. После завтрака Байбаков заторопился по делам и уехал, а остальные пошли гулять в парк. Завязался оживленный разговор. Мне было видно, как Игнатов что-то доказывает, а остальные молча слушают.

Далеко они отойти не успели — дежурный доложил, что по «ВЧ» звонит Брежнев и просит к телефону Игнатова. Вместе с Николаем Григорьевичем в комнату зашли Воробьев и только что подъехавший Качанов.

Я остался за дверью, но через нее разговор был отчетливо слышен. Говорили о награждении.

Сначала слышался голос Игнатова:

— Спасибо, Леня, все прошло хорошо. Спасибо за помощь, без тебя бы пришлось туго.

Дело в том, что Брежнев помог оформить выделение денег на банкет, ведь сейчас проведение банкетов за государственный счет запрещено, и запрет этот строго контролируется. Только Брежнев, как второй секретарь ЦК, мог дать такое разрешение.

— У меня здесь Воробьев,— продолжал Игнатов, обращаясь к Брежневу,— мы с ним обо всем переговорили. Говорил я еще и с саратовским секретарем Шибаевым. Сначала не понимали друг друга, но потом нашли общий язык, так что с ним тоже все в порядке, я его обработал.

Они попрощались, пожелали друг другу успехов, и трубку взял Воробьев. Сперва поговорили о награждении, Воробьев поблагодарил Брежнева за высокую оценку их труда, пообещал еще настойчивее добивать-

ся новых успехов. За ним трубку взял Качанов и говорил о том же самом.

После разговора все, оживленные, вышли на крыльцо и стали обсуждать, что делать дальше. Решили сначала заехать в крайком, а оттуда в Приморско-Ахтарский район на рыбалку.

Воробьев по дороге от нас отделился, остался в крайкоме, а с нами поехали Качанов и Чуркин. Все было подготовлено на высоком уровне. На месте уже дожидался накрытый стол, на костре булькала уха. Первым делом выпили и закусили. Все это заняло несколько часов. За столом наперебой рассказывались рыбацкие и охотничьи истории одна другой невероятней, а былые уловы увеличивались с каждым тостом.

После короткого отдыха отправились на вечернюю зорьку — кто с ружьем за утками, кто со спиннингом.

На следующий день повторилось то же самое, и в Краснодар мы вернулись только под вечер 2 сентября.

В особняке дожидался Воробьев. Поговорив с Игнатовым, быстро собрался и куда-то уехал. К ужину он возвратился, а после ужина повторилась старая история — опять они вдвоем гуляли до часу ночи, что-то обсуждая.

На следующий день мы собрались уезжать. Провожали нас Воробьев, Качанов, Чуркин, Трубилин. Прощаясь, Николай Григорьевич пригласил всех в Сочи в ближайшую субботу, 6 сентября, к себе на обед. При этом специально подчеркнул, чтобы приезжали без жен.

6 сентября у нас собралось человек двадцать. Были Байбаков, министр культуры РСФСР Попов, приглашенные краснодарцы и другие, Качанов и Трубилин опоздали — задержались в дороге.

Обед затянулся допоздна, было много тостов. Воробьев вспомнил о Ленинграде, о том, какую правильную и принципиальную позицию занимал Игнатов, находясь на посту секретаря Ленинградского обкома. Зацепили и Козлова.

В бытность Игнатова секретарем Ленинградского обкома он «прославился» проведением жесткой линии по отношению к интеллигенции. Тогда много говорили о его грубости и невыдержанности. В ЦК была направлена коллективная жалоба, подписанная многими деятелями литературы и искусства. В результате Игнатов был освобожден от работы и направлен первым

секретарем обкома в Воронеж — там-де люди попроще и с работой справиться легче.

Часов в десять вечера обед подошел к концу. Наиболее стойкие остались допивать и доедать, а остальные разбрелись кто куда. Игнатов, оставшись один, позвал меня и приказал соединить его по «ВЧ» с дачей Подгорного в Ялте.

Пока подзывали к аппарату Николая Викторовича, он зажал рукой микрофон и попросил:

— Давай сюда быстренько Георгия, только так, чтобы другие не увязались.

Я пригласил в кабинет Воробьева. Там уже находился Титов.

Пока я ходил за Воробьевым, Подгорный на том конце провода уже взял трубку. О чем был разговор, не знаю. По-видимому, Подгорный пожелал Игнатову успехов. В ответ Николай Григорьевич многозначительно произнес:

— Главный успех не от нас, а от тебя зависит.

Тут он обратил внимание, что я остался в кабинете, и кивнул мне — можешь быть свободен.

Чтобы не мешать разговору, я потихоньку вышел и закрыл дверь.

Все происходившее в последние дни — шушуканье допоздна, недомолвки, намеки,— все это возбуждало любопытство и настораживало меня. Вот и сейчас выставили. Через дверь разобрать слова было невозможно, да и не хотелось мне оказаться в роли подслушивающего. «В конце концов, эти дела меня не касаются»,— решил я и, потоптавшись в коридоре, вышел на крыльцо.

Справа светилось окно кабинета, и сквозь стекло были видны три мужские фигуры, окружившие телефонный аппарат. Я видел, что теперь трубку взял Титов. Голос его слышался довольно хорошо, хотя слова разбирались с трудом.

Из кабинета вышли Игнатов, Титов и Воробьев. На ходу они вполголоса о чем-то говорили, видимо, обсуждали разговор с Подгорным.

Заметив меня на крыльце, они умолкли и начали прощаться. Краснодарцы остались ночевать на соседней даче, а остальные отправились по домам.

Утром, проводив краснодарцев домой, Николай Григорьевич пригласил меня на прогулку. Разговор крутился вокруг вчерашнего приема.

— Видишь, никто за него и тоста не поднял. Это хорошо! — с удовлетворением произнес Игнатов.

— За кого «за него»? — не понял я.

— За Никиту.

Без видимой связи с предыдущим он добавил:

— Титов — хороший человек.

Это была его обычная оценка окружающих: те, кто согласны с Игнатовым, поддерживают его,— хорошие люди, остальные — нехорошие, разных оттенков.

— Ничего, Вася, — успокоил он меня, — подожди немного. И у тебя впереди есть перспектива. Не волнуйся.

Я не стал уточнять, что он имеет в виду, и разговор перешел на рыбную ловлю.

Больше ничего примечательного в Сочи не произошло. Отпуск подходил к концу, и я еще раз напомнил Николаю Григорьевичу, что он собирался заехать в Армению.

— Не поеду. Заробян был у Брежнева в Москве. Пора домой собираться,— ответил он.

В Москву мы вернулись 19 сентября.

В понедельник я был у него на даче, занимался устройством различных хозяйственных дел. Игнатов часто использовал меня в качестве секретаря и в этот раз, увидев меня, попросил соединить с Кириленко, отдыхавшим в Новом Афоне. Трубку взял дежурный и, узнав, кто спрашивает, ответил, что Андрей Павлович купается в море и к телефону подойти не может.

Этот естественный ответ, к моему удивлению, привел Игнатова в волнение.

— На самом деле купается или говорить не хочет? — бормотал он, ни к кому не обращаясь.

Нервничая, Николай Григорьевич стал названивать Брежневу в ЦК. Трубку «вертушки» взял секретарь:

— Леонида Ильича нет на работе и сегодня не будет. Он заболел.

Тут Игнатов совсем разнервничался. Шагая из угла в угол, он приговаривал:

— Болеет или не болеет? Что это у него за болезнь? Нужная это болезнь или ненужная?..

Почувствовав себя лишним, я вышел.

Вернулся я в кабинет примерно через час. Игнатов сидел в кожаном кресле и умиротворенно улыбался.

— Ничего. Все в порядке. У него просто грипп. Все нормально,— сказал он.

Я не понял: почему грипп у Брежнева — это хорошо?.. Но этот разговор добавил к списку необычных событий, происходивших в течение последнего месяца.

Если сложить все эти мелочи вместе, получается подозрительная картина. Недомолвки, намеки, беседы один на один с секретарями обкомов, неожиданная дружба с Шелепиным и Семичастным, частые звонки Брежневу, Подгорному, Кириленко... Почему упоминается ноябрь? Что должно быть сделано до ноября?

Галюков стал пересказывать различные эпизоды, характеризующие отношение Игнатова к моему отцу,— одни относились к прошлым годам, другие произошли совсем недавно.

Дурной характер Игнатова был известен всем, не была секретом и его неприязнь к Хрущеву, он не мог смириться с неизбранием в состав Президиума ЦК. И раньше Игнатов после нескольких рюмок любил поговорить в своем кругу о том, что всю работу в ЦК тянет он, остальные бездари и бездельники, а Хрущев только штампует подготовленные им решения и произносит речи.

Надо все не спеша обдумать и решить, что делать дальше. Пороть горячку в таком деле нельзя...

Я взглянул на часы — гуляли мы почти два часа. Стало совсем темно. Мы повернули к машине.

Я поблагодарил Василия Ивановича за сообщение, заверил, что отношусь к его словам с полным доверием и со всей серьезностью. Пообещал, как только появится отец, сразу же пересказать ему все. На всякий случай попросил номер домашнего телефона — вдруг что-то понадобится. Василий Иванович неохотно продиктовал мне его.

— Сергей Никитич, пожалуйста, звоните мне только в случае крайней необходимости,— нерешительно сказал он.— И прошу вас, ничего по телефону не говорить, только условиться о встрече. Мой телефон прослушивается, я в этом убежден. Даже проверял: не платил за телефон долгое время. По всем законам аппарат должны были отключить, а этого не сделали. Значит, меня подслушивают,— заключил Галюков.

Как выяснилось позднее, и Галюков, и я были одинаково наивны в оценке возможностей КГБ. Его опасения о подслушивании домашнего телефона оказались

только частью истины. Телефон правительственной связи на квартире Хрущева тоже подслушивался, а наша встреча с Василием Ивановичем была зафиксирована от первого до последнего шага. Потом мы не могли сделать ни шагу без ведома компетентных органов.

Но в тот момент, уславливаясь о «конспирации», мы, естественно, ничего не знали. Вернее, Галюков беспокоился, я же, на словах соглашаясь с ним, в душе посмеивался: у страха глаза велики. Впрочем, считал я, осторожность тоже не повредит. И ему будет спокойнее, независимо от того, правда это или нет — человек пришел с добрыми намерениями.

Пора было возвращаться. Без приключений мы выбрались на дорогу, огляделись: «хвоста» за нами не было. Святая простота!..

Вскоре пришли первые сведения с полигона. Показ военной техники заканчивался, но для конструкторского бюро генерального конструктора Челомея, где я работал, результаты оказались нерадостными. Межконтинентальная баллистическая ракета, разработку и испытания которой мы только что закончили, не выдержала конкуренции с аналогичной ракетой КБ Михаила Кузьмича Янгеля. Эти две ракеты делались параллельно и предназначались для решения одинаковых задач.

Уже в процессе испытаний военные начали отдавать предпочтение ракете Янгеля. Их активно поддерживал Дмитрий Федорович Устинов. Хотя в то время он уже непосредственно не занимался оборонными делами, но авторитет его, как одного из отцов ракетной техники в нашей стране, был чрезвычайно велик и слово его значило многое. Леонид Ильич Брежнев, к которому после инсульта Козлова вместе с постом второго секретаря ЦК перешло наблюдение за военной промышленностью, по свойственной ему мягкости характера не высказывал определенного мнения. Несколько месяцев тому назад к нему на прием пробился Челомей. С присущим ему красноречием он убедил Брежнева в преимуществах своего детища и получил заверения в полной поддержке.

Однако в августе случилось «несчастье». Устинов пошел к Брежневу, они проговорили за закрытыми дверями несколько часов, и мнение Брежнева резко переменилось. Это чувствовалось по недомолвкам и общему отношению работников аппарата ЦК к нашему КБ, чут-

ко улавливающих любое изменение в симпатиях руководства.

О чем же говорили в августе Устинов с Брежневым? Свидетелей не было. Сейчас можно предположить, что главной темой были не ракеты: речь, видимо, шла о будущем без Хрущева.

Но вот поступает новая информация с полигона — Хрущев высказался не в нашу пользу.

Однако это были только первые сведения: и Хрущев, и Челомей находились на полигоне. Мы с нетерпением ждали их возвращения, хотелось все узнать из первых рук.

Все эти события отодвинули на второй план проблемы, высказанные Галюковым. Там все сомнительно, а здесь сейчас решается судьба нашего детища, плоды упорной работы нескольких последних лет.

Отец за эти дни подзагорел под осенним солнцем пустыни, выглядел посвежевшим. Он был доволен увиденным и, как обычно, спешил поделиться своими впечатлениями. Отец рассказывал о них своим коллегам за обедом в Кремле, а дома его собеседником был я. Работая в КБ, я разбирался в технике, и отец как бы проверял на мне свои впечатления, расспрашивал о деталях.

На полигоне ему показали новый трехместный «Восход», который в ближайшие дни должен будет стартовать на орбиту искусственного спутника, представили его экипаж — Комарова, Феоктистова и Егорова.

Отец был прямо-таки переполнен гордостью за нашу страну, обогнавшую в космосе Соединенные Штаты.

Окружающие вовсю поддакивали ему, стремились поддержать иллюзию, что США вот-вот останутся позади и первая страна социализма станет самой передовой технической державой.

В первый день по возвращении с полигона отец, не заезжая домой, отправился в Кремль. Домой он приехал в шестом часу, оставил в столовой портфель с бумагами и позвал меня:

— Пойдем погуляем.

Ритуал вечерней прогулки повторялся ежедневно — от дома к воротам, легкий кивок взявшему под козырек офицеру охраны, поворот налево на узкую асфальтированную аллейку, идущую вдоль высокого каменного забора. Дорожка с обеих сторон обсажена молодыми березками. В углу маленькая лужайка со стайкой березок посредине. Здесь короткая остановка — нельзя не

полюбоваться на них. Это тоже вошло в привычку. И опять поворот налево. Справа за забором — соседний особняк, точная копия того, в котором живем мы. Раньше там жил Маленков, после него Кириченко, а сейчас дом пустует. В заборе зеленая калитка, и при желании можно пройти через соседний участок к Воронову и дальше до особняка, занимаемого Микояном.

Сегодня мы проходим мимо калитки и идем дальше, обходя дом справа. Березки уступили место вишневым деревьям. Весной это пышные шары, покрытые белыми цветами, а сейчас на тоненьких веточках только кое-где торчат одинокие красноватые листочки — осень...

Дом позади, и дорожка начинает петлять по склону над Москвой-рекой — по серпантину можно спуститься до самого берега, а затем вернуться и завершить круг.

Мы гуляем вдвоем — эта привычка выработалась у нас обоих. Так происходит изо дня в день. Иногда присоединяются Рада и Аджубей, реже мама. Наша же пара постоянна.

Часть пути шли молча, видимо, отец устал и говорить ему не хотелось.

Я иду рядом, раздумывая: начать разговор о встрече с Галюковым или отложить. Говорить на эту тему не хотелось — можно нарваться на грубое «Не лезь не в свое дело». Такое уже бывало в разговорах о Лысенко и генетике. Сейчас мое положение было еще более щекотливым — никто и никогда не вмешивался в вопросы взаимоотношений в высшем эшелоне руководства. Эта тема запретна. Отец никогда не позволял даже себе высказываться в нашем присутствии о своих коллегах.

Словом, я решил отложить разговор.

Вместо этого я осведомился о его впечатлениях, о показе техники. Сначала нехотя, а потом все более и более увлекаясь, отец начинает говорить. Глаза его загораются, на лице уже не видно усталости. Ракеты— это его гордость. Он перечисляет типы ракет, сравнивает их характеристики, вспоминает разговоры с главными конструкторами и военными. Отец горд — теперь мы сравнялись по военной мощи с Америкой. Когда он стал Первым секретарем ЦК в начале 50-х годов, США были недостижимы, а американские бомбардировщики могли поразить любой пункт на нашей территории. Теперь же сам президент США Кеннеди признал равенство военной мощи Советского Союза и Соединенных Штатов. И всего за 10 лет! Есть чем гордиться.

Выбрав удобный момент, я спросил: «А как тебе понравилась наша ракета?»

Явно не желая обсуждать этот вопрос — видимо, там, на полигоне, обо всем этом было много разговоров,— отец ответил:

— Ракета хорошая, но у Янгеля лучше. Ее и будем запускать в производство. Мы все обсудили и приняли решение. Не поднимай этот вопрос сызнова.

Я промолчал, хотя было очень обидно за наш коллектив, который столько сил вложил в разработку.

Как бы почувствовав это, отец добавил:

— У вас много хороших предложений. Мы одобрили программу работ. Сейчас Смирнов * занимается оформлением.

Потом мы гуляли молча, каждый думал о своем. О Галюкове я не вспоминал.

Закончилась неделя. В субботу вечером, как обычно, все отправились на дачу. Жизнь текла по давно заведенному привычному ритуалу: в воскресенье утром завтрак, отец просмотрел газеты, отметил заинтересовавшие его статьи и пошел гулять.

Снова мы гуляли вдвоем. Отец любил бродить по лесной дорожке вдоль забора дачи — длина ее около двух километров, без больших подъемов. В последнее время он их стал замечать. Семьдесят лет давали себя знать.

Дорожка извивалась в густом сосновом лесу. Шли молча, я все выбирал момент, оттягивая начало разговора. Дошли до калитки, через нее можно было выйти за ограду дачи на лужок в пойме Москвы-реки. Когда мы переехали на эту дачу, луг стоял заросшим густой зеленой травой. Отец приспособил луг к делу. Один год тут высевали чумизу, потом луг покрывался грядками с разными сортами кукурузы. Отец привозил своих коллег на дачу и с жаром объяснял особенности возделывания каждого сорта.

Сейчас луг был разрыт. Везде валялись бетонные столбы, лотки, трубы. Сельскохозяйственная делегация привезла из Франции новинку — оросительную систему, вода в которой текла по бетонным лоткам, установленным на столбиках над землей. Отцу это очень понравилось: вода не теряется в почве и арыки не отнимают

* Смирнов Л. В.— в тот период заместитель Председателя Совета Министров СССР.

землю у посевов. Он загорелся новой идеей и решил испытать ее у себя на даче. Сказано — сделано. Была дана команда, и через неделю появились строители. Луг превратился в строительную площадку.

Теперь мы шли по краю леса, и отец с удовольствием обозревал содеянное. Ему уже виделись ровные рядки лотков, на полтора метра поднятые над землей и наполненные тихо журчащей водой. Через мерные отверстия на каждую грядку отмеряется нужное количество воды для полива, ни больше ни меньше, и без потерь.

Обойдя луг, мы повернули обратно. Неприятный разговор больше откладывать было нельзя, прогулка заканчивалась. Сейчас, вернувшись на дачу, отец примется за бумаги, потом обед, но главное — вокруг будут люди, а мне не хотелось затевать этот разговор при свидетелях.

— Ты знаешь,— начал я,— произошло необычное событие. Я должен тебе о нем рассказать. Может, это ерунда, но молчать я не вправе.

Затем я коротко рассказал о странном звонке и встрече с Галюковым. Отец выслушал меня молча.

— Ты правильно сделал, что рассказал мне,— после некоторого молчания произнес он.

Мы прошли еще несколько шагов.

— Повтори, кого назвал этот человек.

— Игнатов, Подгорный, Брежнев, Шелепин,— стал вспоминать я, стараясь быть поточней.

Отец задумался.

— Нет, невероятно. Брежнев, Подгорный, Шелепин — совершенно разные люди. Не может этого быть,— в раздумье произнес он.— Игнатов — возможно. Он очень недоволен, и вообще он нехороший человек. Но что у него может быть общего с другими?

Он не ждал от меня ответа. Я выполнил свой долг — дальнейшее было вне моей компетенции.

Мы опять повернули к даче. Шли молча. Уже у самого дома он спросил меня:

— Ты кому-нибудь говорил о своей встрече?

— Конечно нет! Как можно болтать о таком?

— Правильно,— одобрил он,— и никому не говори.

Больше к этому вопросу мы не возвращались.

В понедельник я впервые после болезни отправился на работу. За ворохом новостей о происходившем на полигоне я совсем забыл о Галюкове.

Вечером, когда отец вернулся из Кремля, я был уже дома. Увидев подъезжавшую машину, я вышел навстречу.

Отец, продолжая вчерашний разговор, сразу же начал без предисловий:

— Видимо, то, о чем ты говорил, чепуха. Мы с Микояном и Подгорным вместе выходили из Совета Министров, и я в двух словах пересказал им твой рассказ. Подгорный просто высмеял меня: «Как вы только могли такое подумать, Никита Сергеевич?» — вот его буквальные слова.

У меня сердце просто упало. Этого мне только не хватало: завести себе врага на уровне члена Президиума ЦК. Ведь если все это ерунда, то Подгорный, да и другие, кому он не преминет обо всем рассказать, никогда мне не простят. Все, что я рассказал, можно квалифицировать как провокацию против них.

Начиная разговор с отцом, я опасался чего-то подобного. Боялся, что информация выйдет наружу, но такого я предположить не мог.

Правда, и раньше случались похожие происшествия. Некоторое время назад отец долго меня расспрашивал о сравнительных характеристиках различных ракетных систем. Я рассказал ему все, что знал, стараясь сохранить объективность. Я не хотел выступить апологетом своей «фирмы». На вооружении нашей армии должно быть все самое лучшее, а кто что сделал — вопрос другой. Слишком дорого мы заплатили в 1941 г. за субъективизм, чтобы забыть эти кровавые уроки. А через несколько дней, выступая на Совете обороны со своими соображениями о развитии индустрии вооружений, отец вдруг бухнул: «А вот Сергей мне говорил то-то и то-то»...

Когда мне об этом сообщили, я за голову схватился! И надо же было мне лезть со своим мнением вперед. Можно было сказать, что я, мол, не в курсе дела. Вот и «продемонстрировал» свою эрудицию и рвение в защите государственных интересов. А теперь люди, с которыми мне работать, не простят мне ни одного критического замечания отца в их адрес.

С тех пор я решил больше в такие ситуации не попадать. И вот на тебе — еще хуже — влопался по самые уши и с кем?! С членами Президиума ЦК!!!

— В среду я отправлюсь, как собирался, на Пицунду, по дороге залечу в Крым, проеду по полям в Красно-

дарском крае,— продолжал отец.— На всякий случай я попросил Микояна побеседовать с этим человеком. Он тебе позвонит. Пусть проверит. Он тоже собирается на Пицунду, задержится тут немного, все выяснит, когда прилетит, мне расскажет.

— Может, тебе задержаться и самому поговорить с этим человеком? — робко предложил я.

Отец поморщился. Было видно, что заниматься этим делом он не станет.

— Нет, Микоян — человек опытный. Он все сделает. Я устал, хочу отдохнуть. И вообще... давай прекратим этот разговор.

— Можно я тоже прилечу па Пицунду? В этом году я в отпуске не был. Поживу там с тобой,— переменил я тему разговора. В конце концов, ему виднее, как поступать в подобной ситуации.

— Конечно! Мне будет веселее,— обрадовался он.— Сведешь этого чекиста с Микояном, бери отпуск и приезжай.

Отец улетел в Крым, где провел пару дней, а затем, с заездом в Краснодарский край, прибыл на Пицунду. Я оставался в Москве, решив не проявлять больше инициативы. Несколько дней прошло в обычных служебных хлопотах. Никто мне не звонил. Иногда на меня накатывало какое-то предчувствие опасности, но я гнал его прочь,— нечего впадать в панику. Свой долг я выполнил — остальное не мое дело...

И вдруг как-то, в один из этих предотъездных дней у меня на столе зазвонил телефон. Я снял трубку.

— Хрущева мне,— раздался требовательный голос.

Обращение было по меньшей мере необычным, и я несколько опешил.

— Я вас слушаю...

— Микоян говорит,— продолжал мой собеседник.— Ты там говорил Никите Сергеевичу о беседе с каким-то человеком, можешь его привезти ко мпе?

— Конечно, Анастас Иванович. Назовите время, я созвонюсь и привезу его, куда вы скажете,— отозвался я.

— На работу ко мне не привози. Приезжайте па квартиру сегодня в семь часов вечера. Привези его сам и поменьше обращайте на себя внимание,— то ли попросил, то ли приказал Анастас Иванович.

— Не знаю, удастся ли его сразу разыскать. Ведь

у меня только домашний телефон, его может не быть дома,— засомневался я.

— Если не найдешь сегодня, привезешь завтра. Только предупреди меня,— закончил Анастас Иванович.

Я тут же набрал телефон Галюкова. На мое счастье, он оказался дома и сам снял трубку.

— Василий Иванович, с вами говорит Сергей Никитич,— начал я, умышленно не называя фамилии.— С вами хочет поговорить Анастас Иванович. У него надо быть в семь часов вечера, я за вами заеду без двадцати минут семь.

В тоне Галюкова было мало радости по поводу моего звонка, а когда я сказал о Микояне, он просто испугался.

— Я бы не хотел, чтобы меня узнали. Меня хорошо знает Захаров *, могут быть неприятности,— пробормотал он.

— Не беспокойтесь. Мы поедем прямо на квартиру в моей машине, я сам буду за рулем. В семь часов уже темно. Охрана меня хорошо знает в лицо, я часто у них бываю, дружу с сыном Микояна — Серго. Они не будут выяснять, кто сидит со мной в машине,— успокоил я его.

Не знаю, подействовали ли на Василия Ивановича мои разъяснения, или он понял, что выхода у него другого нет, но больше он не возражал.

Без пяти минут семь мы были у ворот особняка Микояна. Как я и ожидал, выглянувший в калитку охранник узнал меня и, ничего не спрашивая, открыл ворота. Мы подъехали ко входу и быстро прошли в незапертую дверь. Аллея перед домом делала поворот, и от въезда нас не было видно.

Прихожая была пуста. Меня это не смутило, я хорошо знал расположение комнат в доме. Раздевшись, мы поднялись на второй этаж и постучали в дверь кабинета.

— Войдите,— раздался голос Анастаса Ивановича.

Микоян встретил нас посреди комнаты, сухо поздоровался. Одет он был в строгий темный костюм, только на ногах были домашние туфли.

Я представил ему Галюкова.

Обычно Анастас Иванович встречал меня приветливо, осведомлялся о делах, подшучивал. На этот раз он

* Захаров Н. С.— в октябре 1964 г. один из руководящих сотрудников КГБ, в прошлом начальник управления охраны.

был холодно-официален и всем своим видом подчеркивал, насколько ему неприятен наш визит.

Анастас Иванович предложил нам сесть в кресла. Сам он устроился за столом. Обстановка была сугубо официальной.

— Ручка есть? — спросил он меня.

— Конечно,— не понял я, полез в карман и показал авторучку.

Микоян кивнул на стопку чистых листов, лежавших на столе.

— Вот бумага, будешь записывать наш разговор. Потом расшифруешь запись и передашь мне.

После этого он обратился к Галюкову несколько приветливее:

— Повторите мне то, что вы рассказывали Сергею. Постарайтесь быть поточнее. Говорите только то, что вы на самом деле знаете. Домыслы и предположения оставьте при себе. Вы понимаете всю ответственность, которую берете на себя вашим сообщением?

Василий Иванович к тому времени полностью овладел собой. Конечно, он волновался, но внешне это никак не проявлялось.

— Да, Анастас Иванович, я полностью сознаю ответственность и отвечаю за свои слова. Позвольте изложить вам только факты.

Галюков почти слово в слово повторил то, что он говорил мне во время нашей встречи в лесу.

Я быстро писал, стараясь не пропустить ни слова.

Пока Галюков рассказывал, Микоян периодически кивал ему головой, как бы подбадривая, иногда слегка морщился. Но постепенно он стал явно проявлять все больший интерес.

Василий Иванович закончил рассказ об уже известных мне событиях и вопросительно посмотрел на Микояна.

— Вы давно работаете с Игнатовым? Расскажите о нем, может быть, вас что-то настораживало раньше? — поинтересовался Микоян.

Галюков начал вспоминать о каких-то фактах многолетней давности, они неожиданно вплетались в недавние события.

— Нужно сказать, что отношение Игнатова к Хрущеву менялось в зависимости от продвижения Николая Григорьевича вверх или вниз по служебной лестнице.

А у него постоянно взлеты перемежались падениями. В эти периоды он начинал зло ругать Хрущева.

Когда нас перевели из Ленинградского обкома в Воронеж, Игнатов был очень недоволен — из второй столицы выбросили в рядовую область.

Помню, приехал Никита Сергеевич к нам в Воронеж на совещание по сельскому хозяйству. Он тогда объезжал основные районы, проверял подготовку к севу, беседовал с активом. Вышел Хрущев из вагона, поезд был не специальный, а обычный. Вокруг народ снует, каждый своим делом занят: одни целуются, обнимаются, другие уже вещички к выходу тащат. Никто на Хрущева внимания не обращает. Только уж если кто совсем на него переть начинает, охранник в штатском вежливо ручкой показывает — мол, обойдите сторонкой.

Все это недолго продолжалось.

Местное начальство, конечно, встречать Хрущева приехало: обком, исполком, военные, как принято. Только мы подошли, толпа стала собираться — любопытно, кого это встречают. Тут и узнали Хрущева, зааплодировали, приветствовать стали, выкрики раздались одобрительные. Игнатов все заметил и, когда мы, проводив Хрущева в приготовленную для него резиденцию, садились в свою машину, удовлетворенно отметил:

— Не любят его. Видел, как плохо встречали?..

Совещание проходило бурно. На нем были не только воронежцы, но и руководители соседних областей. Никита Сергеевич часто перебивал докладчиков, задавал вопросы, вставлял едкие критические замечания. Другим доставалось, а Воронежскую область он даже похвалил.

В перерыве, когда Игнатов вышел из комнаты президиума, я поздравил его:

— С успехом вас, Николай Григорьевич, нас одних Никита Сергеевич похвалил.

— Что ж, я мало труда вложил? — задиристо ответил Игнатов.

— Бывает, работаешь, работаешь, сил не жалеешь, а начальство приедет и по косточкам разложит.

— Хм, попробовал бы он только. Я бы его сам разделал...— отозвался он и отошел.

Или вот в ту же осень отдыхали мы в Сочи, как обычно. Я узнал, что на отдых приезжает Хрущев. Доложил об этом Игнатову и предложил съездить в Адлер на аэродром встретить.

Игнатов меня выругал:

— Хруща-то? Иди ты с ним... Если хочешь, встрсчай сам.

Надо сказать, что в раздражении он никогда не произносил фамилию правильно, а сокращал презрительно: «Хрущ».

Потом из Воронежа мы перебрались в Горьковский обком. И там Игнатов не мог забыть, что его выдворили из Ленинграда, по каждому поводу выражал свое неудовольствие.

Стал Хрущев именоваться не просто секретарем ЦК, а Первым секретарем, Игнатов тут же:

— Вот, приставку себе приделал. Ничего, он долго не протянет. Лет пять еще от силы. Возраст у него уже преклонный.

Про пленумы и совещания по сельскому хозяйству отзывался неизменно презрительно:

— Ничего у них не выйдет. Болтовня одна...

Потом все переменилось. Хрущев приезжал в Горький; он тогда предложил отсрочку платежей по займам. Они долго разговаривали с Игнатовым, и того как подменили — начал он Хрущева расхваливать на всех перекрестках. Я думаю, что у них был разговор о переводе Игнатова на работу в Москву.

В 1957 г. в первых числах июня Никита Сергеевич пригласил Игнатова (он тогда еще в Горьком был) и Мыларщикова (заведующего Отделом сельского хозяйства ЦК КПСС) к себе на дачу посмотреть посевы. Стал он нам показывать грядки с чумизой и кукурузой. Тогда Хрущев увлекался чумизой — надеясь, что ее можно будет выращивать в наших условиях и получать большие урожаи. Когда выяснилось, что культура эта требует большого ухода и очень капризна, Никита Сергеевич к ней охладел и впоследствии к мысли о широком ее внедрении не возвращался.

Когда Хрущев и Мыларщиков отошли чуть в сторону, Николай Григорьевич поманил меня:

— Скажи Мыларщикову, пусть уезжает, не задерживается. Мне с Хрущевым наедине поговорить надо.

Мыларщиков вскоре уехал.

В это время против Хрущева выступила «антипартийная группа». Игнатов был на стороне Хрущева.

Хрущев довольно долго гулял с Игнатовым, о чем-то ему рассказывал, видимо о ситуации, сложившейся в

Президиуме ЦК, говорил о позиции, занятой Молотовым, Кагановичем, Маленковым и другими.

Мы с начальником охраны Хрущева следовали за ними чуть поодаль и, естественно, разговора не слышали, только под конец до нас долетела фраза, сказанная Игнатовым:

— ...Это дело нужное. Надо его решать.

Видимо, речь шла о Пленуме ЦК, который должен был вот-вот собраться для обсуждения разногласий, возникших в Президиуме. На этом Пленуме после осуждения «антипартийной группы» Игнатов вошел в состав Президиума ЦК. Он был на седьмом небе от счастья, но пытался не подать вида, как будто ничего иного и не могло произойти.

Сразу же он озаботился вопросом, как распределятся портфели в Президиуме и какой пост достанется ему. К Хрущеву с этим вопросом он идти не решился и подключил к выяснению Валентина Пивоварова, он в то время работал секретарем в приемной Хрущева.

Вскоре Пивоваров сообщил Игнатову:

— Прощупал Хрущева. Будешь секретарем ЦК.

Игнатов очень обрадовался. Но его ждало разочарование. Он рассчитывал занять пост второго секретаря. Просто был уверен в этом. И тут разочарование — вторым секретарем избирают Алексея Илларионовича Кириченко, а Игнатов становится рядовым секретарем, отвечающим за сельское хозяйство.

Ярости его не было границ.

— Чем я хуже Кириченко? Что я, хуже его разбираюсь?

Благожелательное отношение к Хрущеву опять перешло в плохо скрытую ненависть.

Хрущев стал для него как бы навязчивой идеей. Бывало, вглядывается мне в лицо и вдруг говорит:

— Ну и рожа у тебя. Да ты такой же держиморда, как Хрущ.

Другой раз сидит в кресле, молчит и как бы про себя бурчит:

— Он же дурак дураком...

— Вы о ком, Николай Григорьевич? — спрашиваю.

— О Хруще, о ком же еще? И я мог бы так же. Говорили мне, чтобы брал руководство. И надо было.

— Но ведь тяжеловато...— осторожно возразил я.

Этот эпизод привлек внимание Микояна, и он уточнил:

— А когда это было?

— Точно не скажу, помню только, что в 1959 г. Видимо, такая точка зрения сложилась в результате разговоров Игнатова с приятелями: Дорониным, Киселевым, Жегалиным, Денисовым, Хворостухиным, Лебедевым, Игнатьевым, Патоличевым... Правда, с Патоличевым после назначения его министром внешней торговли они разошлись.

— Товарищ Галюков,— вмешался опять Анастас Иванович,— вы сами говорите, что неприязнь Игнатова к Хрущеву существует давно, а обратились к нам только сейчас. Чем это вызвано? Почему у вас появились сомнения? Когда это произошло?

Василий Иванович был готов к ответу, видимо, он много думал на эту тему:

— Сомнения, подозрение, что что-то происходит, оформились у меня в Сочи в этом году. Раньше разговорам Игнатова я особого значения не придавал — болтает себе и пусть болтает. Гуляем, а он ругает Хрущева, остановиться не может. Никак не мог простить, что его на XXII съезде не выбрали в Президиум ЦК:

— В 1957 г. мой Пленум был, без меня они бы не справились. (Речь идет об осуждении «антипартийной группы» Молотова, Кагановича и других.— С. Х.)... Сколько я сделал! А он сельское хозяйство запустил. Я бы за два-три года все поднял, он только болтает, а дела нет!

Летом разговоры стали целенаправленнее. Кроме того, его отношения со многими людьми вдруг резко изменились. До последнего лета Игнатов плохо относился к Шелепину, Семичастному, Брежневу, Подгорному и многим другим. Доброго слова о них не говорил, а тут постепенно все они перешли в разряд друзей. Сам Игнатов не переменился, значит, изменились обстоятельства, что-то их объединило в одной упряжке. После 1957 г. до последнего времени Игнатов при каждом удобном случае злословил по адресу Брежнева:

— Занял пост, а что он сделал? Даже выступить как следует не мог. Лазарь (Каганович.— С. Х.) на него прикрикнул, он и сознание от страха потерял, «борец».*

* Вскоре после XIX съезда партии, когда Сталин резко расширил Президиум и Секретариат ЦК, Брежнева избрали секретарем ЦК. После смерти Сталина состав этих органов был сокращен до прежних размеров. Пришлось подыскивать места для «безработных». Брежнева определили начальником

Потом отношение Игнатова к Брежневу стало более ровным, но он ревниво следил за каждым его шагом.

Николай Григорьевич все время сохранял надежду на возвращение в Президиум ЦК и лелеял надежду занять пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Когда стало известно, что Брежнев в скором времени полностью сосредоточится на работе в Секретариате ЦК, Игнатов начал активно обзванивать всех, выясняя, кого планируют на освободившееся место, какие у него шансы. В это время Хрущев находился на Украине, Брежневу Николай Григорьевич звонить не хотел, но постоянно переговаривался с Подгорным. Тот его обнадежил, передав свой разговор с Хрущевым в Крыму. Они тогда затронули вопрос о Председателе Президиума, видимо, у Хрущева к тому времени не сложилось определенного мнения о возможной кандидатуре. На вопрос Подгорного, кто же планируется на этот пост, Хрущев ничего не ответил.

Тогда, как сообщил Подгорный Игнатову, он решил спросить впрямую:

— Может быть, подошел бы Игнатов?

Хрущев ответил неопределенно:

— Посмотрим, посоветуемся.

Основываясь на этом случайном разговоре, Николай Викторович уверял Игнатова, что он убедил Хрущева, и определенно обещал:

— Никита Сергеевич согласился со мной и думает решить вопрос о твоем назначении.

У Игнатова вырвалось непроизвольно:

политуправления Военно-Морского Флота, что было, без сомнения, не очень почетно для него. Леонид Ильич остро переживал такой поворот своей судьбы. Когда обстановка несколько разрядилась, Никита Сергеевич вспомнил о своем старом соратнике, и Брежнев вновь занял пост секретаря ЦК. В июне 1957 г. на заседаниях Президиума и Секретариата ЦК он оказался среди меньшинства, поддерживающего Хрущева. Дебаты были бурными.

Когда очередь выступать дошла до Леонида Ильича, он начал что-то говорить, отстаивая свою позицию, но слушать его не стали, а Каганович грубо оборвал:

— А ты чего лезешь? Молод еще нас учить. Никто твоего мнения не спрашивает. Мало во флоте сидел? Смотри, обратно загоним — не выберешься.

Расстановка сил на заседаниях была не в пользу Хрущева, и угроза была вполне реальной. Брежнев испугался, силы ему изменили, и после такой отповеди он упал в обморок. Пришлось вызывать врача и приводить его в сознание.

— Ну а если правда?

Он и верил и не верил, что давняя мечта может сбыться. И поэтому допытывался у Подгорного, что же еще сказал Хрущев, насколько все это точно?

Подгорный, естественно, ничего добавить не мог, разговор был мимолетным, и больше в поездке к нему не возвращались. Оставил он Игнатова окрыленным надеждой, и тем сильнее было разочарование. Председателем Президиума стали вы, Анастас Иванович. Узнав об этом, Николай Григорьевич целый вечер почем зря честил и вас, и Никиту Сергеевича. В этом году, возвращаясь домой, Николай Григорьевич часто сообщал как бы невзначай: «Долго мы сегодня у Николая засиделись» — и замолкал многозначительно. Иногда бросал: «Был сегодня у Брежнева. Полезно поговорили. Он меня уверял, что все будет хорошо».

Надо сказать, что после того, как Подгорного резко критиковали на Президиуме ЦК, Игнатов очень близко с ним сошелся. Раньше отношения с ним были прохладными. Взять хотя бы поездку на празднование 150-летия вхождения Азербайджана в состав России. Игнатов очень хотел поехать в Баку руководителем делегации Москвы. Вроде все шло к тому, но в последний момент делегацию возглавил Подгорный. Опять разговорам не было конца. «И чего его черт туда несет... Опять мы будем на вторых ролях...» — причитал Игнатов. В Баку ему все не нравилось, особенно доклад Ахундова на торжественном заседании. В нем часто цитировался Хрущев. Игнатов возмущался: «Зачем это Ахундову надо? Зачем как попка за ним повторяет? Совсем ситуации не понимает...»

В Баку нас поселили в одном особняке с Подгорным, но Игнатов с ним почти не общался. Поздороваются только и разойдутся в разные стороны. Подгорный готовился к выступлению, а Игнатову делать было нечего, и, чтобы убить время, он целыми днями гулял вокруг особняка.

Ему нужен был слушатель, и я неизменно его сопровождал. На какую бы тему ни начинался разговор, постепенно он стягивался к Подгорному. Казалось, о другом Игнатов не может думать. Чего-то он опасался, часто повторял в раздумье:

— Опасный это человек. Ох опасный... А что о нем ребята его говорят, охрана?

Я тогда, помню, уклонился от прямого ответа.

— Мы, Николай Григорьевич, об этом не разговариваем. Между собой такие темы не затрагиваем.

— Ладно. Может, оно и правильно. Но человек он опасный. Очень опасный.

Разговор на том и прекратился.

В Баку Николай Григорьевич держался особняком, видно, чувствовал себя обиженным. Он только встретился с Заробяном, просидели часа два, но о чем говорили, я не знаю.

Галюков замолчал, видимо собираясь с мыслями:

— Еще вспоминаются разрозненные эпизоды. Не могу сказать конкретнее, но Игнатов часто упоминал о недовольстве военных: «И им Хрущ, говорит, надоел, со своими сокращениями — поперек горла. Они только и ждут, чтоб его...»

Игнатов тогда не договорил, а только со смаком подковырнул большим пальцем.

Анастас Иванович заинтересовался:

— А как вы думаете, кого он имел в виду?

Галюков замялся.

— Не знаю. Он фамилий не называл. Вот с маршалом Коневым они часто встречались. Вместе были в Чехословакии на похоронах Антонина Запотоцкого и там сблизились. После ухода Конева в отставку отношения у них остались теплыми. Они перезванивались, поздравляли друг друга с праздниками, но настоящей близости, дружбы не было. Других я не знаю...

В последнее время Игнатов выглядел очень нервным, часто срывался на крик, особенно его беспокоило, почему Никита Сергеевич не уезжает в отпуск. Даже выругался недавно: «И что он, черт, отдыхать не едет?» Мне кажется, этот повышенный интерес к отпуску Хрущева как-то связан со всем происходящим,— добавил Галюков.

— Вы излагайте факты, а выводы мы сделаем сами,— повторил Анастас Иванович.

— В последние дни отношение ко мне Игнатова переменилось. Я думаю, что факт моего разговора с Сергеем Никитичем стал ему известен. Очевидно, за нами следили и предупредили Игнатова. Николай Григорьевич стал очень настороженным, никаких откровенных разговоров со мной не ведет и вообще старается держать меня подальше. Конкретные факты привести трудно, но я чувствую, что он мне больше не доверяет.

На днях Николай Григорьевич был на торжественном заседании по случаю 100-летия Первого Интернационала. И в тот же вечер в разговоре со мной по телефону сказал:

— Там выступал Никита Сергеевич, говорил он просто замечательно.

Эти слова резанули мой слух. Такого я давно не слыхал. Последнее время он вообще иначе как «Хрущ» не говорил, а тут — «Никита Сергеевич... говорил замечательно...» Очень мне такой оборот не понравился. 30 сентября я позвонил Игнатову опять. На душе было неспокойно. Николай Григорьевич сам взял трубку.

— Что тебе нужно? — спрашивает.

— Да вот увидел в окнах свет и решил проверить: может, чужие в квартире. Разрешите зайти снять показания со счетчика.

— Ладно, ладно. Завтра сделаешь...— Игнатов, не закончив фразы, повесил трубку. Он явно хотел от меня отделаться. Ну... вот, собственно, и все...

Галюков вытащил платок и отер вспотевший лоб.

Я отложил ручку и стал разминать затекшие пальцы. Передо мной лежала груда листков, испещренных сокращениями, недописанными словами,— я очень торопился, стараясь не упустить ни слова.

В кабинете повисла настороженная тишина.

Микоян сидел задумавшись, не обращая на нас никакого внимания. Мысли его были где-то далеко. Наконец он повернул к нам голову, выражение лица было решительным, глаза блестели.

— Благодарю вас за сообщение, товарищ...

Анастас Иванович запнулся и взглянул на меня.

— Галюков, Василий Иванович Галюков,— торопливо, вполголоса подсказал я.

— ...Галюков,— закончил Микоян.— Все, что вы сказали, очень важно. Вы проявили себя настоящим коммунистом. Я надеюсь, вы учитываете, что делаете это сообщение мне официально и тем самым берете на себя большую ответственность.

— Я понимаю всю меру ответственности. Перед тем как обратиться с моим сообщением, я долго думал, перепроверял себя и целиком убежден в истинности своих слов. Как коммунист и чекист, я не мог поступить иначе,— твердо ответил Галюков.

— Ну что ж, это хорошо. Я не сомневаюсь, что эти сведения вы нам сообщили с добрыми намерениями, и благодарю вас. Хочу только сказать, что мы знаем и Николая Викторовича Подгорного, и Леонида Ильича Брежнева, и Александра Николаевича Шелепина, и других товарищей как честных коммунистов, много лет беззаветно отдающих все свои силы на благо нашего народа, на благо Коммунистической партии, и продолжаем к ним относиться как к своим соратникам по общей борьбе!

Увидев, что я положил ручку, Анастас Иванович коротко бросил:

— Запиши, что я сказал!

Анастас Иванович встал, давая понять, что разговор закончен.

— Если у вас будут какие-то добавления или новости, позвоните Сергею. Когда понадобитесь, мы вас вызовем,— и, повернув голову ко мне, Микоян закончил: — Оформи запись беседы и передай мне. Я 3-го улетаю на Пицунду.

— Я тоже поеду туда, хочу догулять отпуск,— ответил я.

— Туда и привезешь запись. Никому ее не показывай, ни одному человеку. Я расскажу обо всем Никите Сергеевичу, посоветуемся.

Анастас Иванович протянул Галюкову руку:

— Сергей отвезет вас.

По ярко освещенной лестнице мы спустились в пустую прихожую. Одевались торопливо, чтобы нас не заметили. Но дом был пуст. Василий Иванович нервничал, пытался скрыть свое волнение и от этого нервничал еще больше.

Мы сели в машину. Было видно, что он крайне подавлен. Я начал его успокаивать:

— Вы поступили совершенно правильно. Последние слова носили просто характер общей декларации. До проверки Анастас Иванович не хотел бросать тень на членов Президиума ЦК.

Василий Иванович не стал со мной спорить. Условившись при необходимости созвониться, мы расстались.

Больше я Галюкова не видел. События вскоре понеслись вскачь, и было не до встреч.

Я очень беспокоился за его судьбу — наверняка Игнатов все знал и не преминул расправиться с «изменником». А может, его арестовали? Окольными путями

я позднее выведал, что неприятности у Василия Ивановича были, но всерьез им не занимались и вскоре оставили в покое. Больше наши пути не перекрещивались.

...Разложив свои листочки, я принялся за работу. Писал разборчиво, почти печатными буквами. Дело продвигалось медленно. Я вспоминал каждую фразу, старался не упустить ни слова. Постепенно втянулся, разговор врезался мне в память намертво. Крупные буквы заполняли страницу за страницей...

Вот и последняя страница. Заявление Анастаса Ивановича я опустил — как-то оно не укладывалось в общий тон сухого перечисления фактов. Ведь пишу я не декларацию, а справку для памяти.

Аккуратно собрал исписанные листы. Мелькнула мысль: «Надо было бы под копирку сделать второй экземпляр». И тут же ее отбросил: «Зачем? Документ слишком секретный. Мало ли кому он может попасть в руки?» В тот момент я не мог себе представить реальной судьбы этой записки. Потом пришлось восстанавливать все по моим заметкам, благо хватило ума их не сжечь...

Итак, я — в отпуске.

Позади короткий перелет, и вот уже машина тормозит у знакомых зеленых ворот пицундской дачи. В доме все идет по давно заведенному распорядку. Отец занят послеобеденной почтой.

Коротко здороваемся.

— Ты пообедай, а я пока закончу читать. Потом пойдем погуляем,— говорит он и возвращается к тоненьким листочкам с красной типографской шапкой — расшифрованным донесениям послов.

Все как обычно.

Через час-полтора дела закончены, и мы выходим на аллейку, тянущуюся вдоль пляжа. Но сначала заходим в соседний дом за Микояном.

Мне не терпится узнать, что же происходит, но вопросов не задаю. Надо будет — сами скажут.

И все-таки, не утерпев, вставляю в их разговор:

— Я привез запись, Анастас Иванович. Что с ней делать?

— Вернемся, отдашь Анастасу,— отвечает за Микояна отец.— Вчера приезжал к нам Воробьев, секретарь Краснодарского крайкома,— продолжил он.— Мы его спросили обо всех этих разговорах с Игнатовым. Он

все начисто отрицал. Оказывается, ничего подобного не было. Он нас заверил, что информация этого человека, забыл его фамилию,— плод воображения. Он у нас тут целый день был. Еще пару индюков в подарок привез, очень красивых. Ты сходи на хозяйственный двор, посмотри.

Считая тему исчерпанной, отец вернулся к текущим делам.

Я оторопел. Так, значит, они все эти дни не только ничего не предпринимали, но даже не пытались выяснить, соответствует ли истине полученная информация?!

«Поговорили с Воробьевым»,— но если он действительно о чем-то договаривался с Игнатовым, что-то знает, то, без сомнения, им ничего не скажет. Интересно, чего они ожидали: признания в подготовке отстранения Хрущева? Что это? Наивность? Как можно проявлять такое легкомыслие?

Только значительно позже я понял истоки поведения отца. Он не верил, не хотел верить в возможность такого поворота событий. Ведь люди, против которых выдвинуты обвинения, были его друзьями в течение десятилетий! Если не верить им, то кому же верить? К тому же 70-летний отец устал, безмерно устал морально и физически. У него не было ни сил, ни желания вступать в борьбу за власть. Пусть все идет своим чередом, я вмешиваться не буду — очевидно, решил он.

...Наконец мы вернулись к даче. Микоян сказал, что пойдет к себе, а после ужина зайдет. Отец пригласил его вечером посмотреть присланный из Москвы новый кинофильм. Пока они разговаривали, я сбегал в свою комнату и принес папку с записью беседы. Правда, я уже перестал понимать, нужна ли она еще кому-нибудь здесь, на Пицунде. Анастас Иванович, не раскрывая, сунул папку под мышку и ушел к себе.

Вечером, после окончания фильма, Анастас Иванович попросил меня зайти. Недоумевая, я пошел следом за ним. Мы поднялись на второй этаж, и он жестом пригласил меня в спальню. Там он открыл трехстворчатый гардероб и, согнувшись, полез рукой под высокую стопку белья, лежавшую на нижней полке. Повозившись, он достал из-под белья мою папку.

— Все правильно записано, только добавь в конце мои слова о том, что мы полностью доверяем и не сомневаемся в честности товарищей Подгорного, Брежнева и

других, не допускаем мысли о возможности каких-то сепаратных действий с их стороны.

Микоян говорил «мы» по привычке, от имени Президиума ЦК. Меня это не удивило.

Мы вышли из спальни в столовую, точно такую же, как и у нас на даче. Даже мебель и чехлы на ней были одинаковы.

— Садись пиши.

Я присел и начал писать. Анастас Иванович стоял рядом, изредка поглядывая через мое плечо. Закончив писать, я протянул ему рукопись. Он внимательно прочитал последний абзац и удовлетворенно кивнул. Некоторое время он о чем-то раздумывал, потом протянул листы мне назад.

— Распишись.

Я удивился: это же не официальный документ.

— А зачем?

— Так лучше. Ведь ты же записывал беседу.

Никаких оснований возражать у меня не было. На многочисленных стенограммах, которые мне приходилось читать вслух отцу, всегда внизу стояло: «Беседу записал такой-то». Я взял листок и расписался.

— Вот теперь все хорошо.

Анастас Иванович аккуратно подровнял листы, сложил их в папку и молча направился в спальню. Я не знал, что мне делать, и, секунду поколебавшись, так же молча последовал за ним. Микоян открыл шкаф и засунул папку под стопку рубашек. Повернувшись, он уловил мой недоуменный взгляд.

— Здесь будет сохраннее,— немного смутившись, пояснил Анастас Иванович,— а вообще этот твой человек, видимо, много навыдумывал. Воробьев вчера полностью все отрицал. Бывает, у людей излишне разыгрывается подозрительность.

Я попытался осторожно заметить, что если сказанное Галюковым — правда, то вряд ли Воробьев — участник всего этого дела — сразу, без каких-то доказательств, признается.

— Ладно, иди домой,— ответил Микоян, явно не желая обсуждений.

Когда я вернулся, отец уже ушел к себе дочитывать вечернюю порцию бумаг.

Утро 12 октября встретило нас теплой ясной погодой. Невысокое солнце слабо пригревало. На тумбах вокруг дома торчали шапками яркие георгины, алели

капны — последние цветы уходящего летнего сезона.

О Галюкове и его предупреждениях не вспоминали. Микоян не появлялся, а отец после завтрака и массажа удобно расположился в кресле на открытой террасе плавательного бассейна, выстроенного у самой кромки воды. Рядом с ним стоял легкий плетеный столик с аппаратом «ВЧ».

— Что там у нас? — спросил отец помощника, державшего в одной руке толстую папку с полученными сегодня из Москвы документами. В другой у него был тугой портфель с бумагами, ждущими своей очереди: материалы новой Конституции, докладные записки, проекты постановлений, требующие изучения.

— Ничего срочного, Никита Сергеевич,— ответил Владимир Семенович Лебедев. Сегодня была его очередь докладывать почту.

— Хорошо, сейчас посмотрим. А как дела с материалами по Конституции?

— В ближайшие дни обработаем ваши замечания и представим,— как обычно, вежливо улыбнулся Лебедев.

— Мы тут на свободе занялись подготовкой текста новой Конституции. Затянули это дело. Хотелось к Пленуму в ноябре подготовить редакцию для обсуждения. Я надиктовал свои мысли, сейчас над ними работают,— пояснил мне отец.

Моего ответа не требовалось. Я мог слушать доклад молча, пока очередь не доходила до секретных документов. Тогда отец обычно кратко бросал: «Сходи-ка погуляй...»

— Завтра вы принимаете француза Гастона Палевского — государственного министра. Он прилетит вечерним самолетом,— напомнил Лебедев.— Вот справка о нем.

— Хорошо, положите. С гостем поступим так: привозите его часа в два. Мы с ним поговорим, а потом погуляем по парку и пообедаем вместе,— отозвался отец.

Лебедев положил на стол тонкую бумажную папку со справкой, а рядом легли толстые папки: зеленая — с материалами зарубежной прессы, красная — с шифровками послов и серо-голубая — с бумагами, поступившими из различных ведомств. Сам Владимир Семенович сел рядом на стул и приготовился докладывать. Последнее время помощники все чаще читали бумаги вслух, зрение у отца стало хуже, глаза быстро уставали.

Только документы, требующие особого внимания, он читал сам.

Сегодня отец не торопился приступать к просмотру почты. День был не совсем обычным — утром должны были запустить на орбиту космический корабль «Восход» с экипажем из трех человек.

Отец внимательно следил за каждым запуском. Ракетная и космическая техника были его любимицами, и он всей душой болел за каждый новый шаг, с детской непосредственностью радовался удачам и горько переживал неполадки. Аварийных запусков с космонавтами не случалось, но никто не был от них застрахован. Именно поэтому он запрещал такие запуски приурочивать к праздникам: вдруг произойдет несчастье.

— Работайте спокойно, без спешки, не гонитесь за торжественными датами. Пускайте людей только после тщательной подготовки,— неоднократно повторял он Королеву.

Час запуска был известен отцу, и он то и дело поглядывал на небольшие прямоугольные карманные часы, подаренные ему Лео Сцилардом, известным физиком.

Отец очень дорожил этими часами и с удовольствием демонстрировал их всем желающим. Часики были заключены в стальной футляр, состоящий из двух половинок, раздвигающихся в стороны. Тогда становился виден циферблат. При открывании и закрывании часы подзаводились, это особенно нравилось отцу, он любил остроумные технические решения.

Льстило ему и то, что это подарок от такой мировой знаменитости, как Сцилард. Отец любил рассказывать, что сказал ему Сцилард, вручая эти часы:

— Я хотел подарить вам какой-нибудь сувенир, доставивший бы вам удовольствие. Не хотелось делать формальный подарок. Эти часы очень удобны, я сам ношу такие — они закрыты в корпусе и не разобьются, их не надо заводить по утрам. Нам, пожилым людям, бывает тяжело носить наручные часы, они мешают кровообращению. Надеюсь, вы будете ими пользоваться.

Искренность и сердечность очень тронули отца, запали ему в душу.

И сейчас, сидя в кресле, он поигрывал часами, то и дело открывая и закрывая крышки.

— Запуск прошел,— объявил он и посмотрел на телефон. Телефон молчал.

— Еще рано, наверное, не успели получить информацию.

Обычно сразу после запуска отцу звонил заместитель Председателя Совета Министров Л. В. Смирнов, отвечавший за ракетную технику, докладывал о результатах, потом звонил Королев, иногда Малиновский. Каждому хотелось первым сообщить приятную весть и получить свою порцию комплиментов.

Сам отец не звонил, не справлялся, как идут дела.

— Пусть спокойно работают. Помочь я им ничем не могу, а звонки начальства только нервируют, люди начинают спешить, могут ошибиться. В этом деле ошибки недопустимы,— разъяснял он свою позицию.

На сей раз телефон молчал долго. Отец занялся бумагами, но сосредоточиться не мог. То и дело он поглядывал на массивный белый аппарат. Никто не звонил. Прошло полчаса, 40 минут — молчание становилось все более странным. Если все благополучно, то космонавты давно на орбите; если произошла задержка или авария, то тоже должны были уже сообщить...

Мне стало не по себе. Казалось, о Хрущеве забыли, сбросили со счетов, и никто уже не интересовался ни его мнением, ни его распоряжениями. Что-то зловещее было в этом молчащем телефонном аппарате. Засосало под ложечкой, опять невольно вспомнился Галюков, события последних недель.

«Нет, это неспроста»,— подумал я.

Видимо, у отца тоже появились такие мысли, и он приказал Лебедеву:

— Соедините меня со Смирновым.

— У телефона Смирнов,— через минуту доложил Владимир Семенович.

Связь действовала отлично.

Отец взял трубку.

— Товарищ Смирнов,— сдержанно произнес он,— как дела с запуском космонавтов у Королева? Почему вы не докладываете?

В голосе слышалось раздражение. Смирнов, очевидно, ответил, что с запуском все нормально, космонавты уже на орбите, чувствуют себя хорошо.

— Так почему вы мне не докладываете?

Раздражение перерастало в гнев.

— Вы обязаны были немедленно доложить мне результаты!

Смирнов, видимо, сказал, что не успел позвонить. Он, конечно, уже все знал и не торопился звонить отцу. Для него смена власти фактически произошла...

Несомненно, столь необычное поведение могло бы насторожить отца, но что он мог сделать, будучи здесь, на Пицунде...

— Как это «не успели»?! Я не понимаю вас! Ваше поведение возмутительно! — бушевал отец.

Судя по реакции, Смирнов слабо оправдывался.

— Товарищ Смирнов, учтите, я требую от вас большей оперативности! Вы затягиваете решение вопросов! — Отец перешел к другой теме: — На полигоне вам поручили подготовить предложения по новой ракете Королева. Срок давно истек, а предложений нет! Учтите, я вами недоволен!

Отец бросил трубку. Постепенно гнев его остывал. Попросил соединить с Королевым. Тепло поздравил его с очередной победой, пожелал новых успехов коллективу. Успокоившись, занялся текущими делами.

— Чего тебе без дела сидеть,— обратился он ко мне с улыбкой,— почитай-ка ТАСС, а Лебедев пока отдохнет.

Я открыл толстую зеленую папку и начал читать информацию ТАСС — сообщения иностранной прессы. Лебедев потихоньку ушел. Через полчаса он вернулся и сообщил, что вскоре с космическим кораблем будет установлена прямая связь.

— Никита Сергеевич, вы поприветствуете космонавтов?

— Конечно. Им это будет приятно, и для меня поговорить с ними — удовольствие. Предупредите Микояна, пусть тоже подходит.

— Связь лучше всего организовать из маленького кабинета, не надо будет подниматься на второй этаж. Журналисты очень хотят сделать снимки. Вы не возражаете? — спросил Лебедев формального разрешения, заранее зная результат.

— Конечно. Когда все будет готово, предупредите меня.

Отец обожал эти телефонные разговоры с космонавтами. Он с детской непосредственностью восхищался техникой, которая позволяет вот так просто, из дачного кабинета связаться с космическим кораблем. Он гордился этими достижениями, видел в них частичку и своего труда.

— Пусть люди порадуются, ощутят наше внимание. Им там нелегко,— повторял отец, когда к нему обращались по поводу приветствия космонавтов или их торжественной встречи в Москве.

Пришел Анастас Иванович. Они начали обсуждать какие-то дела, ожидая приглашения к телефону.

Наконец появился Владимир Семенович Лебедев и доложил, что все готово.

Маленький кабинет — комната площадью около 15 квадратных метров — располагался рядом со столовой на первом этаже. Стены были закрыты панелями красного дерева. В углу стоял письменный стол, тоже красного дерева, затянутый зеленым сукном, с батареей телефонов на крышке. Обстановку дополняли обтянутые кожей стулья и диван с гнутой спинкой. Из-за мебели в комнате было тесновато. Двери кабинета выходили прямо на большую веранду, обращенную к морю.

Раньше здесь была проходная комната. Последнее время отцу стало трудно подниматься по лестнице, а все телефоны стояли в кабинете на втором этаже. Вот и оборудовали этот кабинетик, чтобы отец мог без помех связаться с Москвой, когда работал на террасе.

Надо сказать, что отец не любил пользоваться кабинетом и обычно пристраивался со своими бумагами в конце обеденного стола в большой столовой на втором этаже или же внизу на свежем воздухе. Но больше всего он любил открытую террасу у плавательного бассейна.

Сейчас комната была забита людьми с фото- и киноаппаратами, по углам стояли софиты, заливавшие все вокруг ярким светом, по полу тянулись в разные стороны толстые провода.

Отец с Микояном вошли через балконную дверь. Защелкали фотоаппараты, возникла обычная в таких случаях толчея.

Дежурный связист доложил, что связь будет установлена через одну-две минуты, и, не выпуская трубки из рук, чуть-чуть посторонился, пропуская отца к креслу, стоящему у стола. Микоян расположился рядом на стуле.

Лебедев, вооружившийся фотоаппаратом, присоединился к корреспондентам. В их толпе я заметил и начальника охраны Литовченко.

Я остался у двери, стараясь не попасть в кадр. Внутри места уже не было.

— Есть связь,— торжественно объявил дежурный.

Отец взял трубку. Защелкали фотокамеры, еще ярче вспыхнули софиты. Началась киносъемка.

Разговор был похож на все предыдущие беседы с космонавтами на орбите. Взаимные поздравления и пожелания успехов перемежались шутками.

— Вот здесь рядом со мной Микоян, просто вырывает трубку,— закончил отец.

К телефону подошел Анастас Иванович. Опять поздравления, пожелания благополучного возвращения.

— Космический корабль выходит из связи,— предупредил дежурный.

Приветствия окончены. Все стали расходиться.

Подошло время обеда. Пообедали все вместе. После обеда отец остался в столовой и занялся своими бумагами. Рядом сидел Лебедев. Я примостился с книгой на диване.

Мое внимание привлекли слова Лебедева. Передавая очередной документ, он произнес:

— Это объяснение, которое написал Аджубей.

Я бросил книгу и стал прислушиваться. Отец молча прочитал отпечатанный на машинке текст и отложил листки в сторону.

Я недоумевал: что случилось?

Недавно в качестве личного представителя Хрущева Аджубей побывал в Западной Германии. Эра Аденауэра кончилась, и обе страны осторожно нащупывали почву для сближения. Одним из шагов навстречу друг другу должна была послужить поездка Аджубея в Бонн. Он был удобной фигурой: с одной стороны, лицо неофициальное, главный редактор газеты, с другой — зять премьера. Все сказанное ему достигнет ушей, которым информация предназначалась. На эту поездку отец возлагал большие надежды. В случае удачи он сам собирался нанести визит западным немцам.

Любопытство победило, и я задал вопрос вслух:

— Что случилось?

Отец поднял голову.

— Сам еще не понимаю. По разведывательным каналам поступила информация, что Алексей в Бонне наболтал лишнего. Я попросил его написать объяснение в Президиум ЦК. Может, какая-то провокация?..

История, как выяснилось, заключалась в следующем. Результаты советского зондажа с целью установить прямые контакты между двумя странами интересовали

всех: ведь разрядка между СССР и ФРГ неизбежно меняла весь политический климат в Европе. Особо пристальное внимание привлекала поездка Аджубея в некоторых братских странах — для них многое зависело от того, как сложатся отношения СССР и Западной Германии.

Хотя руководители социалистических стран постоянно обменивались политической информацией, разведки дружественных государств следили за каждым шагом Аджубея в Бонне, стараясь не упустить ни одного слова.

Усердие окупилось с лихвой. В одном из донесений говорилось, что в ответ на осторожный зондаж, может ли улучшение отношений между Россией и Западной Германией повлиять на существование Берлинской стены, Аджубей якобы ответил, что, когда приедет Хрущев и увидит сам, какие немцы хорошие ребята, от стены не останется камня на камне.

История выглядела подозрительной, но наши друзья сообщили, что разговор записан на магнитофон. Положение создалось чрезвычайно щекотливое...

Обо всем этом Семичастный доложил Президиуму ЦК.

В своем объяснении Аджубей все начисто отрицал. Конечно, не исключено, что пленку подсунула разведка ФРГ, желая вбить клин между нашими странами. Но если информация Галюкова соответствовала истине, то пресловутая пленка подоспела как раз вовремя. Ведь речь шла уже не об Аджубее, а о Хрущеве, который доверил ему проведение столь важной и деликатной миссии.

Эта история так и осталась невыясненной: после отставки Никиты Сергеевича ею никто не занимался. Видимо, игра была сыграна, и боннский эпизод уже никому не был нужен...

...Наступал вечер. Еще один день мирно заканчивался. Отец и Микоян не спеша прогуливались по аллейке вдоль моря. Девятьсот метров туда, девятьсот — обратно. Сзади, стараясь не попадаться на глаза начальству, следовала охрана. Стемнело. На небе в просветах между тучами засветились первые звезды.

Прогулку прервал подбежавший дежурный:

— Никита Сергеевич, вас просит к телефону товарищ Суслов.

Все свернули к даче. Отец с Микояном вошли в ма-

ленький кабинет, где стоял аппарат «ВЧ». Я последовал за ними. Охрана осталась в парке.

Отец снял трубку.

— Слушаю вас, товарищ Суслов.

Наступила длинная пауза, Михаил Андреевич что-то говорил.

— Не понимаю, какие вопросы? Решайте без меня,— произнес отец.

Опять пауза.

— Я же отдыхаю. Что может быть такого срочного? Вернусь через две недели, тогда и обсудим.

Отец начал нервничать.

— Ничего не понимаю! Что значит «все собрались»? Вопросы сельского хозяйства будем обсуждать на Пленуме в ноябре. Еще будет время обо всем поговорить!

Суслов продолжал настаивать.

— Хорошо,— наконец сдался отец.— Если это так срочно, завтра я прилечу. Узнаю только, есть ли самолет. До свидания.

Он положил трубку.

— Звонил Суслов,— обратился он к Микояну.— Якобы собрались все члены Президиума и у них возникли какие-то срочные вопросы по сельскому хозяйству, которые надо обсудить перед Пленумом. Настаивают, чтобы я завтра же прилетел в Москву. Ты слышал, я хотел отложить до возвращения из отпуска, но они не соглашаются. Придется лететь. Ты полетишь?

— Конечно.

— Ну что ж. Надо решить, как быть с завтрашней встречей, и попросить подготовить самолет... Литовченко,— позвал отец в раскрытую на балкон дверь.

Появился начальник охраны.

— Мы завтра вылетаем в Москву. Анастас Иванович тоже летит. Свяжитесь с Цыбиным *, пусть подготовят самолет. Прием француза перенесем на утро. Побеседуем с ним полчаса. Обед отменим. После беседы перекусим и полетим. Заказывайте вылет приблизительно на двенадцать часов, если летчики успеют. Все.

Литовченко повернулся и исчез за деревьями.

Мы вернулись на аллейку. Прогулка продолжалась. В воздухе повисло тягостное молчание. Первым разговор начал отец.

— Знаешь, Анастас, нет у них никаких неотложных

* Цыбин Н. И.— личный пилот Н. С. Хрущева.

сельскохозяйственных проблем. Думаю, что этот звонок связан с тем, о чем нам говорил Сергей.

Отец вздохнул, обернулся назад и заметил, что я иду за ними следом.

— Шел бы ты по своим делам,— произнес он, обращаясь ко мне.

Я отстал и продолжения разговора не слышал. Только потом мне стало известно, что отец сказал Микояну примерно следующее:

— Если речь идет обо мне — я бороться не стану.

А тогда, оставшись наедине со своими мыслями, я невольно подумал: «Началось...»

Бросил взгляд на море. На горизонте мое внимание привлек силуэт военного корабля. Сторожевик пограничной охраны — автоматически отметил я про себя.

Во время отдыха отца его резиденция охранялась и с моря. Слева, в нескольких километрах от дачи, у пирса рыбоконсервного завода постоянно дежурил пограничный катер: вдруг кто-нибудь решит высадиться с моря. Никто на него не обращал внимания, все привыкли, что он там стоит,— это была часть пейзажа.

Занятый мыслями о телефонном разговоре, я автоматически следил за приближающимся кораблем. На сей раз поведение сторожевика было необычным: он не обходил бухту по широкой дуге, чтобы потом резко свернуть к пирсу, а шел параллельно берегу на расстоянии нескольких сотен метров. Прямо напротив дачи корабль застопорил ход и остановился. Людей на палубе видно не было. В вечерней тишине гулко отдавался скрежет каких-то механизмов.

Все это было очень необычно, а в связи с последними событиями — предупреждением Галюкова, звонком Суслова — выглядело даже несколько зловеще.

Неподалеку я заметил Литовченко. Он, как начальник личной охраны, должен был знать все.

Я подошел к нему и показал на черный силуэт:

— Что это он тут делает?

— Сам не понимаю. Мы запросили пограничную заставу, они ответили, что корабль пришел по распоряжению Семичастного. Я потребовал от пограничников, чтобы они отвели его на обычное место. Здесь ему быть не положено. Их место у пирса.

Быстро темнело. Чернота ночи растворила зловещий силуэт, только ярко светились желтоватые точки иллюминаторов.

Через некоторое время корабль ожил, раздались какие-то команды, что-то зазвенело, загрохотало. Потихонечку, как бы нехотя, сторожевик двинулся к пирсу, но пришвартовываться не стал, а остановился чуть поодаль, развернувшись носом к морю.

Видел ли отец этот корабль, или его появление прошло для него незамеченным — никто не знает. Спросить его об этом, естественно, никому не пришло в голову.

Погуляв около часа, отец и Микоян разошлись по домам. Я тоже вошел в дачу. Стемнело. Отец стоял у маленького столика в углу столовой и пил боржом. Вид у него был усталый и расстроенный.

— Не приставай,— предупредил он, увидев, что я раскрыл рот, собираясь задать вопрос.

Допив воду, он постоял еще некоторое время со стаканом в руке, потом осторожно поставил его на столик, повернулся и медленно пошел к себе в спальню.

— Спокойной ночи,— не оборачиваясь, произнес он.

Мне очень хотелось с кем-нибудь поговорить обо всем происшедшем, посоветоваться. Я просто не мог больше хранить все, что знал, в памяти. Надо было на что-то решаться. Не могло быть сомнений, что никто, кроме отца, никаких действий предпринять не может, тем более — я, не связанный ни с кем из политических деятелей. Но мне была необходима хоть какая-то иллюзия деятельности.

Отец со мной говорить не хотел, да я и не рассчитывал на это. В его глазах я был мальчишкой, а с мальчишками в таком серьезном деле не советуются.

С помощниками или с Литовченко говорить не хотелось. Неизвестно, что они знают и какую роль играют во всем этом деле. Тем более за Лебедевым давно утвердилась репутация «правого», человека Суслова *.

Я пошел шататься по комнатам. Забрел к Лебедеву. Он молча паковал бумаги в объемистые портфели. Вид у него был растерянный.

Мы обменялись ничего не значащими фразами: отъезд-де неуместен. Никита Сергеевич не успел отдох-

* На деле, как это часто бывает в жизни, все оказалось иначе. В трудный момент Лебедев проявил искреннюю преданность делу отца и ему лично. Он не поступился ничем и в результате был уволен из ЦК, тяжело заболел и вскоре умер. Шуйский же, в котором никто не сомневался, оказывается, был осведомлен о готовящихся событиях, но скрывал информацию от отца. За это он был «вознагражден»: оставлен на работе в ЦК, где спокойно просуществовал до ухода на пенсию.

нуть, а он очень устал. Как бы сговорившись, мы не затрагивали главного.

Помявшись у двери, я ушел.

Утро 13 октября — последнее утро «славного десятилетия» Хрущева — встретило нас теплом и покоем. Сквозь дымку мягко светило солнце, море ласково плескалось у берега, на клумбах пестрели цветы.

Распорядок дня тоже не нарушился. Внешне отец был абсолютно спокоен. За завтраком он, как обычно, пошутил с женщиной, подающей на стол, посетовал на свою диету. Потом заговорил с помощниками о текущих делах.

После завтрака отец просмотрел бумаги, хотя теперь это уже не было нужно ни ему, ни тем, кто эти бумаги направил... Но многолетняя привычка требовала исполнения ритуала. Одно только было необычным — телефоны молчали...

Литовченко доложил, что самолет подготовлен и вылет назначен на час дня. Отец только кивнул головой.

Тем временем на открытой террасе у плавательного бассейна расставили плетеные кресла, принесли фрукты и минеральную воду — готовились к приему гостя.

Делать мне было нечего, на месте не сиделось, и я вышел к морю. Пляж был пуст. Вдали у пирса маячил вчерашний сторожевик.

Отец сидел на террасе у бассейна, где должен был состояться прием, и лениво перелистывал какие-то бумаги.

Помощники вместе с Литовченко стояли чуть поодаль, перекидываясь ничего не значащими фразами.

Наконец на дорожке появилась группа незнакомых людей. Отец уже заметил их. Он не спеша поднялся, взял пиджак, висевший на спинке соседнего кресла, и направился навстречу с улыбкой радушного хозяина.

Обычно, до начала официальных разговоров, он знакомил гостей с членами семьи, отдыхавшими с ним, показывал парк и только потом приглашал к разговору о делах. Сейчас он даже не посмотрел в мою сторону.

Продолжая улыбаться, он пожал руку гостю, переводчику и еще каким-то сопровождавшим его людям и жестом пригласил их на террасу. Все расположились вокруг небольшого летнего столика. Лебедев повертелся вокруг, убедился, что все в порядке, и уселся поблизости на случай, если он понадобится.

Беседа была короткой. Меньше чем через полчаса гости удалились, а отец пошел к даче.

Последний в его жизни официальный прием закончился. Пора было собираться в Москву. Вещи уже увезли на аэродром.

Подали легкий обед — овощной суп, вареный судак. По совету врачей отец последнее время придерживался диеты.

Ели молча. С нами за столом сидели, как обычно, помощники и личный врач отца — Владимир Григорьевич Беззубик.

Это был прощальный обед, прощание с дачей, которую отец так любил, с соснами и морем. Всякое прощание навевает грусть, а тут еще полная неизвестность впереди...

Тем временем обед закончился. Пора было ехать.

На крыльце, как обычно, нас дожидалась сестра-хозяйка — «властительница» дачи — с большим букетом осенних цветов. Так она всегда встречала и провожала своих высоких постояльцев. К этому давно привыкли, но сейчас все выглядело иначе, многозначительнее.

— До свидания, Никита Сергеевич, жаль, что мало отдохнули. Приезжайте еще,— произнесла она привычную фразу, протягивая букет.

Отец поблагодарил ее за гостеприимство и, передав букет стоявшему рядом Литовченко, сел на переднее сиденье ЗИЛа.

Машина тронулась. Вот и ворота. У левой створки вытянулся часовой.

За воротами к машине бросился какой-то человек.

— Остановите,— приказал отец.

Литовченко открыл заднюю дверь.

— Командующий Закавказским военным округом,— представился несколько запыхавшийся генерал.— Разрешите, Никита Сергеевич, вас проводить?

— Садитесь,— равнодушно ответил отец.

Тучный генерал взгромоздился сзади на приставное сиденье.

— Прошу прощения, Никита Сергеевич. Василий Павлович Мжаванадзе в Москве, отдыхает в Барвихе, а товарищ Джавахишвили уехал по районам. Мы не ожидали вашего отъезда и не смогли его предупредить,— стал извиняться генерал.

— И правильно, пусть работает. И вы напрасно

приехали,— недовольно буркнул отец.— Уж раз приехали, оставайтесь,— остановил он готового выскочить генерала.

Машина тронулась.

Обычно приезжавшего на отдых отца встречали и провожали первый секретарь ЦК Компартии Грузии Мжаванадзе и Председатель Совета Министров Джавахишвили. Отец всегда ворчал на них:

— Я отдыхаю, а вы попусту тратите рабочее время. Прогул вам запишем.

Однако всерьез никогда не сердился, и эта традиция встреч и проводов сохранялась.

Мжаванадзе отшучивался:

— Отработаем сверхурочно!

На сей раз их не было. Это не было связано со срочностью отъезда, а объяснение выглядело убедительным. Оба — Мжаванадзе и Джавахишвили, видимо, заранее уехали в Москву для участия в дальнейших событиях. Генерал же должен был компенсировать неудобство ситуации и заодно проконтролировать отъезд отца и Микояна.

По пути генерал информировал гостей о положении в сельском хозяйстве Грузии. Отец молчал, и было непонятно, слушает он или занят своими мыслями.

Наконец приехали в аэропорт. ЗИЛ подкатил к самолету. У трапа выстроился экипаж, и личный пилот отца генерал Цыбин отдал традиционный рапорт:

— Машина к полету готова! Неполадок нет. Погода по трассе хорошая.

Его широкое лицо расплылось в улыбке. Отец пожал ему руку, стал легко подниматься по трапу. За ним последовал Микоян.

Они оба прошли в хвостовой салон. В правительственном варианте хвостовой салон Ил-18 был свободен от обычных самолетных кресел, а взамен там установили небольшой столик, диван и два широких кресла. Это было самое тихое место в самолете.

Отец не любил одиночества, и в полете в «хвосте» всегда собирались попутчики: он что-то обсуждал с помощниками, правил стенограммы своих выступлений, а то и просто разговаривал.

На сей раз было иначе.

— Оставьте нас вдвоем,— коротко приказал он.

И вот мы в воздухе. Самолет полупустой — в салоне помощники обоих государственных деятелей — пре-

зидента и премьера, охрана, стенографистки. Деловитый Лебедев раскрыл свой необъятный желтый портфель и копается в многочисленных папках. Надо иметь недюжинную память, чтобы не запутаться в этой бумажной массе.

Стюардесса проносит в задний салон поднос с бутылкой армянского коньяка, минеральной водой и закуской, но через минуту возвращается, неся все обратно. Не до того...

Каждый занят своими делами. Для большинства это обычный перелет — сколько они уже исколесили с отцом по нашей стране и за ее пределами.

В заднем салоне, закрывшись от всех, два человека вырабатывали линию поведения, проигрывали варианты, пытались угадать, что их ждет там, впереди, в аэропорту Внуково-2.

Теплая встреча? Едва ли...

Оцепленный войсками аэродром? Еще менее вероятно. Не те времена. Но что-то, безусловно, ждет...

А от принятых сейчас, здесь, в вибрирующем самолете, решений зависит будущее. И не только их личное, но и будущее страны, будущее дела, которому оба этих старых человека посвятили свои жизни...

...Самолет начал снижаться. Уже можно было различить отдельные деревья. Наконец мягкий толчок. Посадка, как всегда, отличная. Сколько налетано с Николаем Ивановичем Цыбиным? Хорошо бы подсчитать. И в войну на «дугласах» в любую погоду, и потом на Украине, и из Москвы в разные уголки нашей планеты.

Самолет подрулил к правительственному павильону в аэропорту Внуково-2. Последний раз взревели моторы, и наступила тишина. Внизу — никого. Площадка перед самолетом пуста, лишь вдали маячат две фигуры. Отсюда не разберешь, кто это. Недобрый знак...

Последние годы члены Президиума ЦК гурьбой приезжали провожать и встречать отца. Он притворно хмурил брови, ругал встречавших «бездельниками», ворчал: «Что, я без вас дороги не знаю?» — но видно было, что такая встреча ему приятна.

Теперь внизу — никого.

Медленно подкатился трап. Загадочные фигуры тоже приблизились вслед за ним. Теперь их уже можно

узнать — это председатель КГБ Семичастный и начальник управления охраны Чекалов.

Отец, поблагодарив стюардесс за приятный полет, спускается по трапу первым. За ним в цепочку растянулись остальные.

Семичастный подходит к отцу, вежливо, но сдержанно здоровается:

— С благополучным прибытием, Никита Сергеевич.

Потом пожимает руку Микояну.

Чекалов держится на два шага сзади, руки по швам — служба. Лицо напряженно.

Семичастный наклоняется к отцу и, как бы доверительно, сообщает вполголоса:

— Все собрались в Кремле. Ждут вас.

Роли, видно, расписаны до мелочей.

Отец поворачивается к Микояну и спокойно, даже как-то весело произносит:

— Поехали, Анастас.

На мгновение задержавшись, он ищет кого-то глазами. Меня не замечает. Увидев Цыбина, улыбается, делает шаг в его сторону, жмет руку — благодарит за полет. Теперь ритуал выполнен.

Наконец кивает на прощание своим спутникам, и они вдвоем с Микояном быстрым шагом идут к павильону. Чуть сзади следует Семичастный, за ним я, а замыкает процессию Чекалов. Он держится на несколько метров сзади, как бы отсекая нас от всего, что осталось в самолете.

Проходим пустой стеклянный павильон. Эхом отдаются шаги. В дальних углах вытягивается охрана. Дежурный предупредительно открывает большую, из цельного стекла, дверь.

Напротив двери у тротуара застыл длинный ЗИЛ-111, автомобиль отца. На площадке выстроились черные машины — еще один ЗИЛ охраны, «Чайки» Микояна и Семичастного, «Волги».

Хрущев и Микоян садятся в машину. Литовченко захлопывает дверцу и занимает место впереди. Автомобиль стремительно трогается и исчезает за поворотом. За ним срываются остальные. Семичастный на ходу запрыгивает в притормозившую «Чайку». Мимо меня пробегает Чекалов.

— Тебя подвезти?

— Нет, спасибо. Меня должны встречать.

— Тогда до свидания.

Он буквально влетает в свою «Волгу» и уносится вслед, только слышится визг покрышек на повороте.

Я остаюсь один. Все произошло чрезвычайно стремительно...

Серго не видно нигде. Не было его на поле, нет и здесь. Все мои многозначительные просьбы не возымели никакого действия. Обидно. Очень он мне сейчас нужен. Хорошо еще, если он дома.

Я сажусь в машину, волнение последних минут несколько сглаживается. Как будто ничего особенного не произошло.

Едем по знакомым улицам. Тротуары полны людей — все ловят последние погожие денечки. Вот и Воробьевское шоссе. Справа возникает желтая громада каменного забора. У микояновских ворот прошу остановиться — надо все-таки найти Серго.

Мне повезло. Он с чем-то возится на втором этаже. Улыбаясь знакомой, немного виноватой улыбкой, Серго произносит:

— Понимаешь, я забыл. А потом было поздно. А добраться тебе было на чем. Так что ничего не случилось?..

— Бросай свои дела. Есть важный разговор. Пошли на улицу,— говорю я ему.

Все знают, что у стен есть уши и в помещении говорить нельзя. Правда, я не думал в тот момент, что нас могут подслушать, такая мысль не приходила в голову, просто лучше говорить на свежем воздухе.

— Пошли,— легко соглашается он.

Особняки расположены один за другим: у Микоянов — № 34, у нас — № 40. Можно пройти, минуя улицу, через соседние дворы, но тогда нужно искать ключи от калиток. По улице проще.

Я начинаю свой рассказ с разговора с Галюковым и заканчиваю встречей во Внуково, стараясь не упустить подробностей. Постепенно увлекаюсь, мне даже начинает казаться, что речь идет о чем-то постороннем, меня не касающемся. Тревога, копившаяся последние дни, как будто притупилась. Теперь мы оба знали эту тягостную цепь событий.

Но что же происходит сейчас? У нас могли быть только предположения. Ситуации в Кремле не знал никто.

Прогуливаясь, мы перебирали варианты. В голову пришла мысль позвонить Аджубею. Ведь он главный редактор «Известий». Возможно, ему что-то известно. Во всяком случае, это была хотя бы иллюзия действий. В дом мы решили не заходить, чтобы не посвящать в это дело домашних. Незачем раньше времени поднимать панику. Зайдя в дежурку охраны, набрали номер Аджубея. Звонили мы по телефону правительственной связи, и он сам снял трубку.

Узнав меня, Аджубей ответил, что он очень занят и приехать никак не может.

Я стал его уговаривать. Аджубей отвечал все резче и раздраженнее.

Говорить, в чем дело, по телефону, а тем более от дежурного, который все слышал, мне не хотелось. И тем не менее я сказал:

— Отца и Анастаса Ивановича срочно вызвали из Пицунды на заседание в Кремль. Мы с Серго беспокоимся: что произошло? Хотели выяснить у тебя.

Аджубей ничего не знал.

— Перезвоните мне через десять минут, я постараюсь узнать,— сказал он.

Через десять минут голос его изменился до неузнаваемости. Никто ему ничего не сказал, только дежурный в Кремле ответил, что действительно идет заседание Президиума ЦК. Повестки дня он не знал.

— Мы с Серго ничего не знаем, но у нас есть некоторые соображения. Если сможешь, приезжай в особняк,— попросил я его.

У Аджубея, видимо, больше не было важных государственных дел.

— Сейчас еду,— пробормотал он.

Через двадцать минут он был у нас. Я еще раз повторил свой рассказ. Аджубей стал звонить в разные места. Горюнову в ТАСС — ничего не знает; Семичастному в КГБ — нет на месте; Шелепину в ЦК — на заседании; Григоряну в ЦК — ничего не знает.

Так мы ничего не узнали до самого вечера, Серго ушел к себе. Я бесцельно кружил вокруг дома, хотя ноги гудели от усталости.

Около восьми часов вечера приехал отец. Машина его привычно остановилась у самых ворот. Он пошел вдоль забора по дорожке, это был обычный маршрут. Я догнал его. Несколько шагов прошли молча, я ни о

чем не спрашивал. Вид у него был расстроенный и очень усталый.

— Все получилось так, как ты говорил,— начал он первым.

— Требуют твоей отставки со всех постов? — спросил я.

— Пока только с какого-нибудь одного, но это ничего не значит. Это только начало... Надо быть ко всему готовым...

Отец замолчал.

— Вопросов не задавай. Устал я, и подумать мне надо...

Дальше шли молча. Прошли круг вдоль забора, начали второй. Он вдруг неожиданно спросил:

— Ты доктор?

Я опешил.

— Какой доктор?

— Доктор наук?

— Нет, кандидат.

— Ладно...

Опять молчание.

Прошли второй круг, и отец свернул к дому.

На звук хлопнувшей двери в прихожую вышел Аджубей. В глазах его застыл немой вопрос: что случилось?

Отец молча кивнул ему и стал подниматься на второй этаж к себе в спальню. Туда он попросил принести чай. Никто не решился его беспокоить.

Позвонили Серго. Он появился через несколько минут, но информации у него было еще меньше. Анастас Иванович приехал домой и гуляет с академиком Арзуманяном. О чем они говорят — неизвестно.

Серго предложил дождаться отъезда Арзуманяна и поехать к нему. Наверняка они с Микояном сейчас говорят о событиях минувшего дня.

Опять надо было ждать. Серго ушел домой. Время тянулось нестерпимо медленно.

Аджубей попытался дозвониться домой Шелепину. Телефон не отвечал. Позвонил на дачу. Ответа нет. Попытки дозвониться Полянскому и еще кому-то тоже окончились неудачей. Только через несколько дней я узнал, что после отъезда отца все члены Президиума договорились к телефону не подходить: вдруг Хрущев начнет их обзванивать и ему удастся склонить когонибудь на свою сторону.

Часов в десять вечера снова пришел Серго с известием, что Арзумапян уехал домой. Мы заторопились, вскочили в мою машину и ринулись из ворот. На полном ходу пересекаю бульвар, тянущийся по Воробьевскому шоссе, и делаю левый поворот. Из темноты деревьев к машине бросается какой-то человек. Проскакиваю мимо него. Он не пытается нам помешать, только внимательно смотрит вслед. Ему важно разглядеть номер.

Наш путь лежит на Ленинский проспект. Там в большом академическом доме живет Арзуманян. Проверить, не следует ли кто-то за нами, не приходит в голову. Все слишком возбуждены. Без помех достигаем цели. Машину оставляем на улице. Теперь надо найти подъезд. Тротуары пустынны. Только впереди на углу маячат две характерные мужские фигуры. Мы проходим мимо, они не препятствуют, лишь пристально вглядываются в лица.

Анушаван Агафопович не удивлен столь поздним визитом. Он возбужден новостями, ему тоже хочется выговориться. Рассаживаемся в столовой вокруг стола. Комната неярко освещена лампой под тяжелым матерчатым абажуром.

Никто не знает, с чего начать.

Молчание нарушает Серго, он здесь свой человек. Серго коротко рассказывает все, что нам известно о происходящем и что нас очень волнует, о чем конкретно шла речь на сегодняшнем заседании.

— Анастас Иванович просил держать наш разговор в секрете,— нерешительно говорит Арзуманян,— но вам я могу рассказать. Положение очень серьезно. Никите Сергеевичу предъявлены различные претензии, и члены Президиума требуют его смещения. Заседание тщательно подготовлено: все, кроме Микояна, выступают единым фронтом. Хрущева обвиняют в разных грехах: тут и неудовлетворительное положение в сельском хозяйстве, и неуважительное отношение к членам Президиума ЦК, пренебрежение их мнением и многое другое. Главное не в этом, ошибки есть у всех, и у Никиты Сергеевича их немало. Дело сейчас не в ошибках Никиты Сергеевича, а в линии, которую он олицетворяет и проводит. Если его не будет, к власти могут прийти сталинисты, и никто не знает, что произойдет. Нужно дать бой и не допустить смещения Хрущева. Боюсь, это трудновыполнимо. Впрочем, нельзя сидеть сложа руки, попробуем что-то сделать.

Его слова вселяли надежду: отец неодинок. Ведь в 1957 г. большинство членов Президиума тоже требовали его отставки, но Пленум решил иначе. Теперь же все говорило о том, что надежды эти иллюзорны, опыт 1957 г. был учтен, да и основная масса членов ЦК была недовольна многими нововведениями Хрущева.

Мы просидели у Арзуманянов больше часа. Хотелось узнать обо всем как можно подробнее, но Арзуманян и сам знал не слишком много. Основные обвинения, выдвинутые против отца, сейчас известны. Они отражали различные подходы к руководству народным хозяйством. К примеру, Хрущев постоянно выступал за приближение руководства к производителям. Для этого он настоял на введении децентрализованной территориальной системы хозяйствования, ввел совнархозы. Он исходил из того, что местные руководители лучше знают нужды и возможности своих регионов, следовательно, будут оперативнее решать возникающие вопросы. Министерства, в большинстве преобразованные в государственные комитеты, пусть лишь надзирают за соблюдением основных принципов государственной политики в своей отрасли. Он предложил разделить обкомы и облисполкомы на промышленные и сельские, так как и тут считал, что руководители должны быть ближе к производству, а в условиях развившегося хозяйства задачи усложнились, и трудно найти людей, одинаково хорошо понимающих и в промышленности, и в сельском хозяйстве.

Был принят и ряд других решений.

Естественно, все предложения предварительно обсуждались и были одобрены как Президиумом, так и пленумами ЦК.

Но сторонники централизованного отраслевого принципа управления народным хозяйством, не высказываясь открыто, оставались в оппозиции нововведениям. И вот сейчас эти разногласия вылились наружу и стали предметом острейшей дискуссии.

Серьезным было обвинение Хрущева в недооценке других членов Президиума ЦК, в нетактичном с ними обращении, пренебрежении их мнением. Все это относилось к взаимоотношениям между людьми в высшем партийном органе, и непосвященным трудно судить о правомерности и обоснованности сказанного. Чего не бывает между людьми, особенно в запале спора. Тем не менее здесь, видимо, была значительная доля истины:

я сам неоднократно бывал свидетелем того, как отец, не стесняясь окружающих, выговаривал тому или иному члену Президиума за упущения в подведомственных ему вопросах.

Да и другие претензии соответствовали истине, но были, на мой взгляд, непринципиальны в серьезном споре. Их было много. Можно только привести примеры.

Стараясь приблизить руководство к производству, отец настойчиво выселял Министерство сельского хозяйства из Москвы, стремясь при этом заставить чиновников чуть ли не своими руками возделывать опытные делянки.

Или присвоение президенту Объединенной Арабской Республики Насеру и вице-президенту Амеру звания Героя Советского Союза, вызвавшее широкое недовольство во всей стране.

Перечисление можно продолжать. И хотя все решения принимались коллективно, Президиумом ЦК, автором их справедливо считался Хрущев.

Сейчас эти обвинения сыпались на его голову как из рога изобилия. Каждый вспоминал давние и свежие обиды.

Были претензии просто надуманные, хотя выглядели они для непосвященных довольно основательными.

Например, отца обвинили в том, что при визитах за границу он брал с собой жену или детей и возил их туда за государственный счет. Однако членам Президиума было хорошо известно, что инициатором в этом вопросе был не Хрущев, а Министерство иностранных дел, чью инициативу поддержал и «эксперт по Западу», еще до войны много поколесивший по миру, Анастас Иванович Микоян. Аргументировалось же предложение тем, что так принято на Западе и присутствие членов семьи делает визит менее формальным, а обстановку более доверительной. Нашему государству это ничего не стоило, так как расходы по приему гостей при государственных визитах несет другая сторона, а в самолете во время спецрейсов пустых мест всегда достаточно. Тем не менее внешне такое обвинение выглядело эффектно и впоследствии получило широкую огласку.

Арзуманян рассказал нам, что наибольшую активность проявляют Шелепин и Шелест. От имени присутствовавших с перечислением ошибок отца выступал Шелепин, он все свалил в одну кучу — и принципиальные вещи, и ерунду.

— Кстати,— обратился ко мне Арзуманян,— Шелепин сослался на то, что вам без защиты присвоили степень доктора наук?

— Так вот в чем дело! — невольно вырвалось у меня.

Присутствующие повернулись в мою сторону.

— Сегодня отец спросил, не доктор ли я. Я ничего не мог понять, и стал объяснять ему, что три года назад защитил кандидатскую диссертацию и какая разница между степенью кандидата и доктора наук. Теперь ясно, откуда у него возник этот вопрос. Это чистейшей воды выдумка. О докторской диссертации я даже еще и не думал.

— Шелепин ничем не брезгует! Даже мелкой ложью! — Арзуманян возмутился.

Ложь действительно была мелкой, но она очень расстроила меня. Ведь Александр Николаевич Шелепин постоянно демонстрировал мне если и не дружбу, то явное дружеское расположение. Нередко он первый звонил и поздравлял с праздниками, всегда участливо интересовался моими успехами. Этим он выделялся среди своих коллег, которые проявляли ко мне внимание только как к сыну своего товарища, и не более того. Мне, конечно, льстило дружеское отношение секретаря ЦК, хотя где-то в глубине души скрывалось чувство неудобства, ощущение какой-то неискренности со стороны Шелепина. Но я загонял его внутрь, не давал развиться. И вот такое неприкрытое предательство. Воистину все средства хороши...

— Очень грубо вел себя Воронов,— продолжал Арзуманян.— Он не сдерживался в выражениях. Когда Никита Сергеевич назвал членов Президиума своими друзьями, он оборвал: «У вас здесь нет друзей!»

Эта реплика даже вызвала отповедь со стороны Гришина. «Вы не правы,— возразил он,— мы все друзья Никиты Сергеевича».

Остальные выступали более сдержанно, а Брежнев, Подгорный и Косыгин вообще молчали. Микоян внес предложение освободить Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК, сохранив за ним должность Председателя Совета Министров СССР. Однако его отвергли...

...Время было позднее, мы откланялись. Оставалось только ждать завтрашнего дня. Слова Арзуманяна несколько успокоили и вселили призрачную надежду.

В то время мы не знали, что отец уже принял решение без борьбы подать в отставку. Поздно вечером он

позвонил Микояну и сказал, что, если все хотят освободить его от занимаемых постов, он возражать не будет.

— Я уже стар и устал. Пусть теперь справляются сами. Главное я сделал. Отношения между нами, стиль руководства поменялись в корне. Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы мокрого места не осталось. Теперь все иначе. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду.

Телефон наш прослушивался, и его слова мгновенно стали известны оппонентам. Мы же ничего не знали.

Все утро 14 октября прошло в томительном ожидании. Наконец около двух часов дня позвонил дежурный из приемной отца в Кремле и передал, что он поехал домой.

Обычно днем он никогда домой не приезжал, а, экономя время, обедал в Кремле. Я встретил машину у ворот.

Отец сунул мне в руки свой черный портфель и не сказал, а выдохнул:

— Все... В отставке...

Немного помолчав, добавил:

— Не стал с ними обедать *.

Все кончилось. Начинался новый этап жизни. Что будет впереди — не знал никто. Ясно было одно — от нас ничего не зависит, остается только ждать.

— Я сам написал заявление с просьбой освободить меня по состоянию здоровья. Теперь остается оформить решением Пленума. Сказал, что подчиняюсь дисциплине и выполню все решения, которые примет Центральный Комитет. Еще сказал, что жить буду, где мне укажут: в Москве или в другом месте.

Что еще происходило на заседании, отец не сказал, а я не хотел травмировать его вопросами. Лишь спустя годы я узнал некоторые подробности.

Как мне рассказывали некоторые из очевидцев, ключевыми фигурами в деле отстранения отца в 1964 году были не Шелепин и Игнатов, а Брежнев с Подгорным, которые неоднократно в разговорах с членами Президиума затрагивали тему взаимоотношений с Хрущевым.

* Как правило, члены Президиума ЦК обедали вместе. Это стало своего рода традицией. Во время этих совместных обедов часто принимались важные решения, обсуждались насущные вопросы жизни страны.

Брежнев жаловался на нетерпимость Хрущева, резкие выражения в свой адрес. Особенно то, что отец назвал его как-то «бездельником».

Однако в этих разговорах речь об освобождении Хрущева не велась. Брежнев только предлагал собрать Пленум ЦК и на нем «покритиковать» стиль работы отца. Тут, очевидно, сказалась нерешительность Брежнева, который боялся последнего шага.

Когда я неоднократно пытался узнать у отца о том, что же происходило на последнем для него заседании Президиума ЦК, я неизменно получал отказ: до конца жизни воспоминания об этих событиях были для него неприятны. И только в самый последний период по отдельным отрывочным высказываниям отца я составил более или менее полноценное представление о происходившем. В частности, о том, что говорил он сам в своем последнем выступлении.

Тогда, на Президиуме, отец сказал, что бороться он за власть не станет, поскольку не считает возможным идти против мнения большинства. Он говорил о роли партии и необходимости сохранения единства ее рядов, что было бы невозможно в условиях борьбы в высшем руководстве. Он извинился за возможно допущенные им грубые выражения или нетактичные поступки в отношении других членов Президиума и Секретариата ЦК, сказав, что в работе все могло быть, но вины за эти упущения он с себя не снимает. Однако он решительно отмел основные обвинения, выдвинутые против него. Отец упрекнул своих бывших соратников в отсутствии смелости — никто из них никогда не пытался заставить отца критически отнестись к собственным поступкам или решениям, все наперебой лишь поддакивали и во всем соглашались с его предложениями. Сохранить в таких условиях необходимую долю самокритичности конечно же архитрудно. Но никто не обратил внимания на его доводы.

Серьезные претензии были выдвинуты против отца и в отношении некоторых внешнеполитических шагов, предпринятых в период его руководства страной. По его словам, речь шла о карибском кризисе, о событиях на Суэце и об отношениях с Китаем. Отец тогда ответил, что, судя по всему, некоторых подводит память, поскольку все решения по перечисленным вопросам принимались коллегиально, большинством голосов. А теперь всю вину за упущения пытаются свалить на него.

Отец на Пленуме не выступал, и прений не было. Насколько мне это теперь известно, их попросту не допустили, поскольку опасались возможных неожиданностей.

По положению в партии с речью на Пленуме должен был выступать Брежнев или в крайнем случае Подгорный. Однако оба они отказались. Очевидно, руководили ими этические мотивы — в течение долгого периода они работали бок о бок с отцом. Доклад Пленуму решили тогда поручить Суслову, как главному идеологу. Он, кстати, по слухам, ничего не знал о предстоящем перевороте, а узнав, был сильно напуган. Тем не менее и на сей раз в ситуации он сориентировался мгновенно, ведь на Пицунду отцу звонил именно Суслов.

Хочу отметить и такой эпизод.

Как говорила она сама, секретарь ЦК Компартии Украины Ольга Ильинична Иващенко, в начале октября она узнала о готовящихся событиях и попыталась по «ВЧ» дозвониться Никите Сергеевичу. Соединиться ей не удалось. Хрущев был надежно блокирован. На Пленум ее не допустили, как и другого члена ЦК — Зиновия Тимофеевича Сердюка. Боялись, как бы чего не вышло.

Вскоре их обоих освободили от занимаемых постов и отправили на пенсию.

Возвращаюсь к тому октябрьскому дню.

После обеда отец вышел погулять. Все было необычно и непривычно в этот день — эта прогулка в рабочее время и цель ее, вернее, бесцельность. Раньше он гулял час после работы, чтобы сбросить с себя усталость, накопившуюся за день, и, немного отдохнув, приняться за вечернюю почту. Час этот был строго отмерен, ни больше ни меньше.

Теперь последние бумаги — какие-то материалы к очередному заседанию Президиума ЦК — остались в портфеле. Там им было суждено пролежать нераскрытыми и забытыми до самой смерти отца. Он больше никогда не заглядывал в этот портфель...

Длительность нынешней прогулки ничем не ограничивалась, просто надо было убить время, хоть немного освободиться от нервного напряжения последних дней.

Мы шли молча. Рядом лениво трусил Арбат, немецкая овчарка, жившая в доме. Это была собака Лены — моей сестры. Раньше он относился к отцу равнодушно, не выказывал к нему никакого особого внимания. Подойдет бывало, вильнет хвостом и идет по своим делам.

Сегодня же не отходил ни на шаг. С этого дня он постоянно следовал за отцом.

В конце концов я не выдержал молчания и задал интересовавший меня вопрос:

— А кого назначили?..

— Первым секретарем будет Брежнев, а Председателем Совмина — Косыгин. Косыгин — достойная кандидатура.— Привычка отца оценивать кандидатуры, примеряя их к тому или иному посту, по-прежнему брала свое.— Еще когда освобождали Булганина, я предлагал его на эту должность. Он хорошо знает народное хозяйство и справится с работой. Насчет Брежнева сказать труднее — слишком у него мягкий характер и слишком он поддается чужому влиянию... Не знаю, хватит ли у него сил проводить правильную линию. Ну, меня это уже не касается, я теперь пенсионер, мое дело — сторона.— В уголках рта пролегли горькие складки.

Больше мы к этой теме не возвращались.

Вечером к нам пришел Микоян.

После обеда состоялось заседание Президиума ЦК уже без участия отца. Микояна делегировали к нему проинформировать о принятых решениях.

Сели за стол в столовой, отец попросил принести чаю. Он любил чай и пил его из тонкого прозрачного стакана с ручкой, наподобие той, что бывает у чашек. Эту конструкцию — стакан с ручкой — он привез из Финляндии. Необычный стакан ему очень нравился, и он постоянно им хвастался перед гостями, демонстрируя, как удобно из него пить горячий чай, не обжигая пальцев.

Подали чай.

— Меня просили передать тебе следующее,— начал Анастас Иванович нерешительно.— Нынешняя дача и городская квартира (особняк на Ленинских горах) сохраняются за тобой пожизненно.

— Хорошо,— неопределенно отозвался отец.

Трудно было понять, что это — знак благодарности или просто подтверждение того, что он расслышал сказанное. Немного подумав, он повторил то, что уже говорил мне:

— Я готов жить там, где мне укажут.

— Охрана и обслуживающий персонал тоже останутся, но людей заменят.

Отец понимающе хмыкнул.

— Будет установлена пенсия — 500 рублей в месяц и закреплена автомашина.— Микоян замялся.— Решили

сохранить за тобой должность члена Президиума Верховного Совета, правда окончательного решения еще не приняли. Я еще предлагал учредить для тебя должность консультанта Президиума ЦК, но мое предложение отвергли.

— Это ты напрасно,— твердо сказал отец,— на это они никогда не пойдут. Зачем я им после всего, что произошло? Мои советы и неизбежное вмешательство только связывали бы им руки. Да и встречаться со мной им не доставит удовольствия... Конечно, хорошо бы иметь какое-то дело. Не знаю, как я смогу жить пенсионером, ничего не делая. Но это ты напрасно предлагал. Тем не менее спасибо, приятно чувствовать, что рядом есть друг.

Разговор закончился. Отец вышел проводить гостя на площадку перед домом.

Все эти дни стояла теплая, почти летняя погода. Вот и сейчас было тепло и солнечно.

Анастас Иванович обнял и расцеловал Хрущева. Тогда в руководстве не было принято целоваться, и потому это прощание всех растрогало.

Микоян быстро пошел к воротам. Вот его невысокая фигура скрылась за поворотом. Никита Сергеевич смотрел ему вслед.

Огонек, 1988, № 40—43

А. Аджубей

ТЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Фрагменты воспоминаний

Каким же оно было, это почти неупоминаемое десятилетие нашей жизни — от года 1954-го до 1964-го? Десять лет труда и жизни громадного государства, миллионы человеческих судеб в миллиардах различных столкновений и обстоятельств? Отчего и зачем кто-то с удивительной настойчивостью изымал его из нашей памяти, будто за этими годами стояла какая-то вина? Ведь не просто же так, не по воле одного или двух, пусть самых всемогущих, людей вырезали из книг и фильмов имена и факты, цифры и сопоставления?

Молчание вокруг имени Никиты Сергеевича Хрущева было не только полным, но, я бы сказал, злым. Наивные люди полагали, что в его основе — негативная оценка партийной и государственной деятельности Хрущева. Главное, однако, в ином. Ему «ничего не простила» та административная бюрократическая система, которую он посмел потревожить. Это она проводила своеобразную «демонстрацию силы», да и предупреждала на будущее: «Не трогайте нас!»

Никакой самый совершенный компьютер не выведет бесспорной оценки тех не очень спокойных и не очень простых лет. Нелепо и само желание окунать кисть либо в черную, либо в розовую краску, воссоздавая не только те самые 10, но и все 70 лет нашей истории.

Разумный час разумных размышлений приблизился настолько, что грех не ответить на естественное желание всех без исключения здравомыслящих людей вернуть народу его историю. Так и случится. Стараниями многих — историков, экономистов, статистиков, обществоведов, очевидцев и участников событий. В этом процессе самоосознания, будем надеяться, найдется место для объективного анализа «десятилетия Хрущева»...

Заканчивался 1949 год. Месяца через два студенты 3-го курса отделения журналистики МГУ, перевалив очередную сессию, должны были начать практику в газетах. Я и Рада готовились к экзаменам в московской квартире ее отца, Никиты Сергеевича Хрущева. Он тогда работал на Украине.

Дом на улице Грановского, известный московским старожилам как V дом Советов, а прежде — графов Шереметевых, построили по проекту архитектора Александра Мейснера во вкусе буржуа конца XIX века. Аляповатое П-образное здание с небольшим въездным сквериком вполне соответствовало своему назначению: до революции здесь снимала квартиры богатая публика.

В 20—30-х годах дом заселили члены правительства, крупные военные и партийные деятели. В 1938 г. получил здесь квартиру и Н. С. Хрущев — переехал из «дома на набережной». В тот год Никиту Сергеевича избрали кандидатом в члены Политбюро и направили на Украину первым секретарем ЦК. Приезжая в Москву в командировки — из Киева ли, с фронта во время войны, он жил здесь. Полупустая, обставленная в аскетическом стиле тех лет квартира — без ковров, горок, хрустальных люстр, без картин и гравюр. Тяжелая, скучная мебель — кровати, столы, стулья и диваны в полотняных чехлах, книжные шкафы, тумбочки.

...В тот поздний вечер, когда мы с женой дочитывали конспекты, в прихожей раздались голоса, кто-то прошел в комнаты. Оказалось, приехал Никита Сергеевич и с ним Ванда Львовна Василевская и Александр Евдокимович Корнейчук. Рада пошла на кухню помочь домашней работнице, и вскоре все сидели за столом. Перебивать разговоры старших не полагалось, и лишь по ходу беседы мы узнали, что Никита Сергеевич только что был у Сталина. Возвращаясь домой, прихватил из гостиницы приехавших по своим делам в Москву Василевскую и Корнейчука.

В тот вечер Хрущеву, видимо, были просто необходимы собеседники. Он сказал, что едет в Киев сдавать дела, так как его избирают секретарем Московского обкома партии,— вопрос решен.

Что стояло за неожиданным решением Сталина вернуть Хрущева в Москву? Теперь никто этого не узнает. Как никто не узнает, о чем говорили между собой эти два человека.

Однако эта «кадровая рокировка», если и выглядела импровизацией, совершилась с учетом следующих ходов. Казалось, Сталину было бы целесообразнее держать Хрущева на Украине; дела там набирали темп, республика давала стране все больше хлеба, восстанавливался Донбасс, росли энергетические мощности, отстраивались разрушенные города. Хрущев пользовался на Украине

авторитетом. Сталин знал это и все-таки срочно вызвал его в Москву. Здесь уже сняли первого секретаря МК и МГК, председателя Моссовета Г. М. Попова. Говорили, что Сталина беспокоило властолюбие Попова, как будто тот сам определил себе все три должности. Теперь я думаю, что Хрущев понимал сложившуюся ситуацию. Не могло не беспокоить его нарастание напряженности в связи с «ленинградским делом». Секретарь ЦК Маленков и министр госбезопасности Абакумов по поручению Сталина активно громили ленинградские кадры.

В тот вечер, когда Хрущев угощал чаем Василевскую и Корнейчука, заметно было, что он нервничал: уговаривал гостей не торопиться. Наверное, не хотел оставаться без собеседников. Дело для него состояло не только в том, как сложатся отношения со Сталиным,— тут Хрущев, по-видимому, рассчитывал на поддержку. Но ведь он уехал из Москвы в 1938 г., бывал здесь только наездами и вот теперь врывался в плотно сцепленную обойму соратников вождя. Каждый из них внимательно и ревниво следил за другими, даже за тем, как и сколько раз обращался к кому-либо из них Сталин, кого звал или не звал на вечерние обеды-заседания, приглашал на отдых, как и над кем подшучивал в благостном расположении духа.

Все было расписано очень точно. Даже где, когда отдыхать семьям руководителей. Обычно звонил генерал Власик, начальник охраны Сталина, назначал место отдыха. Так распорядился Сталин. Летом 1949 г. Нина Петровна сказала: «Едем в Ливадию». Огромный царский дворец считался тогда сталинской дачей. В одном крыле отдыхала семья Хрущева, в другом — Светлана Сталина и ее второй муж Юрий Жданов. Никакого общения между нами не было. Семейные знакомства не поощрялись. Мало ли что могло случиться завтра.

Для всех, так долго знавших своего Хозяина и так привыкших к абсолютному повиновению, он во все большей степени становился загадкой. Непредсказуемость его действий, решений, умозаключений не находила иногда никаких объяснений. Хрущев как-то рассказал о таком эпизоде. Во время одного из застольных заседаний Сталин встал: «Пойду попрошу у Мао Цзэдуна 20 миллионов долларов взаймы» — и вышел. В ту пору между Москвой и Пекином существовала прямая правительственная связь, и можно себе представить, как десятки людей по линии спешили соединить две братские столи-

цы, как напряглись переводчики, получившие указание переводить слова Сталина и ответы Мао Цзэдуна.

Все в молчании ждали. Сталин вернулся. Медленно отодвинул стул. Не любил, чтобы ему помогали. Сел. Сказал: «Деньги дает, но брать не будем!»

...Хрущеву было что принять в расчет на московской земле. Он только казался простоватым человеком. Случалось, наигрывал простодушие. Но я часто видел, какими холодными, отчужденными становятся в гневе его маленькие карие глаза.

Он знал правила игры, жестокие варианты ее развития. Сталин держал всех в напряжении. И Хрущева тоже. В начале 1947 г. вождь сместил его с поста первого секретаря Компартии Украины, но из Киева не убрал, назначил Председателем Совета Министров республики. «Первым» был прислан Л. М. Каганович. Перемещение последовало вслед за тем, как Хрущев доложил Сталину, что на Украине тяжелейший голод, есть случаи людоедства, вымирают целые села, республике крайне важно получить немедленную помощь. «Положил телефонную трубку,— вспоминал Никита Сергеевич,— думаю, все. Сталин ничего мне не сказал, я только слышал его тяжелое дыхание».

Украина получила некоторое количество зерна. Новый звонок Сталина — и новая накачка. Сталину стало известно, что Евгений Оскарович Патон, знаменитый ученый, инженер, демонстративно покинул одно из многочисленных совещаний, которые для «наведения порядка» проводил Каганович, да еще хлопнул дверью.

«Ваши националисты никак не успокоятся»,— сердито проговорил Сталин и повесил трубку.

Никита Сергеевич вызвал Евгения Оскаровича, попросил рассказать подробности. Совещание касалось сельских проблем, и, послушав с полчаса выступавших, Патон понял, что их заботы не имеют к нему никакого отношения. «Вы же знаете, Никита Сергеевич, я не терплю пустой траты времени, а что касается хлопанья дверью, так это потому, что я глуховат».

Хрущев доложил Сталину, как было дело. Сталин выслушал, ни о чем не переспрашивая. Верховный Главнокомандующий хорошо знал Патона. По его рекомендации Евгений Оскарович в 1944 г. был принят в партию. Он называл Патона великим сварщиком. И было за что. Патон наладил серийное производство танков Т-34.

Никто в мире не умел тогда сваривать стальную броню.

В конце 1947 г. Кагановича отозвали в Москву, и Хрущев занял прежний пост первого секретаря ЦК Компартии Украины.

И вот теперь, в декабре 1949 г., он снова в Москве.

Через несколько дней в газетах было объявлено, что Н. С. Хрущев избран секретарем ЦК и первым секретарем МК партии. Он должен был осуществлять общее руководство делами области и города. Текущими делами горкома занимался секретарь МГК Иван Иванович Румянцев, авиационный инженер. Иван Иванович был в ту пору молодым человеком, обаятельным, энергичным, и чувствовалось, что с Никитой Сергеевичем у него хорошие отношения. Городские и областные проблемы решались совместно. Никита Сергеевич по воскресеньям со своей дачи в Огареве часто уезжал в дом отдыха МК и там прогуливался с товарищами.

Вдруг И. И. Румянцев исчез, причем мгновенно. Могу только утверждать, что его исчезновение не связано было с отношением к нему Хрущева, а решалось где-то выше. Всякое случалось тогда при таких внезапных акциях. Ивану Ивановичу, видимо, повезло. Через какое-то время он вернулся директором на авиационный завод, где работал до начала партийной карьеры. Повторения «ленинградского дела» в Москве не произошло.

В начале 1950 г. в Москву переехала с семьей Нина Петровна. Дом на улице Грановского ожил. Младшая сестра моей жены, Лена, ее брат Сергей, Юля — дочь старшего сына Никиты Сергеевича, Леонида, погибшего под Смоленском в авиационном бою,— все школьники, и все требовали внимания. Нина Петровна вела дом не без некоторой назидательности. Ровная со всеми домочадцами, она создавала строгую атмосферу, которая подкреплялась и сдержанностью самого хозяина. Никакого сюсюканья. Младшие видели отца практически только по воскресеньям, да и то он предпочитал проводить свободный день где-нибудь в колхозе, на стройке или у своих новых московских знакомых: профессора Лорха — выведенные им сорта картофеля были лучшими в стране, селекционера сирени Колесникова, садовода-мичуринца Лесничего. Люди сельского труда, волшебники земли вызывали у Никиты Сергеевича чувство приподнятого умиления. Он вообще ценил яркие способности, таланты. Поддерживал их, увлекался. От этого и его вера в чудо.

Яблоки Лесничего, сирень Колесникова, торфокомпосты Лысенко, мульчирование почв, предложенное учеными Тимирязевской академии, гидропоника, торфоперегнойные горшочки, квадратно-гнездовой способ посадки картофеля, позже — кукуруза, убежденность в спасительной силе идей Прянишникова о поддержании плодородия земли неорганическими удобрениями и многое, многое другое постоянно завораживало его. Если учесть его деятельную натуру, необычайный напор, с которым он брался за дело, то естественно, что не все и не всегда оказывалось приемлемым, доступным, не всегда вело к той пользе, на которую он рассчитывал, но берусь утверждать: единственной его целью было улучшить жизнь...

Никита Сергеевич не терпел одиночества. Любил, чтобы кто-то был рядом. Он засиживался в МК допоздна. Начальник его охраны обычно звонил мне в газету и спрашивал: «Ну как, вышла в свет наша дорогая «Комсомолочка»?» Если позволяли обстоятельства, присылали за мной «хвостовую» машину (членов Президиума ЦК сопровождала машина охраны), и я, случалось, долго ждал у подъезда МК, пока выйдет Хрущев и мы поедем на дачу в Усово. Он предпочитал жить там, а не в переполненной городской квартире. Его тянуло на природу. Как бы поздно он ни приехал, обязательно гулял 15—20 минут, а утром быстро проходил по дорожкам свои полтора-два километра. Это позволяло ему выдерживать нагрузку, а в городе возможности погулять не было.

Во время ночных возвращений с Никитой Сергеевичем никаких деловых разговоров не велось, и более чем наивен тот, кто предполагает, что они вообще возможны в домашних обстоятельствах: «сказал Хрущеву», «посоветовался с Хрущевым» и т. д. Ехали обычно молча. Хрущев не спрашивал меня, как шло дежурство в газете, а я не задавал вопросов о его рабочем дне.

Утром в воскресенье Никита Сергеевич обычно просил прочитать ему театральный репертуар и почти всегда выбирал что-нибудь знакомое. Младшие члены семьи стали ходить с отцом в театр чуть позже, а в начале 50-х эта повинность лежала на нас с женой. Я не оговорился: именно повинность. Никита Сергеевич чаще всего выбирал МХАТ, хотя много раз видел практически все спектакли. «Горячее сердце», наверное, раз десять, не меньше, и мы вместе с ним. Соглашался на любую оперу в

Большом, а к балету относился равнодушно. Правда, принимал и балет, если танцевала Уланова или другая известная балерина.

Любил он театр имени Моссовета, считал его своим, московским. Юрий Александрович Завадский во время антракта непременно приглашался в ложу на чай. Они вспоминали многих актеров той поры, когда Хрущев в начале и в середине 30-х только начинал в Москве. Однако, если Завадский втягивал Хрущева в деловые разговоры, в оценку спектакля, Никита Сергеевич отшучивался: «Вы же видите, я не собираюсь уходить со второго акта.— И добавлял после паузы: — Хотя, может быть, и хочется. Зачем обижать актеров...»

В ту пору он не считал себя судьей ни в театральных делах, ни в кино, ни в литературе. Правда, в машине мог обронить: «Ерунда какая-то». Но не больше. Он не принимал бытовые спектакли, не любил «копания в грязном белье»...

В его привязанностях особое место занимал документальный кинематограф. Киножурналы, посвященные науке, строительству, сельскому хозяйству, просматривал непременно. Если в просмотровом зале были помощники, он поручал им собрать дополнительные сведения о тех или иных новинках техники, изобретениях, интересных людях. Увы, не всегда то, что пропагандировалось на экране, существовало. Не знаю, какие меры предпринимались по поводу «кинолипы», но просмотр фильмов на какой-то срок прекращался.

Во время московских гастролей Киевского театра оперы актеры бывали на даче у Никиты Сергеевича. Вместе с ними он пел народные русские и украинские песни. Шло своеобразное музыкальное соревнование (голоса у Хрущева не было) на знание песен редких, фольклорных. К чести украинских певцов, они почти всегда подхватывали слова самых «забытых» песен и припевок. Хрущев родился в курской деревне, долго ходил в подпасках, много, конечно, слышал в детстве южных русских народных напевов, рядом лежали украинские села, и живой обмен культурным наследием был налажен хорошо. Любила петь и его мать, Ксения Ивановна; на деревенский лад она говорила не «петь», а «кричать песню».

Перебирая сейчас в памяти черты характера Никиты Сергеевича, думая о том, что больше всего он ценил в людях, прихожу к выводу — деловитость, профессио-

нализм, трудовое достоинство. Хрущев уважал тех, кто энергично строит жизнь, не без гордости вспоминал, что в лучшие свои рабочие годы в Донбассе получал 30 рублей золотом. Слесарь должен был обладать высокой квалификацией, чтобы его труд так высоко оплачивали. Однажды исполнилась мечта молодого Хрущева. Он подкопил денег на покупку пальто. Приехал в Юзовку, пришел в магазин. «Подскочил приказчик,— рассказывал Никита Сергеевич,— спрашивает: «Чего изволите?» Я ему про пальто, он тут же достает, поглаживает один рукав, другой. «Какое желаете, правое или левое?» Я пощупал материал, поколебался и ткнул пальцем — правое. Продавец посмеивается. Оказалось, рукава от одного пальто». Хрущев не раз приводил этот пример на разных совещаниях, когда речь шла о торговле, заканчивал обычно нравоучительной сентенцией: «Вот так умели торговать дореволюционные приказчики. Наш советский продавец не будет морочить голову покупателю, он ему говорит: сам выбирай».

Хрущев не был призван на военную службу в годы первой мировой войны, шахтеров в армию не брали. Жизнь в Донбассе становилась все тяжелее, вспыхивали забастовки, появились в шахтерских поселках казачьи сотни. К этому времени Хрущев уже определил свои позиции, стал большевиком. Ушел сражаться с белыми. В годы гражданской войны он был комиссаром при политотделе 9-й армии на Южном фронте.

Помню, во время визита Никиты Сергеевича в Соединенные Штаты Америки на приеме в Лос-Анджелесе среди хозяев оказался сын купца из Ростова-на-Дону. В гражданскую семью купца вышвырнули из этого города как раз те части, где служил Никита Сергеевич, и она оказалась в Америке. Когда это выяснилось, произошла некоторая заминка, а затем Хрущев, забыв о «протокольных приличиях», заявил, что не желает ни есть, ни пить рядом с «контрой», что он приехал встречаться с настоящими американцами, а не с «беляками». Сына «беляка» куда-то оттеснили, рядом с Никитой Сергеевичем посадили «настоящего американца». Инцидент дипломатично замяли. Хрущев нисколько не жалел о сказанном. Немало было случаев, когда Никита Сергеевич эпатировал общественное мнение, но люди, видевшие его в таких обстоятельствах, замечали, что за кажущейся несдержанностью проглядывал тонкий, а иногда и лукавый расчет.

Бог знает, каких только «штрихов к портрету» Хрущева не дорисовывают иные люди! Я прежде всего смотрю на год выпуска таких свидетельств — это многое объясняет. Хрущев, естественно, не был ни ангелом, ни холодным человеком и политиком, не прятал взрывной сущности натуры. Особенно его раздражало вранье, пренебрежение делом и тем более притупление идеологической бдительности, как он ее понимал. Тут он бывал резким, и, случалось, никакие аргументы не могли заставить его изменить оценку человека или решение.

Теперь часто отыскиваются примеры ошибок Хрущева, его необъективности и даже самоотрицания в подходах к тому принципиальному развитию событий, которое нарастало в обществе благодаря его стараниям. Но что было, то было. Хрущеву не раз говорили, что Владимир Дудинцев в романе «Не хлебом единым» написал как раз о тех негативных явлениях, которые он, Хрущев, критикует,— это не изменило отрицательного отношения к книге. Непостижимо!..

Известно, что провозглашение истин — занятие более легкое, чем их поиск. Хрущев любил рассказывать анекдот о споре двух военных — полковника и генерала. Когда полковник, как говорится, припер генерала к стенке и у того иссякли все аргументы для возражений, он сделал шаг вперед и гаркнул: «Полковник, не забывайтесь!»

Каждому, думаю, приходилось оказываться в положении либо полковника, либо генерала. В грубом варианте эту ситуацию выражают так: «Я начальник — ты дурак; ты начальник — я дурак».

Мы долго отучивались от демократичного сопоставления точек зрения. Трубим или помалкиваем. Заметьте, чем выше уровень обсуждающих ту или иную проблему, чем выше положение тех, кто участвует в этом обсуждении, тем реже и глуше звучит неординарное мнение. Я разговорился на эту тему с Никитой Сергеевичем, когда он был уже на пенсии. Спросил, считает ли он нормальным, что на сессиях Верховных Советов, на партийных съездах никто никому не возражает, не вспыхивают споры, полемика. Разве то или иное решение так уж бесспорно? Что случится, если оно будет принято не единогласно? И разве не честнее сказать о своем несогласии или особом мнении, чем создавать видимость единодушия?

Хрущев долго молчал. Мы успели пройти почти километр по дорожке, а он не отвечал. Подумалось, что не хочет продолжения разговора, и я не стал повторять вопрос. И вдруг Никита Сергеевич сказал: «Партия у нас уже старая, многое в ней сложилось накрепко, не сдвинешь...»

А вот ведь сдвинулось. Мне кажется, Хрущева порадовали бы революционные перемены, которые во все большей мере определяют нашу жизнь. Мы отыскиваем истину в сложнейших вопросах идеологического, экономического, хозяйственного строительства, не боясь разных подходов. Уходит в прошлое генеральское «Не забывайтесь!»

Никита Сергеевич вспоминал, что в последние годы (а может быть, месяцы жизни) Сталин говаривал: «Останетесь без меня — погибнете... Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». Почему Хрущев вспомнил эти слова, что стояло за ними? Предупреждал ли кого-то Сталин или в какие-то минуты реальнее представлял истинное положение дел в стране и, оглядывая свой жизненный путь, в чем-то раскаивался... В отчуждении к детям, в том, что после самоубийства жены он не пощадил даже тех ее родственников, к которым когда-то питал симпатию. Отчего он говорил: «Погибнете»?

...На чем основано мое убеждение в том, что именно Хрущев принял твердое решение обезвредить Берию, не дать ему возможности захватить власть? Не только на рассказах самого Никиты Сергеевича, который, когда эти тревожные недели миновали, не раз вспоминал, что и как происходило, хотя это и важное свидетельство. Не могли не видеть близкие, что перед самым арестом Берии Никита Сергеевич вдруг появлялся на даче в разгар рабочего дня, и к нему в разные часы приезжали Молотов, Ворошилов, Маленков, Булганин, Микоян. Обычно Никита Сергеевич надолго уходил с приехавшим товарищем к реке.

Рассказывал Хрущев и о реакции на его предложение. Все высказывались за арест. Важно было, что согласились Маленков и Молотов, позиция первого беспокоила Никиту Сергеевича. За многие годы Маленков и Берия притерлись друг к другу. Но Маленков был тверд, сказал, что объявит на заседании Президиума ЦК об аресте Берии. Никита Сергеевич вспоминал, что, когда

он начал разговор с Ворошиловым, тот поначалу стал расхваливать Берию. Когда же выслушал Никиту Сергеевича, расплакался. Он считал Хрущева чуть ли не другом Берии, видел, как тот обхаживает Никиту Сергеевича, и просто боялся за себя. Ворошилов готов был сам арестовать этого авантюриста.

Есть еще одно обстоятельство, которое важно своими последствиями. Хрущев после смерти Сталина не был избран Первым секретарем ЦК. Как член Президиума ЦК, Хрущев возглавлял работу Секретариата, однако в центре политического руководства страной стояли Маленков, Берия, Молотов. Они возглавляли и Совет Министров СССР.

К кому стремились старые коммунисты, большевики-ленинцы, вырвавшиеся из ссылок? Где, у кого рассчитывали найти понимание, поддержку, а главное, опору в своих убеждениях? У Маленкова, Молотова, которые работали рядом с Берией? Люди все же пробивались в Центральный Комитет. Так в ЦК сосредоточивались чрезвычайно важные сведения, и Хрущев из первых уст узнавал подробности гибели многих коммунистов, в том числе и многих товарищей, которых знал лично.

Он понимал, конечно, что может его ожидать. Необходимо было проявить максимум выдержки до самого последнего момента. Осведомители Берии могли проникнуть всюду. Хрущев пошел на более рискованный шаг. Еще по Украине он знал Серова, заместителя Берии. Видимо, объяснился и с ним. Серов сдержал слово и оказал твердую помощь. Оставляю в стороне мотивы, по которым он это делал, во всяком случае какая-то часть операции была им выполнена.

Существенное состояло в том, что Никита Сергеевич получил полную поддержку маршала Жукова и генерала армии Москаленко. Именно они вошли в Кремлевский зал заседаний Президиума ЦК и объявили Берии, что он арестован. Этот акт был лишь финалом той предупредительной работы, которую провели военные.

Не только личную смелость проявили в те дни Хрущев и другие. За этим рубежным для нашей истории поворотом стояла воля Центрального Комитета партии.

Год 1953-й шел к концу. В сентябре состоялся Пленум ЦК партии, который проанализировал состояние дел в сельском хозяйстве. Хотя на XIX съезде партии проблема зерна была объявлена решенной, закупки зерна не

покрывали потребностей страны, в особенности это сказывалось на развитии животноводства. С 1940 по 1952 г. промышленная продукция выросла в 2—3 раза, а валовая в сельском хозяйстве — всего на 10 процентов. В докладе Хрущева отмечалось, что рост производства зерна сдерживается отходом от принципа материальной заинтересованности — коренного положения социалистического хозяйствования. Хрущев напомнил важную мысль Владимира Ильича Ленина о том, что для перехода к коммунизму потребуется долгий ряд лет и что в этот период перехода хозяйство нужно строить «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете».

Сентябрьский Пленум ЦК занял важное место в истории нашей партии. Хрущев был избран Первым секретарем. Это свидетельствовало не только о росте его личного влияния, но и об активизации, усилении роли партии в жизни страны.

В январе 1954 г. Хрущев в Записке в Президиум ЦК КПСС назвал цифры хлебных ресурсов. На конец 1953 г. хлеба было заготовлено не только меньше, чем в 1951 и 1952 гг., но и меньше, чем в 1940-м, а расход его увеличился более чем в полтора раза. Без необходимого количества хлеба невозможно было думать о дальнейшем успешном развитии всего народного хозяйства. Зерновая проблема обозначилась под № 1. В Записке обосновывалось предложение взять хлеб на целинных и залежных землях Казахстана, Сибири и ряда других районов. Так впервые в политическом документе появилось слово «целина».

Пожалуй, наиболее ярко энтузиазм тех лет проявился в грандиозной эпопее освоения целинных земель. Хлеба стране недоставало, и взять его надо было быстро. Просчитал ли Хрущев все иные варианты выхода из хлебного тупика, можно ли было поступить иначе — не берусь судить. Целинная эпопея получала в разные годы разные оценки. В середине 60-х годов я слышал высказывания о том, что целина — крупнейшая ошибка Хрущева наряду с созданием совнархозов, ликвидацией ряда министерств и изменением роли тех из них, которые остались. Потом, правда, целину «взял на себя» новый Генеральный секретарь, и критики приумолкли.

В феврале 1954 г. Хрущев выступал перед комсо-

мольцами Москвы и Московской области, уезжавшими на освоение целинных земель в Казахстане. С ними отправилась и целая бригада «Комсомолки». Мы писали об отчаянно трудном, не принесшем радости первом неурожайном 1955 годе, о втором, когда уходили за горизонт необозримые золотые поля.

Никита Сергеевич объезжал один за другим целинные совхозы. Азартная натура этого человека требовала личных впечатлений, встреч с людьми. Я часто слышал и его выступления на больших митингах, и беседы с молодыми целинниками у палаточных костров. Никогда не обещал он им благ в виде божественного ниспослания, не боялся говорить о тяжести труда, никого не обманывал на этот счет.

Тема хлеба — и шире: пищи, продовольствия, продуктов, еды — звучала во всех многочисленных выступлениях Хрущева. Только в 1954—1955 гг. он побывал в Сибири, на Дальнем Востоке и Сахалине, в Средней Азии, на Украине, в Саратове, Воронеже, Ленинграде и Ленинградской области, Риге, Курске, вновь в Средней Азии, я уж не говорю о проводимых им многочисленных совещаниях в Москве, о пленумах ЦК, которые били в ту же цель: накормить страну.

Всю свою энергию, темперамент, цепкость он направил на достижение этой цели. Для политического деятеля это означало связать свой авторитет, влияние, в немалой степени и свое будущее с тем, что даст задуманное.

Тридцать миллионов поднятых, засеянных и принесших хлеб гектаров резко повысили государственные ресурсы. Уже через три года, к 1957-му, продовольственная проблема стала менее острой, практически исчез дефицит на многие продовольственные товары, и прежде всего на хлеб, молоко, мясо...

Молодые люди часто спрашивают, как возникают у нас лидеры в высших кругах власти. Как удалось добиться этого Хрущеву? Почему-то эти темы у нас не обсуждаются. Быть может, то, о чем я пишу, что-то прояснит.

В 1954 г. Никите Сергеевичу исполнилось шестьдесят. Семейных торжеств он не признавал. С утра, как обычно, младшие отправились на занятия, старшие — на работу. Однако юбилей все же отпраздновали — явочным порядком. На даче собрались гости. Нельзя было не заметить, насколько хозяин стола от-

личался от них. Обветренный, загорелый, с седеньким венчиком волос по кругу мощного черепа, Хрущев походил на приезжего родственника, нарушившего чинный порядок застолья. В тот вечер он был в ударе, сыпал пословицами, поговорками, каламбурами, украинскими побасенками. Он чувствовал, конечно, что его простоватость коробит кое-кого из гостей, но это его нисколько не смущало. Цепкие глаза бегали по лицам собравшихся, и, казалось, в них, как в маленьких зеркальцах, отражалось все, что владело его вниманием. Без пиджака, в украинской рубахе со складками на рукавах (у него были короткие руки, как он говорил, специально для слесарной работы), Хрущев предлагал и другим снять пиджаки, но никто не захотел.

Гости сидели со снисходительными минами на лицах, не очень-то скрывая желание отправиться по домам, но встать из-за стола не решались. Было видно, что они принимают Хрущева неоднозначно, что вынуждены мириться с тем, что он попал в их круг, а не остался там, на Украине, где ему самому, по-видимому, жить и работать было легче и сподручнее. Эта несовместимость Никиты Сергеевича с гостями вызывала неловкость и даже тревогу. Нина Петровна сказала: «Давай отпустим гостей».

Когда все разъехались, Никита Сергеевич вышел на веранду и попросил включить магнитофон с записями птичьего пения. Он привез магнитофон из Киева, очень гордился тем, что киевские инженеры и рабочие сделали его надежным. Часто включал. Пение птиц записывал сам, устанавливая по вечерам тяжелый деревянный ящик в кустах, где гнездились соловьи и другие голосистые птахи.

Этот аппарат работал лет тридцать!

Магнитофон не единственное увлечение Никиты Сергеевича. Он настойчиво добивался выпуска электробритв, электронных часов (отдал на Московский второй часовой завод свои, полученные от заезжего американца в подарок), соломенных шляп, зажигалок, хоть сам никогда не курил, а чуть позже — синтетических мехов. Демонстративно носил шапку из искусственного меха. У его коллег были такие же, но из меха натурального, и он в шутку тихонько менял свою на чужую. Хозяин обнаруживал это не сразу, и, возвращая шапку, Никита Сергеевич радовался: «Видите, даже не заметили, что она искусственная».

Синтетика была под его особым контролем. Хрущев говорил, что без развития производства синтетических материалов вопрос с одеждой решить будет невозможно. Он стал активно принимать западных бизнесменов, заспешивших в Москву. Крупный итальянский промышленник, если не ошибаюсь, Маринотти (я бывал на его фирме в Риме), поставил нам первые заводы искусственных волокон. Так вошла в наш быт ткань «болонья».

Никита Сергеевич бушевал, если бритвы, часы, зажигалки быстро ломались, стыдил инженеров на совещаниях. Человек темпераментный, «взрывной», он часто не сдерживался. Напомню эпизод, о котором ходило немало толков — от умилительных: «Вот это да, знай наших» — до презрительных: «Подумайте, стучал ботинком по столу, да где, в Организации Объединенных Наций! Позор! Что подумали о нас?» Но ведь это не противоречило протокольному порядку заседания. Хохотали многие делегаты сессии ООН, а генеральный секретарь Хаммаршельд не сделал Хрущеву замечания, хотя жестко контролировал соблюдение всех основных правил поведения в соответствии с Уставом.

Все началось, собственно, за день до памятного события. Предстояло обсуждение так называемого «венгерского вопроса». Во время завтрака в советской миссии Хрущеву сообщили о повестке дня, сказали, что предупредят, когда в знак протеста надо будет покинуть зал. Хрущев как бы не понял, о чем ему говорят. А после разъяснений удивился: «Покинуть зал, когда наших друзей поносит черт те кто, да еще отказаться от права на обструкцию?» Не без юмора рассказал, как Бадаев, член большевистской фракции в Думе, специально учился у мальчишек свистеть — в Думе все большевики освистывали неугодных ораторов, да так, что их речи практически невозможно было услышать.

И вот председательствующий объявил о рассмотрении «венгерского вопроса». Советская делегация не покинула зал. Разнесся шепот удивления: «Советские не ушли». И тут началось. Хрущев непрерывно (но в соответствии с процедурными правилами и регламентом) вносил запросы, требовал разъяснений, уточнений, требовал, чтобы ораторы предъявили мандаты членов делегаций и прочее. Было уже не до «венгерского вопроса», становилось ясно, что на этот раз обсуждение проваливали иным, более «громким» способом. Все

члены нашей делегации в соответствии с темпераментом колотили по откидным столикам перед креслами, их поддержали многие другие делегации. Как на грех, с руки Хрущева соскочили часы. Он начал искать их под столом, живот мешал ему, он чертыхался, и тут рука его наткнулась на ботинок...

Возвращаясь к этому эпизоду «ботиночной дипломатии», скажу о другом. Когда вслед за «венгерским вопросом» стал обсуждаться «алжирский», французы чинно покинули зал. Кто-то спросил, отчего уходят. Не без французской учтивости они ответили: «Идем в магазин покупать горнолыжные ботинки...»

Хрущев не то чтобы не любил джаз, но как-то высказал Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу свое неудовольствие по поводу джазовой атаки на слушателей во время одного из итоговых концертов художественной самодеятельности. Шостакович был председателем жюри и пригласил Хрущева в только что открывшийся Кремлевский театр (теперь в этом переоборудованном зале проходят заседания Совета Национальностей Верховного Совета СССР). Концерт начался парадом-алле сразу пяти джазовых оркестров, гремевших так, что едва выдерживали барабанные перепонки. Хрущев досидел до конца, а затем в сердцах сказал Шостаковичу, что не ожидал от него такой безвкусицы. Шостакович не знал не только о том, что, как всякий старомодный человек, Никита Сергеевич не очень-то большой поклонник джазовых рапсодий, но и о том, что такое начало концерта могло показаться ему своего рода вызовом. Желание немедленно обратить недоразумение в поучительное предупреждение привело к тому, что джазы были изъяты из музыкальной жизни.

Многое шло тогда вместе со словом «впервые». Это «впервые» усиливалось и в нас самих, в наших новых отношениях друг с другом, в причастности к общему, в атмосфере подъема общественной энергии.

Иной становилась и внешнеполитическая деятельность. Сталин не признавал дипломатии личных контактов, после войны, кроме Потсдама, никуда не выезжал, многие сложные вопросы консервировались, оставались нерешенными. Булганин и Хрущев посетили Китай, Англию, такие поездки становились нормой. Все больше гостей приезжало в Советский Союз. Не

стану подробно перечислять все дипломатические акции той поры, это заняло бы слишком много места и требует специального разговора. Советское руководство добивалось прежде всего ликвидации двух тяжелых конфликтов — в Корее и Вьетнаме. И вот наконец было подписано перемирие в Корее, затем во Вьетнаме. Советский Союз заключил мирный договор с Австрией.

Делегация во главе с Никитой Сергеевичем посетила Югославию, открыв дорогу к нормализации отношений между двумя социалистическими странами. Ликвидация разрыва с Югославией, с ее героической партией и народом, вызванного сталинским своеволием, стала хорошим знаком новых отношений между братскими партиями и странами.

Два международных события той поры, разных по своей сути, соединены в памяти. Приезд к нам летом 1955 г. премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве летом 1957 г. Если первое из них олицетворяло новую, открытую дипломатию, то второе стало шагом к открытому обществу, проявлением веры молодежи в лучшее будущее мира и веры в молодежь, которой предстоит строить это будущее.

В том же 1955 г. в Женеве, впервые за послевоенный период, состоялось совещание глав правительств четырех великих держав с участием Булганина, Хрущева, Молотова, Жукова, Эйзенхауэра, Даллеса, Идена, Макмиллана, Фора, Пине. Так возник «дух Женевы», предвестник отступления «холодной войны». Вернувшись, Хрущев сказал, что во время встречи особо «подружился» с Даллесом: «Он был там главным». Никита Сергеевич не раз использовал «дружбу» с Даллесом. По-видимому, он вцепился в Женеве в этого американского деятеля с большой силой. Во всяком случае, на приемах, где бывали иностранные журналисты, часто говорил: «Что это мой друг не держит слова?» — и начинал с экспрессией и юмором критиковать Даллеса за его негативные высказывания.

Не все в международных отношениях развивалось в ту пору по плану, просто и легко. Однако многое менялось к лучшему. В Женеве было решено содействовать обмену делегациями и отдельными специалистами. Американцы сразу же воспользовались этой возможностью. Готовились к поездкам первые наши спе-

циализированные делегации: строителей, работников сельского хозяйства, медиков, архитекторов, журналистов.

Мы начинали узнавать мир вблизи. Это нужно было для дела. Когда в 1958 г. в Брюсселе открылась Всемирная промышленная выставка, Хрущев предложил направлять для изучения опыта большие группы работников самых разных профессий, организаторов производства. Тогда так и говорили: «Едем на брюссельский семинар». А вскоре решено было, чтобы «Интурист» не только принимал «дам оттуда», но и организовал массовые поездки советских людей за рубеж.

В феврале 1956 г. состоялся XX съезд партии. Шло обсуждение Отчетного доклада Центрального Комитета партии и Директив по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. С докладами выступили Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев и Председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин.

Съезд близился к завершению, исчерпалась объявленная повестка дня. Журналисты знали, что на закрытых заседаниях предстоят выборы руководящих органов партии. Вечерами в «Комсомолку» забегали наши друзья — секретари ЦК и обкомов комсомола из многих республик. Так мы узнали, что отъезд делегатов почему-то задерживается. Странное ожидание повисло в воздухе. Все прояснилось, когда стало известно о втором, закрытом докладе Хрущева.

Он говорил о Сталине. Доклад Хрущева стал крупнейшим политическим событием того времени. Съезд принял постановление о преодолении последствий культа личности Сталина; были реабилитированы тысячи и тысячи невинно погибших, возвращено доброе имя оставшимся в живых. Миновали уже десятилетия с той поры, но и поныне мы ищем истоки трагических событий, сталинского произвола и преступлений. Вновь и вновь возвращаемся к письму Владимира Ильича, адресованному в декабре 1922 года XII съезду партии. Так хочется верить, что то письмо Ленина, будь оно обнародовано, могло бы многое изменить и многое предотвратить. Напомню еще раз вовсе не бессмысленные слова Сталина: «Останетесь без меня, погибнете. Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». Хрущев не раз повторял эти слова именно после XX съезда.

Больше тридцати лет прошло с того времени. Немалый срок, и многое должно было порасти травой забвения. Но нет, не поросло. И сколько ошибок и поздних покаяний выросло из нашего незнания... Покаяние — категория вечная. Грешить и каяться — удел слабых. Лучше без покаяний и уж, во всяком случае, без поводов для них. Говорят и другое. Мол, тридцать лет назад все, что было сказано на XX съезде, широко обсуждалось в партии и стране. На XXII партийном съезде этой теме тоже нашлось место. Может быть, достаточно? Ответ, с моей точки зрения, прост. Правда XX съезда очень скоро была сужена до «полуправды», а позже, уже к середине 60-х годов, на весь круг проблем вновь поставили гриф «секретно».

К большим и малым событиям причастен каждый, и у каждого есть право говорить о времени и о себе, если, конечно, при этом нет эгоистического расчета и тем более претензий на истину в конечной инстанции. Гласность и демократизм наших дней снимают запрет с осмысления не только давно минувших событий.

Я не слышал доклада Хрущева на XX съезде и не стану с чужих слов передавать происходившее в зале заседаний. Сложность чувств многих миллионов людей, позднее ознакомившихся с преданными огласке фактами, быть может, точнее всего выразит одно слово: ужас. Однако не отчаяние и не растерянность властвовали в ту пору в общественном сознании. Ни у кого, кто способен был стать выше обывательских спекуляций, не возникало даже мысли, отдаленного намерения перечеркнуть или взять под сомнение социалистические завоевания нашей страны. Вовсе нелепо предполагать, что это входило в намерения Хрущева. В трагедии был очистительный заряд.

Уходят свидетели тех бурных лет, детали стираются. Я говорю себе: надо вспомнить. Вспомнить, чтобы вернуться, оказаться среди тех, кто жил в гуще событий, кто не мог оставаться равнодушным, ибо то время требовало личного выбора и четкого определения позиции.

Раздумывая над тем, как сделать это возвращение более точным и по возможности объективным, я решил задать себе несколько вопросов и ответить на них.

Были ли у Хрущева какие-то сугубо личные причины, амбиции, толкнувшие его на тот решительный шаг во время XX съезда — на второй доклад?

В дни дежурства у постели умирающего Сталина (он делил это дежурство с Булганиным) домой Никита Сергеевич приезжал всего на несколько часов, осунувшийся, почерневший, мало говорил, вновь уезжал в Волынское. В траурной толпе потерялись и пропадали чуть ли не сутки его сын и младшая дочь — потрясенные случившимся и рвавшиеся в Колонный зал, чтобы проститься с вождем. В один из дней Никита Сергеевич взял с собой Раду, и она, оставив грудного ребенка, до ночи пробыла у гроба, не имея сил уйти. В последние траурные минуты Хрущев плакал, как и многие другие, и не стеснялся своих слез.

Вместе с партией, которую вел Сталин, вместе, а затем и рядом со Сталиным прошла вся его жизнь. Приехав в 1929 г. с Украины в Москву, в Промышленную академию, где учились наиболее энергичные, талантливые партийцы с мест, Хрущев стал не только прилежным студентом горного факультета — вскоре его избрали секретарем парткома академии. В академии училась и жена Сталина, Аллилуева, она тоже была членом парткома. Хрущев вспоминал Аллилуеву с большим уважением, как хорошего, скромного товарища, нисколько не выпячивающего свое положение. Лишь после смерти вождя Хрущев узнал, что Аллилуева, как и Орджоникидзе, покончила жизнь самоубийством, настолько тщательно скрывались обстоятельства их ухода из жизни.

Хрущев активно участвовал в острейших идейных дискуссиях, боролся с троцкистской оппозицией. По-видимому, Каганович, бывший в ту пору секретарем МГК партии и знавший Хрущева еще по Украине, мог рассказать о нем Сталину.

Впрочем, не только он. Хрущев не часто предавался воспоминаниям о своем выдвижении в верхние партийные круги. Иногда, уже в пенсионные годы, он мог отложить книгу, задуматься и, как бы для себя, вернуться в прошлое. Жалел, что не удалось окончить Промышленную академию, да и вообще не везло с учением: все время срывали с занятий по какой-нибудь острой необходимости.

Как-то я попросил его рассказать о Надежде Сергеевне Аллилуевой, о том, могла ли она вступить со Сталиным в политический спор и правда ли, что защищала Николая Ивановича Бухарина, близкого их семье человека? Не этот ли драматический узел послужил причиной ее самоубийства?

Хрущев исключал такую возможность, хотя заметь, что Аллилуева могла «споткнуться на правую ногу» во время какого-нибудь спора или дискуссии. Правда, никогда не настаивала на своем, если убеждалась, что большинство товарищей ее не поддерживают. Вспомнил Хрущев и такой эпизод. Во время ноябрьской демонстрации 1932 г. на Красной площади он оказался рядом с Надеждой Сергеевной. Было ветрено, дождливо, холодно. Аллилуева поглядывала на трибуну Мавзолея, явно беспокоясь за мужа. Сказала: «Мерзнет ведь! Просила его одеться потеплее, а он, как всегда, буркнул что-то грубое и ушел...» «По-моему,— закончил Хрущев,— она боялась Сталина...» (В ту ночь Аллилуева покончила с собой.)

Уже после ее смерти Хрущев и Булганин несколько раз получали приглашение от Сталина на семейные обеды. Булганин тогда был председателем Моссовета, и, вызывая их по телефону, Сталин произносил: «Отцы города, прошу на обед!» Бывали за столом отец и мать Надежды Сергеевны, ее сестра Анна Сергеевна, муж которой Реденс возглавлял Московское управление внутренних дел, дети. Так случалось до 1936 г.; потом Реденс был расстрелян, а семья рассеяна.

«За такими обедами,— вспоминал Хрущев,— Сталин давал почувствовать, что хорошо знает, как я вел себя в академии во время борьбы с правыми и троцкистами. Такие подробности могла передавать ему только Надежда Сергеевна. Сталин вдруг мог спросить: «А ваш отец перестал плотничать, он живет с вами в Москве?» Сталин знал биографию каждого своего выдвиженца, а я, конечно, был таковым».

Промышленная академия той поры была важной опорой ЦК партии, из нее вышли многие крупные хозяйственные и партийные руководители. В самом начале 30-х годов пришлось, недоучившись, уйти на партийную работу и Хрущеву. Сначала он был избран первым секретарем Бауманского райкома Москвы, а затем — Краснопресненского. В 1935 г. стал первым секретарем МК и МГК ВКП(б).

Однажды, уже в конце 60-х, я показал Никите Сергеевичу редкую фотографию: Сталин, Орджоникидзе и Хрущев идут по тротуару вдоль Большого Кремлевского дворца. Здание еще не отремонтировано как следует и выглядит обшарпанным. Идут хоть и вместе, но каждый сам по себе. Сталин — вольно, спокойно, в белом полувоенном костюме и черном коротком плаще нараспашку.

Орджоникидзе, широкий и мощный в плечах, еще ниже Сталина, кажется почти квадратным. Он в русской рубахе навыпуск, подпоясанной тонким кавказским ремешком. Никита Сергеевич — худенький, в черном костюме, в белых парусиновых ботинках, которые в ту пору чистили зубным порошком.

Хрущев долго разглядывал снимок, а потом сказал: «Наверное, это Первое мая 1936 года. Тогда я пошел к Сталину на квартиру, чтобы пригласить его на трибуну Мавзолея».

В те годы, вероятно, как и всю жизнь, Сталин цепко наблюдает за всем, что происходит в столице. Строительство метро, расчистка города от «рухляди минувших веков», реконструкция. Как-то Хрущев доложил Сталину о протестах по поводу сноса старинных зданий. Сталин задумался, а потом ответил: «А вы взрывайте ночью».

Пора строительства метрополитена долго оставалась любимой темой в воспоминаниях Никиты Сергеевича. Чуть ли не ежедневно он начинал рабочий день секретаря горкома партии с посещения самых сложных участков проходки. Спускаясь под землю, он как бы возвращался к дням молодости, к шахтерскому делу. Он очень гордился тем, что вместе с другими метростроевцами был награжден орденом Ленина. Первым орденом в своей жизни.

Многое, в том числе и возвращение Хрущева в Москву в 1949 г., свидетельствовало о том, что Сталин давно и постоянно держал его в поле зрения.

На предвыборном собрании 1937 г. в Большом театре Сталин начал свою известную речь с таких слов: «Товарищи, признаться, я не имел намерения выступать, но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня сюда, на собрание: скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать, какую именно речь?»

Такое начало было, надо думать, не случайным. Сталин в каждое слово вкладывал некий, одному ему известный дополнительный смысл. В данном случае сказанное свидетельствовало о расположении. Через год, в 1938-м, Сталин рекомендует Хрущева на пост первого секретаря ЦК Компартии Украины, его избирают кандидатом, а в 1939-м — членом Политбюро ЦК ВКП(б).

Хрущеву в ту пору 44 года. На многих постах появились тогда молодые работники — тысяч старых партийцев уже не было в живых...

Там, на Украине, Хрущев встретил начало Великой Отечественной войны. Он прошел с войсками от Киева до Сталинграда и вновь до Киева, будучи членом военных советов многих фронтов, оставаясь комиссаром, каким сформировался в годы гражданской. В своих речах перед солдатами он не раз, конечно, призывал: «Вперед! За Родину, за Сталина!»

Позже, уже после XX съезда партии, Никита Сергеевич часто вспоминал начало войны, ее первые дни, даже дни перед самой войной, и горько упрекал Сталина за просчеты того периода. Мучила его душу тяжелая история, связанная с провалом харьковской наступательной операции в 1942 г. Войска Юго-Западного направления не смогли выполнить поставленную командованием задачу, наступление захлебнулось, велики были потери. Ответственность лежала не только на маршале Тимошенко, командовавшем этим направлением, но и на Хрущеве — члене Военного совета. Долго, практически до самых последних дней жизни это терзало Никиту Сергеевича.

Много раз передумывал он события под Харьковом, находились доброжелатели, которые успокаивали Хрущева все новыми «вариантами» хода этой операции, снимавшими вину за поражение. Хрущев в те роковые часы звонил в Ставку, просил Маленкова разбудить Сталина, чтобы получить разрешение отвести войска, избежать окружения; говорил, что Маленков будить Сталина отказался. Но все это не гасило вины.

Часто Хрущев так оправдывал отсутствие своего интереса к мемуарам военачальников: «Известное дело, войны проигрывают солдаты, а выигрывают маршалы. Каждый из них прежде всего выгораживает и прославляет себя». Хрущев никогда не преувеличивал своей роли в войне, не шел на поводу у доброхотов. Он остался в звании генерал-лейтенанта, будучи Председателем Совета Министров СССР — Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил.

В 1951 г. Никита Сергеевич выступил в «Правде» со статьей о положении дел в подмосковной деревне. К тому времени он знал, как обстоят здесь дела, видел разорение в колхозах, пустые, обезлюдевшие деревни. Он предлагал провести укрупнение колхозов — ведь в иных хозяйствах осталось всего по 10—20 старух да детей,— начать строительство современных благоустроенных поселков, привлечь в них горожан, рас-

положить на подмосковных землях своего рода агрогородки.

Следом на страницах «Правды» появилась небольшая заметка, где говорилось, что статья Хрущева опубликована в порядке обсуждения. Газетчики быстро узнали, в чем тут дело. Сталин отрицательно отнесся к предложениям Хрущева. Обсуждение не состоялось. Однако не произошло и резкого обострения в отношениях между Сталиным и Хрущевым. Никита Сергеевич продолжал занимать хоть и не самое видное, но прочное положение близ вождя. Не раз, снимая трубку домашнего телефона (какое-то время мы жили с родителями жены), я слышал глуховатый голос: «Мне Микиту...» — так, на украинский манер, обращался к нему Сталин.

Вернусь, однако, к дням XX съезда. Что могло заставить Хрущева выйти на трибуну с докладом о Сталине? Чем объяснялась его решимость?

К 1956 г. многие десятки тысяч известнейших партийных работников, военных деятелей, дипломатов, писателей, ученых были реабилитированы. С мертвых снимались ложные обвинения, их имена очищались от наветов и диких оговоров. Живые хотели не просто участия, извинений, восстановления чести и достоинства. Им вернули паспорта, выдали денежную компенсацию, помогли устроиться с жильем, подыскали работу. Но этого было мало. Требовалось открыто сказать о тех трагических процессах, которые приобрели массовый характер. Уже до XX съезда и, конечно, в ходе заседаний у Хрущева крепло убеждение, что сказать откровенно об этом прежде всего должна партия. Соответствующий материал, который готовила специальная комиссия ЦК, куда входили многие большевики-ленинцы, вернувшиеся из лагерей и ссылок, в один из последних дней работы съезда лег на его стол.

Никита Сергеевич много раз возвращался к тому дню, к тем навсегда вошедшим в его жизнь событиям. Вспоминал ночь уже перед окончанием работы съезда — тогда он еще раз перечитал страницы доклада, и ему померещилось, что он слышит голоса погибших товарищей. Угнетала ли его вина перед ними? Что творилось в его душе?

У каждого свое право судить Хрущева за такой поворот XX съезда, за ту роль, которую он сыграл в ис-

тории нашей страны и партии. Бесспорно, по-видимому, одно: этот съезд никого не оставил равнодушным. Стало ясно, что за зло, за преступления против народа рано или поздно придется нести ответ, что из умолчаний не возникнет прощения.

В то утро, когда Хрущев решился, я думаю, он не предполагал, какой сложной будет история XX съезда. Не знаю, так ли это было или нет, высказываю свою, сугубо личную точку зрения, но то, что доклад этот Хрущев сделал как бы неожиданно, тоже имело под собой некое основание. Мог ли он задолго до съезда обсуждать доклад с членами Президиума ЦК, в особенности с теми, кто тоже должен был нести свою долю ответственности? Удалось бы ему произнести его в таком случае? Он принял решение апеллировать к партии, обратившись непосредственно к съезду.

Когда он объявил о своем решении, его стали пугать непредсказуемыми последствиями. Чем сильнее противились Молотов, Маленков и Ворошилов, тем тверже становилось убеждение Хрущева: надо открыть все. Принять половинчатое решение, осуждающее культ личности Сталина, и не вдаваться в подробности массовых репрессий, с его точки зрения, означало обман партии. Никита Сергеевич предупредил, что не изменит решения и выступит с докладом в качестве делегата съезда. Не остановило его и то, что он ставил под удар и себя — ведь он тоже был рядом со Сталиным. Он сказал, что лгать и изворачиваться не будет. «Придут молодые, спросят: почему смолчали? Что ответим им мы? Как они отнесутся к нам? Спасали свои шкуры, не хотели ответственности? Не жгла боль за гибель товарищей?!»

Так вспоминал Хрущев тот день своей жизни.

Его решение требовало немалого мужества. Поймут ли его? Поддержат? Встанет ведь и вопрос: а где же ты был раньше, дорогой товарищ, разве не знал, что арестовывают твоих друзей по партии, тех, с кем ты работал много лет бок о бок, неужели верил, что все это враги?

Наивно предполагать, что Хрущев, люди его положения вовсе не задумывались, оставаясь один на один со своей совестью, о том, почему все мощнее волны арестов. Но что мог поделать каждый из них? Пленум ЦК 1938 г., низложение, а затем и арест Ежова несколько разрядили ситуацию. Репрессии пошли на убыль. Хрущев уехал на Украину. Он мог успокаивать себя тем, что

сам не совершал подлых поступков. На одной из послесъездовских встреч Хрущеву пришла записка из зала с вопросом о том, как могли допустить такие репрессии, что делали для их прекращения партийные руководители. Никита Сергеевич попросил встать того, кто задал этот вопрос. Никто не поднялся. «Мы боялись так же, как и тот, кто спрашивает об этом».

Боялись... Думаю, это было сказано искренне.

Через многое предстояло пройти. Нам всем и Хрущеву в особенности. Тяжкий груз лег на его плечи. Может быть, более тяжкий, чем он себе представлял. Контрреволюция в Венгрии, подогретая западными провокаторами, ставила под удар социалистические завоевания в этой стране. Венгерские коммунисты проходили через острейшие испытания. Юрий Владимирович Андропов в ту пору был советским послом в Венгрии. Он рассказывал о том, что видел. Кровавые звезды на телах убитых патриотов были метами ярости тех, кто мечтал о свержении власти трудящихся. Хрущев мотался (иного слова не подберешь) необъявленными рейсами по многим горячим точкам в связи с событиями в Венгрии, налаживал контакты с товарищами, советовался с ними, вел экстренные переговоры, принимал на себя груз ответственности. Так приходил к нему новый политический опыт.

...Во время майской демонстрации 1960 г. на Красной площади у меня состоялось «секретное» знакомство с группой молодых людей — Юрием Гагариным, Германом Титовым, Андрияном Николаевым, Павлом Поповичем, Валерием Быковским. Кто мог догадаться, какая компания на трибунах! Пожали друг другу руки и разошлись, чтобы никто не обратил на нас особого внимания.

Писать тогда о них не разрешалось, как не упоминалось имя человека, который стал для своих молодых питомцев близким, родным. Сергей Павлович Королев долго, практически всю свою жизнь, оставался секретной личностью, обозначавшейся для непосвященных торжественным словосочетанием Генеральный конструктор.

Королев, Глушко, Келдыш, Курчатов вместе и порознь часто бывали на даче Никиты Сергеевича. Множество самых разных дел не мешало Хрущеву с каким-то радостным нетерпением ждать их в выходной день к обеду. Он вообще ценил людей науки, инженерного тру-

да, ставил их, так сказать, выше гуманитариев. Для него такие люди реального, конкретного дела связывались с тем, что можно пощупать руками, что может дать видимую пользу. За научными, техническими открытиями его ум мгновенно отыскивал материальную выгоду, способ движения вперед и, главное, социальный эффект.

12 апреля 1961 г. Королев, позвонив Хрущеву с Байконура, кричал в телефонную трубку осипшим от усталости и волнения голосом: «Парашют раскрылся, идет на приземление! Корабль в порядке!» Речь шла о приземлении Гагарина. Хрущев все время переспрашивал: «Жив, подает сигналы? Жив? Жив?» Никто тогда не мог сказать точно, чем кончится полет. Наконец Хрущев услышал: «Жив!»

В тот давний теперь уже день, когда самолет с первым человеком Земли, увидевшим нашу планету из космических далей, подлетал к Москве, весь город охватило волнение. Сотни тысяч людей высыпали на улицы и площади, спешили к Ленинскому проспекту.

Истребители почетного эскорта отвернули от серебристого «ила», шасси машины легко чиркнули по бетону посадочной полосы, выпхнув синей струйкой гари, самолет осел и замер.

На трапе Гагарин. Приостановился на секунду и пошел легкой, изящной походкой по красному ковру к трибуне, остановился перед ней, легко вскинул руку к голубому околышу фуражки и, обращаясь к Никите Сергеевичу Хрущеву, начал рапорт.

А затем в течение многих лет главным организатором всех космических достижений страны будет считаться Брежнев. Судя по фильмам тех лет, Гагарин рапортует «пустоте». На трибуне Мавзолея тоже «организуют» странное одиночество героя (великие возможности киномонтажа и ретуши давно вошли в практику), и желающих именно таким образом представить начало космической эпопеи найдется более чем достаточно...

Никогда — ни раньше, ни теперь — не спорю я с теми, кто так или иначе находит оправдание всему этому, усматривает в докладе Хрущева о Сталине, в постановлении о преодолении последствий культа личности чуть ли не ошибку. В застойные годы такая точка зрения высказывалась более чем активно. В этой позиции легко угадывалось торжество административно-приказной системы, вновь пробудившейся и получившей право отдавать распоряжения и повелевать всем и всеми.

Непоследовательность Хрущева начнет сказываться не сразу, а затем поставит его самого перед тревожным фактом пробуксовки. Капитальный ремонт командно-приказной системы хозяйствования, прополка сорняков, окна дома, открытые в большой мир,— все это пока дает эффект, однако днище корабля все гуще обрастает ракушками. Корабль еще идет вперед, но это требует все больших оборотов машины, а она уже на пределе.

В тех десяти годах — полет Гагарина, реактивные скорости гражданской авиации, многие другие научно-технические открытия и достижения, удивлявшие мир. В конце 50-х на советские экраны вышел фильм немецких кинодокументалистов Торндайков «Русское чудо». В зеркале этого фильма мы как бы заново оценили многое из того, что успели сделать за короткий срок. Вера в человека и вера человеку — вот что олицетворяет для меня то время. Оно определяло взгляды, перечеркивая фальшь, утверждая правду.

Многие из нас, как я уже говорил, не заметили, как начался отлив, как вновь стали вкрапливаться в нашу жизнь те самые «установления», от которых мы вроде бы навсегда освободились. С высоты прожитых лет все заметнее.

В культурной жизни нарастала напряженность. С трудом пробился на экраны фильм «Председатель», а картина «Застава Ильича» одной из первых подверглась разносу и легла на полку. Не иссякла, правда, надежда на то, что все это временно. В литературе, искусстве, театре, кинематографе споры, однако, обострялись, от письменных столов перекинулись на трибуны. Кто-то принимал повесть Эренбурга «Оттепель», кто-то ее хулил, кому-то нравился роман Дудинцева «Не хлебом единым», иные обвиняли автора в посягательстве на основы. Все более четко вырисовывались пристрастия. Разговоры о консолидации ни к чему уже не приводили. Не скажешь, чтобы ситуация эта сложилась неожиданно, ее истоки все там же — в решениях XX съезда. Понимал ли сам Хрущев, как неоднозначно приняли этот съезд некоторые литераторы? Думаю, что понимал.

Летом 1957 г. состоялась первая встреча партийного руководства с деятелями культуры, затем вторая, третья. Хрущев выступал на Втором съезде писателей, встречался с художниками перед их съездом и был на этом

съезде, принимал многих деятелей культуры, литературы, в частности Александра Трифоновича Твардовского. С ним у Хрущева был долгий разговор. Твардовский, конечно, говорил Хрущеву правду. Обо всем, в том числе о 30-х годах, о том, как шло раскулачивание. Вспомните поэму Александра Трифоновича об отце. Хрущев относился к Твардовскому с большим уважением, любил слушать его стихи. В августе 1963 г. Александр Трифонович читал Хрущеву поэму «Теркин на том свете». Прозвучали последние строки. Хрущев обратился к газетчикам: «Ну, кто смелый, кто напечатает?» Пауза затягивалась, и я не выдержал: «Известия» берут с охотой». Поэма была опубликована.

Подчеркивая особое уважение к М. А. Шолохову, Хрущев приезжал в Вешенскую, пригласил Михаила Александровича с собой в США. Шолохов приезжал на дачу к Никите Сергеевичу. Читал последнюю, только что написанную главу «Поднятой целины». Трагический эпилог тронул Хрущева. «Так хотелось, чтобы Давыдов остался жить»,— сказал он писателю. Шолохов ответил: «А надо по правде».

Часто Никита Сергеевич просил почитать ему вслух. «Пусть мои глаза отдохнут, а ваши поработают»,— говорил он, протягивая книгу. Видел он хорошо, но глаза от непомерной нагрузки у него очень уставали. Чтения вслух вошли в обыкновение. Хрущев мог слушать часами, особенно в дни отпуска.

Так, «на слух», он познакомился с «Синей тетрадью» Казакевича, «Одним днем Ивана Денисовича» Солженицына и многими другими произведениями писателей, ожидавшими «особого решения». Слушал Никита Сергеевич очень внимательно, сидел неподвижно, иногда прикрывал глаза.

При мне он никогда не комментировал услышанное, и практически невозможно было понять его отношение. Оно становилось понятным по судьбам некоторых книг, они быстро выходили в свет. Увы, не все новые книги смог прочитать Хрущев, не все спорные литературные проблемы были ему известны. Не все он сумел бы и принять, а точнее, понять. Чем шире и сложнее становились его государственные заботы, тем меньше оставалось времени на литературу. Даже в театре Хрущев бывал все реже и реже, главным образом с официальными гостями.

С годами давление на Хрущева разного рода советчиков «по культурным вопросам» усиливалось, он часто

становился раздражительным, необъективным. В пору, когда я работал в «Известиях», мы не раз испытывали бессилие, пытаясь дать свою оценку тому или иному произведению. Так случилось и с книгой И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Публикация критической статьи В. В. Ермилова о воспоминаниях Эренбурга была предопределена без нас. И в целом ситуация была зыбкой. Сняли нелепые обвинения с Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, начали публиковаться Ахматова и Зощенко, вернулись в литературу и искусство многие славные имена. Правда, далеко не все. Очистительный процесс шел, повторяю, отнюдь не безболезненно. Хрущев все в большей степени оставлял за собой право давать резкие и однозначные идейные оценки тем или иным произведениям. К сожалению, это право не всегда сочеталось с широтой взглядов, образованностью, эрудицией, доверием и желанием выслушать тех, кто может дать вдумчивый совет. Уже на пенсии Никита Сергеевич часто говорил о мере терпимости в подобных ситуациях...

Хрущев нередко укорял Суслова за упущения в идеологической работе, за серость и мещанство в кино, в театре. Суслов напрягался, нервничал и переводил замечания в привычное русло: одернуть! Исполнители поручений закручивали гайки. Сталкивались мнения, страсти, предположения, выяснялось, что было сказано и кем в схожей ситуации. Возникал узел позамысловатее морского, никакой дядька-боцман не смог бы его распутать. Бывали и неожиданности, вдруг что-то прорывалось, вспыхивали надежды, прогрессисты активизировались, но при очередной «накачке» затихали.

И все-таки время работало на тех, кто развивал в общественном самосознании демократические начала, кто боролся за утверждение в нашей жизни идеалов XX съезда. Я говорю прежде всего о молодых поэтах, писателях, кинематографистах, актерах и режиссерах, о людях, которых знал лично. Они «поймали» в своих произведениях нерв времени, утверждали себя и свое понимание нравственности широко и активно. На фоне этого обновления потускнели иные знаменитости. Их стали читать меньше, хвалить реже, критиковать жестче. Сложное было время. Неприязнь друг к другу не камуфлировалась, ибо была предварена жестокими обстоятельствами только что ушедших лет. Вспомним кампанию по борьбе с космополитизмом, оголтелую безнравственность, с которой действовали ее активисты.

Бесконфликтность, лжепатриотизм, безапелляционность, чиновничьи приоритеты уходили из литературы, искусства тяжело и надсадно, и те, кто так или иначе должен был уступить дорогу, занять иное место, а может быть, и вовсе уйти, пускали в ход все мыслимые и немыслимые способы удержания высот. Любой промах возводился в принцип, любое слово ставилось в строку. К сожалению, и многим молодым литературным «звездам» того времени не хватало взвешенного взгляда на совокупность событий «внутри» и «вовне». Их упоение успехом, убежденность в своей абсолютной правоте оборачивались просчетами. Оказалось, что не так просто развеять прах прошлого. Самое печальное состояло в том, что азарт нетерпения, некоторые — по-своему объяснимые — перехлесты давали повод тем, кто всегда четко отмерял свои поступки, кто «не выходил из берегов», не рисковал, не дерзил, грозить назидательным пальцем: «Вот ведь куда их заносит, вот ведь на что они поднимают руку — на святая святых!» А там уже разрешать спор начинали те, кто имел право и власть...

Часто на такое подбивали и самого Хрущева, и он бывал непростительно груб.

Недавно я прочел, что роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был «арестован» в 1961 г., и Гроссман написал Хрущеву. Тогда я ничего не знал об этом. Думаю, что Хрущев не читал письма либо не вник в его суть. Как пишут очевидцы, объяснение по поводу романа у Гроссмана было с Сусловым. Он заявил, что книга не увидит свет и через 250 лет.

В 1988 г., как известно, роман опубликовали.

Могло ли это случиться раньше? Что изменилось бы в его судьбе, прояви Хрущев больше внимания к работе Василия Гроссмана? Не дашь однозначного ответа. Думаю, что Никита Сергеевич не смог бы постичь всю сложность этого романа, не смог бы принять его. Постижение романа требует не только интуиции. Возможно, что Хрущев был бы (или был?) солидарен с Сусловым.

В пенсионные годы Никита Сергеевич прочитал «Доктора Живаго» Пастернака. Книга не понравилась ему, показалась скучной. Сложная вязь повествования, герои, чуждые по духу и биографиям, многое, как он говорил, показалось несущественным, не входившим в круг его устремлений. Но тогда же он пожалел, что роман этот не был напечатан, и с какой-то грустью признался: «Ничего бы не случилось...»

Это позднее признание показательно. Оно выражает взгляды Никиты Сергеевича не только на литературные процессы и взаимоотношения деятелей искусств с руководством в пору его пенсионных раздумий, но и на «технологию» обострений, случившихся в то время, когда он был у власти. Что я имею в виду?

Хрущев не раз говорил и на больших совещаниях, и в узком кругу, что нельзя допускать идеологической разболтанности, из которой, по его мнению, в общественной жизни могут возникнуть неуправляемые процессы. Он, например, не очень-то ценил эренбурговское определение «оттепель», считал, что иная оттепель может обернуться катастрофическим паводком. Эту позицию Хрущева использовали довольно умело. К 1963 г., когда идеологическая ситуация особенно обострилась, Хрущев был «заведен» до предела. Ему всюду мерещились происки злосчастных абстракционистов, обывательщина, мелкотравчатость. На его мироощущение явно давил внутренний цензор, заставлявший проверять себя: не слишком ли отпущены вожжи, не наступил ли тот самый грозный паводок? В нем жили два человека. Один осознавал, что необходимы здравая терпимость, понимание позиций художника, предоставление ему возможности отражать реальную жизнь со всеми ее действительными противоречиями. Другой считал, что имеет право на окрик, не желал ничего выслушать, не принимал никаких возражений.

Теперь чаще всего вспоминают именно такого Хрущева. Но мне хочется вот о чем рассказать. Именно в 1963, «остром» году Никита Сергеевич посмотрел как-то на «Мосфильме» картину об американских летчиках, которые должны были нанести по нашей стране атомный удар, но, поднявшись в воздух, вопреки команде сбросили бомбы в океан. Я так и не смог узнать название этой картины. Рассказывали, в какую ярость пришел Хрущев. Как же так, мы показываем наших потенциальных противников этакими благородными рыцарями, гуманистами, нарушающими приказ о бомбежке России! Какую же идейную нагрузку несет такой фильм? Он что, сделан советскими кинематографистами или его производство оплачено американцами?

Через несколько дней было готово соответствующее постановление. В нем шла речь не только об этом фильме. В «черный список» включили немало других, в том числе и только что вышедший на экраны фильм «Девять

дней одного года». Как главный редактор газеты, я был ознакомлен с проектом этого постановления. Оно вызвало у меня смятение. Дело в том, что за несколько дней до этого «Известия» статьей А. Аграновского решительно поддержали фильм «Девять дней одного года», а «Правда» поместила резко отрицательную рецензию на него В. Орлова. Тогда я не стал звонить главному редактору «Правды», чтобы выяснить причину отповеди нашей газете, не подумал, что за этим кроется нечто большее, чем разница в оценках.

Прочитав проект постановления, решил посоветоваться с одним из помощников Хрущева. Он подтвердил мои худшие опасения: раздраженная реакция Хрущева на фильм об американских летчиках проецировалась на другие фильмы, никак с ним не связанные. Что было делать? Ведь речь, по сути, шла о резкой перемене взгляда на работы лучших мастеров кино, на фильмы, созданные после XX съезда. Владимир Семенович Лебедев, занимавшийся в секретариате Хрущева вопросами идеологии, сам ничего уже поделать не мог. «Просись на прием к Хрущеву, объясни ему ситуацию, выскажи свою точку зрения».— «Когда, как?» — спросил я. «Прямо сейчас, времени в запасе нет. Хрущев один в кабинете (шел уже одиннадцатый час вечера), я доложу».

Надо сказать, что на прием к Хрущеву я просился впервые. Не знаю, что он подумал, когда Лебедев доложил ему обо мне.

Никита Сергеевич выглядел очень усталым. Спросил, в чем дело. Коротко рассказав о ситуации, я положил листок постановления на стол и ушел. На следующее утро в ЦК было срочное совещание. Вел совещание Хрущев. Не хочу по памяти воспроизводить его выступление. Постановление в том виде, как оно готовилось, не было принято. Многие прекрасные картины, в том числе и «Девять дней одного года», составлявшие гордость обновленного кинематографа, не упоминались там всуе.

Не так просто, как иным товарищам кажется, давались и мне, и другим газетчикам подобные акции. Думаю, что Суслов не простил мне этого обращения к Хрущеву. Когда на Пленуме ЦК речь шла о смещении Никиты Сергеевича, он удостоил меня нескольких реплик. Одну я запомнил хорошо. «Представьте себе,— говорил Суслов,— я открываю утром газету «Известия» и не знаю, что в ней будет напечатано».

В отставке Хрущев вроде бы осознал, что не все ладилось у него во взаимоотношениях с частью интеллигенции. Однако до конца дней он полагал, что его требования носили вполне оправданный характер — нельзя даже в мелочах поступаться идейными убеждениями. Когда он «размахивал кулаками», стыдил, бранил, горячился, он не держал камня за пазухой. Во время более чем жаркой дискуссии со скульптором Неизвестным он пообещал прийти к нему в мастерскую. Видел он вполне реалистические композиции скульптора и говорил: «Вот это другое дело».

На выставке в Манеже, посвященной 30-летию МОСХа, пояснения Хрущеву давал президент Академии художеств Серов. Я шел в толпе, окружавшей Никиту Сергеевича, слышал, с какими намеренно негативными акцентами говорил Серов о Фальке и многих других художниках, впервые за многие годы выставленных явно «для объективности». Так вот, удостоверяю, что, разглядывая картины, Хрущев никаких личных оценок не давал. Тогда его повели на второй этаж, где в углу небольшого зала сбилась группа абстракционистов. Здесь он не сдержался.

Именно теперь немало желающих вспомнить Хрущева в минуты его раздраженных объяснений с поэтами, писателями, художниками, режиссерами. Казалось бы, критиковать Хрущева было проще в застойные годы, это находило всяческую поддержку. Но видно, не все хотели тогда подчеркивать свою связь с эпохой XX съезда. Иных вполне устраивало «застойное» личное благополучие. Не потому ли так важно им сегодня напомнить о себе: вот ведь, на меня топал ногами сам Хрущев!

Иногда мне хочется спросить: была бы у нас возможность самых разных воспоминаний, если бы не десятилетие Хрущева? И с другой стороны, правомерно ли связывать всю сложность, неоднозначность, непоследовательность процессов, начинавшихся в стране после XX съезда, только с теми или иными чертами характера Хрущева? Зададимся и другим вопросом. А может ли любой человек в том положении, какое дает подобная власть, вовсе избежать ошибок? Когда вам каждый день и каждый час говорят, что любые ваши замечания точны и глубоки, анализ событий верен и научно взвешен, советы дали необычно быстрый эффект, когда вы засыпаете с мыслью, что высокий пост вечен, а сроки жизни вам постараются продлить всеми способами,— легко ли сох-

ранить чувство самоконтроля? Административная система власти, созданная Сталиным, как раз и была рассчитана на непререкаемость мнений одного человека, вождя. Ушел из жизни Сталин, но Система не сдавалась. Эта Система — самое великое изобретение Сталина. Она пережила потрясения XX съезда. Сломать ее в те годы не удалось. И кое-кто будет стоять за ее сохранение до последнего.

И в сельских делах случались серьезные срывы, в том числе вызванные нетерпением и очковтирательством. В то время, когда казалось, что вот-вот мы перегоним Соединенные Штаты Америки по производству мяса на душу населения и вдоль шоссе красовались соответствующие призывы, часто рядом с выспренними фразами можно было видеть ироничные приписки: «Не уверен — не обгоняй».

И тут уж читатели вправе спросить нас, газетчиков тех лет: а где же были вы? Неужели видели, понимали и не нашлось мужества сказать правду? Неужели сам Хрущев в эйфории успехов растерял реальные представления о сельских делах и предпочитал жить в мире иллюзий? Неужели финал рязанского секретаря Ларионова не показался таким уж страшным? Не предостерег?

Сегодня можно бить себя в грудь, каяться, признаваться в трусости, поддакивании, любых прегрешениях. В основе куда более существенные просчеты. В экономике отсутствовала твердая концепция, происходило эклектичное смешение разных подходов к ведению хозяйства. Верх брали то «купцы», то «кавалеристы», и последние все чаще. Писать в газетах резко и открыто о промахах и просчетах экономического порядка становилось труднее. Однако в журналистских пороховницах был еще запас пороха.

Первый в истории отношений между двумя великими странами визит главы Советского правительства в Соединенные Штаты Америки стал конкретным выражением нашей решимости не только декларировать свои цели и намерения, но и подкреплять их делами.

Илья Эренбург в статье «Время надежд», опубликованной в «Известиях» накануне визита, писал, что приглашение Хрущева в США в равной степени идет от правительства этой страны и от ее народа...

Во времена «холодной войны», провозглашенной Черчиллем в 1946 г., появился термин «железный занавес». Не откажешь западным журналистам в хлесткости выражений. Оставим в стороне спор о том, кто и с какими целями опустил этот занавес между Востоком и Западом — его «поддерживали» с обеих сторон. И вот этот занавес, кажется, начал подниматься и открывать миллионам людей мир, в котором все активнее проявлялось человеческое взаимодействие...

14 сентября 1959 г. Хрущев отбыл в США.

В апреле Никите Сергеевичу исполнилось 65 лет. Пять из них он — на посту Первого секретаря ЦК КПСС и полтора — Председателя Совета Министров СССР. Хрущев полон сил. Его личная энергия сливается с энергичными делами в стране. Приглашение посетить США мировая пресса назвала сенсацией. Можно понять настроение человека, на долю которого выпала такая миссия.

Сказать коротко, Америке понравился Хрущев. Честной и смелой постановкой сложных проблем современного мира, контактностью, способностью понять собеседника, его настроение: серьезно так серьезно, в шутку так в шутку, с напором так с напором.

Каждый на улице или на железнодорожной станции, в цехе завода, столовой самообслуживания, среди пышных декораций Голливуда, на изысканном обеде, каждый журналист (а наших коллег в «хвосте» Хрущева было около 5 тысяч — рекордное по тому времени число сопровождающих для всех гостей США) открывал в Хрущеве не только и не столько политического деятеля великой страны, но и понятного, искреннего, «взрывного» человека. Они поверили, что он приехал с дружескими намерениями. Маршрут поездки лежал через многие американские города. С запада на восток и обратно.

Спустя три месяца несколько советских журналистов, сопровождавших Никиту Сергеевича, написали книгу «Лицом к лицу с Америкой». Она вышла большим тиражом, издавалась на многих языках. Не знаю, куда подевались экземпляры этой книги с иных полок, но, когда ко мне обращаются с просьбой дать прочесть, предупреждаю, что сохранился у меня один экземпляр. Спрашивал книгу в разных библиотеках — нигде нет. Да и шутка сказать: миновало без малого 30 лет!

О том, что и как происходило в Америке в ту пору, яснее станет из отчета самого Никиты Сергеевича о поездке. Прилетев в Москву, он прямо с аэродрома направился в Лужники, где во Дворце спорта произнес речь, наметки которой продиктовал в самолете. Правда, записи эти ему, как часто бывало, практически не понадобились — он говорил не по бумажке. Приведу несколько отрывков из этой речи.

«...С первых шагов по американской земле меня начали так усиленно охранять, что не было никакой возможности вступить в контакт с рядовыми американцами. Эта охрана превратилась в своего рода домашний арест. Меня начали возить в закрытой машине, и я только в окошко мог видеть людей, которые нас встречали. А люди приветствовали, хотя зачастую и не видели меня.

Я далек от того, чтобы все те чувства дружбы, которые выражались американским народом, принять на свой счет или даже на счет нашей коммунистической идеологии. В этих приветствиях американцы заявляли нам, что они, так же как и мы, стоят на позициях борьбы за мир, за дружбу между нашими народами.

В первой половине путешествия нам бросилось в глаза, что повторялась одна и та же пластинка. Ораторы утверждали, что будто я когда-то сказал, что мы «похороним капиталистов». Вначале я терпеливо разъяснял, как это было в действительности сказано, что мы «похороним капитализм» в том смысле, что социализм придет неизбежно на смену этой отживающей свой век общественной формации, так же как в свое время на смену феодализму пришел капитализм. В дальнейшем я увидел, что люди, которые настойчиво повторяют подобные вопросы, вовсе не нуждаются в разъяснениях. Они ставят определенную цель — запугать коммунизмом людей, которые имеют очень смутное представление о том, что это такое.

В городе Лос-Анджелесе на одном из приемов, где мэр города, который не хуже других мэров, но, быть может, менее дипломатичен, опять начал говорить в таком духе, я был вынужден высказать свое отношение к этому.

Я заявил: вы хотите мне организовать в каждом городе, на каждом собрании демонстрацию неприязни? Если вы так будете меня встречать, то, что же, как говорится в русской пословице, «от чужих ворот невелик

поворот». Если вы еще не созрели для переговоров, если вы еще не осознали необходимости ликвидации «холодной войны» и боитесь, что она будет ликвидирована, хотите ее продолжать, то нам ветер тоже не дует в лицо, мы можем терпеть...

Мне пришлось тогда вступить в дипломатические переговоры. Я попросил министра иностранных дел товарища Громыко пойти и заявить представителю президента г-ну Лоджу, который меня сопровождал, что, если дело не будет исправлено, я не сочту возможным дальше продолжать свою поездку и должен буду вернуться в Вашингтон, а оттуда в Москву.

Должен сказать, что такие переговоры через товарища Громыко имели место ночью, а когда утром я проснулся, действительно все изменилось. И когда мы из Лос-Анджелеса поехали в Сан-Франциско, с меня были сняты, образно говоря, «наручники», и я получил возможность выходить из вагона, встречаться с людьми...

Слушая мое выступление, кое-кто может подумать, что Хрущев, говоря о дружественных встречах, утаил враждебные демонстрации. Нет, я не собираюсь замалчивать факты враждебного или неприязненного отношения к нам. Да, такие факты были. Знаете, как американские журналисты были моими спутниками в поездке по США, так и фашиствующие беглецы из разных стран кочевали из города в город, выставляя напоказ несколько жалких плакатиков. Встречались нам и злые, и хмурые американские лица...

Было очень много хорошего, но не нужно забывать и плохое. Этот червячок, вернее, червячище еще жив и может проявить свою жизненность и в дальнейшем...

...Президент проявил любезность, пригласив меня на свою ферму. На ферме я познакомился с внуками президента и провел с ними совещание. Спросил, хотят ли они поехать в Россию. Внуки в один голос от мала до велика заявили, что хотят ехать в Россию, хотят ехать в Москву. Старшему внуку 11 лет, младшей внучке 3—4 года. Я заручился их поддержкой. В шутку я сказал президенту, что мне легче договориться об ответном визите с его внуками, чем с ним самим, потому что у внуков хорошее окружение, а у него, видимо, имеются какие-то препятствия, которые не дают возможности реализовать его желание в таком духе и в то время, когда он хотел бы.

Время — хороший советчик, как говорят русские люди: «Утро вечера мудренее». Это мудро сказано. Давайте мы обождем утра, тем более что мы прилетели в конце дня и я выступаю уже вечером. И может быть, пройдет не одно утро, пока мы хорошенько выясним это. Но мы не будем сидеть сложа руки и ожидать рассвета, ожидать, куда будет склоняться стрелка международных отношений.

Но и со своей стороны будем делать все, чтобы стрелка барометра шла не на бурю и даже не на переменно, а показывала бы на ясно...»

Во время пребывания в Соединенных Штатах Америки Хрущев выступил и на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он внес предложение о всеобщем и полном разоружении. Больше, чем кто-нибудь другой, Хрущев знал, как далеки мы были в то время от такой радужной перспективы. И вместе с тем первое слово было сказано. Хрущев призывал к решительному шагу, высвечивая цель, предвидя тяжесть пути к ней, подчеркивая, что Советская страна готова со всей возможной активностью начать работу по переустройству мировых взаимоотношений от разобщенности к единству, от распрей — к дружбе, от несправедливости — к честности и доверию.

За несколько дней до этого выступления у Никиты Сергеевича был непротокольный разговор с Д. Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвиде, летней резиденции президента. Вспоминали вторую мировую войну, знаменитые сражения. Вдруг Эйзенхауэр спросил Хрущева, каким образом Советское правительство регулирует выделение средств на военные программы. «А как вы, господин президент?» — поинтересовался в свою очередь Никита Сергеевич. Эйзенхауэр развел руками, прихлопнул по коленке: «Прибегают ко мне наши военные, расписывают, какие у русских потрясающие военные достижения, и тут же требуют деньги,— не можем мы отстать от Советов!»

Гость и хозяин рассмеялись. Никита Сергеевич часто пересказывал этот эпизод.

Наша страна демонстрировала свое миролюбие конкретными действиями. На январской сессии Верховного Совета СССР 1960 г. Н. С. Хрущев так охарактеризовал динамику развития Советских Вооруженных Сил за

несколько десятилетий. В 1927 г. они насчитывают 586 тысяч человек; в 1937-м — 1433 тысячи; в 1941-м — 4207 тысяч; в 1945-м — 11 365 тысяч; в 1948-м — 2874 тысячи; в 1955-м — 5763 тысячи; в 1955—1958 гг.— 3623 тысячи. От имени Советского правительства на этой сессии он внес предложение провести очередное сокращение советских войск еще на 1200 тысяч человек. Наши Вооруженные Силы составят 2423 тысячи солдат и офицеров, это меньше того уровня, который обусловливали западные державы. Верховный Совет СССР принял это предложение. «Известия» публикуют дружеский шарж. Перед строем солдат — Н. С. Хрущев. Звучит команда: «Каждый третий — выходи!» На этой же сессии было принято Обращение Верховного Совета СССР к парламентам и правительствам всех государств о мире — основе советской внешней и внутренней политики. Кажется, на земном шаре становилось спокойнее.

1 мая 1960 г. во время парада Хрущев нервничал. То и дело к нему на трибуне Мавзолея подходил военный, отзывал в сторону. После очередного доклада Хрущев сдернул с головы шляпу и, широко улыбаясь, взмахнул ею над головой. Настроение у него исправилось.

Подробности происшествия в день Первомая станут достоянием широкой общественности во время майской сессии Верховного Совета СССР, но перед этим американской стороне будет официально заявлено, что над советской территорией сбит самолет-шпион, совершавший разведывательный полет.

Советская зенитная ракета сделала свое дело. Самолет-шпион У-2 был сбит с первого пуска.

Суд над Пауэрсом поставил под сомнение саму возможность совещания на высшем уровне, которое должно было состояться осенью 1960 г. в Париже. Хрущев отправился туда с твердым требованием: Эйзенхауэр должен принести извинения Советскому Союзу и дать гарантии прекращения шпионских полетов. Президент США это требование не принял. Совещание на высшем уровне было сорвано.

И все-таки поиск путей к смягчению международной напряженности продолжался. Хрущев отправился на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Осенью 1960 г. Америка встречала Никиту Сергеевича отнюдь не с распростертыми объятиями. Когда турбоход «Балтика» — небольшое судно туристского класса — подходил к Нью-Йорку, стало известно, что портовые рабочие бастуют, припять швартовы некому. Пришлось загодя высадить команду моряков «Балтики» на аварийную шлюпку, чтобы они приняли судно у причала. Операция эта довольно сложная, так как неизвестна была сила приливной волны и другие особенности нью-йоркской бухты. Однако все обошлось без накладок.

На подходе к Нью-Йорку капитап спросил Никиту Сергеевича, где просить место стоянки, назвал цену пирсов — от «королевского» (а это стоило больших денег) до «угольного», где швартоваться было неловко. «Угольный» причал отклонили и выбрали тот, что по соседству,— кажется, рыбацкий. Кроме товарищей из советского посольства, посольств социалистических стран и некоторых дружественных государств, никто не встречал пассажиров «Балтики». На ее борту были Хрущев, Громыко, главы государств и правительств социалистических стран Европы. В этой сессии Генеральной Ассамблеи ООН впервые участвовали высшие руководители многих государств мира.

Пребывание Никиты Сергеевича в Нью-Йорке было довольно продолжительным. Как глава делегации, оп выступал по всем основным вопросам повестки дня, внимательно слушал других ораторов, подчеркнуто являя образец дисциплинированного политического деятеля, не пренебрегающего своими обязанностями; вновь поднял вопрос о всеобщем и полном разоружении, призвал покончить с позорной системой колониализма. Однажды ему предстояло выступить па утреннем заседании, а в зале после воскресного дня было не больше десятка представителей различных стран. Это возмутило Хрущева. Обращаясь к председательствующему и к генеральному секретарю ООН Хаммаршельду, он потребовал кворума. «Народы мира,— восклицал Хрущев,— думают, что их полномочные представители в ООН неустанно борются за мир, за справедливость, а на самом деле многие господа, видно, не пришли в себя после воскресных развлечений». Был объявлен краткий перерыв. Зазвонили телефоны. Можно предположить, как вытаскивали на заседание иных непроспавшихся делегатов: «Приезжайте, Хрущев скандалит». Вскоре зал и

галерея для гостей были полны. Публика мгновенно узнавала, как разворачиваются здесь события.

Журналисты видели, насколько тяжко дается Хрущеву это «нью-йоркское сидение» — почти постоянная привязанность к одному месту, невозможность двигаться, ограниченность контактов. По многу часов с балкона здания представительства СССР в ООН Хрущев отвечал на вопросы американских и других иностранных корреспондентов. Несколько десятков, а в иные дни и сотня репортеров загромождали всю проезжую часть улицы штативами фото- и кинокамер, и Никита Сергеевич вел откровенные беседы на вольные темы. Иногда на улице выстраивались цепочкой пикетчики с плакатами. Хрущев обращался и к ним. Никакие самые каверзные вопросы и реплики не ставили его в тупик и не вызывали раздражения. В худшем случае он покачивал головой и стыдил вопрошающего: «Вот ведь вы, кажется, неглупый молодой человек, а какой ерундой забита ваша голова». Нередко из толпы журналистов раздавалось: «Мистер Хрущев, ваша белая рубашка на красном фоне стены — хорошая мишень, поостерегитесь!»

Когда «Балтика» пришвартовалась в нью-йоркском порту, сбежал один из членов команды. Газетчики буквально накинулись на Хрущева с вопросами. Он задумался (а надо сказать, что ему об этом ничего не сказали), переспросил, о чем речь, явно выигрывая время, и простодушно заметил: «Что же этот молодой человек не обратился ко мне за советом и помощью? Я бы помог ему и деньгами. Ведь пропадет он тут у вас, пропадет, а жаль...» Тема была исчерпана. В газетах напечатали ответ Хрущева и на том успокоились.

Состоялась у Никиты Сергеевича необычная встреча. Решение посетить Фиделя Кастро в гарлемской гостинице могло иметь непредсказуемые последствия.

Хрущев отправился к Фиделю Кастро, созвонившись с ним по телефону. Он не предупредил полицию и другие службы безопасности о своем намерении, так как считал, что любой член делегации, работающий на Ассамблее ООН, имеет право свободно передвигаться по городу в районе Манхэттена. Поначалу автомобиль Хрущева спокойно ехал в общем ряду. Но на полдороге полиция перехватила его машину и одним своим присутствием, воем сирен, неуклюжими маневрами привела в смятение весь поток транспорта. Возникла

грандиозная сумятица. Известно, как разгораются страсти во время пробок. Многие водители поняли, из-за чего это вавилонское столпотворение. Добавилась и политическая злость. В машину Хрущева полетели помидоры и яблоки, раздались ругательства... Спасло только мастерство и хладнокровие советского шофера. Возле гостиницы бурлила толпа. Негры, пуэрториканцы, бежавшие с Кубы «контрас». Одни выкрикивали приветствия, другие — проклятия.

Охрана Хрущева «пробила» узкий проход в толпе и протолкнула Никиту Сергеевича в холл. Лифт поднял его на этаж к Фиделю Кастро. В небольшой комнате не то что сесть, стоять было негде.

Хрущев и Кастро обнялись. Маленький толстый человек с венчиком седых волос — и исполин с черной как смоль бородой и пышной шевелюрой. Несколько секунд они стояли, прижавшись друг к другу. Я понял, почему Хрущев решил поехать к Кастро. Одно дело — принимать его в официальной резиденции советского представительства при ООН, другое — встретиться здесь, в Гарлеме, не чипясь возрастом и положением, по-братски.

Набившийся в комнату народ, радостно возбужденный, расступился и дал возможность Никите Сергеевичу и Фиделю Кастро поговорить некоторое время с глазу на глаз. За окном на площади перед гостиницей бушевал теперь уже стихийный митинг. Куда-то исчезли «контрас», и вся площадь взрывалась громом приветствий: «Хрущев!», «Кастро!», «Патриа о муэрте!» — «Родина или смерть!»

На календаре 1961 год. Плотно, опасно плотно стоят во многих точках войска противоборствующих сторон. Ждать беды можно отовсюду. Это понимает новый президент Соединенных Штатов Америки Джон Фицджералд Кеннеди, принесший присягу 1 января 1961 г. В его инаугурационной речи много слов о мире. Однако в апреле он дал «добро» на первую атаку против Кубы. Банды наемников и «контрас» были разбиты на Плая-Хирон. Революционная Куба выдержала испытание боем.

В июле Кеннеди встречался в Вене с Хрущевым. Хрущев, заметив, что нападение на Кубу произошло 17 апреля, в его, Хрущева, день рождения, спросил президента, не было ли в этом какого-то умысла. Президент не поддержал шутки. Вернувшись со встречи, Никита

Сергеевич резюмировал переговоры с долей надежды: «Молодой президент, кажется, готов слушать доводы другой стороны. Во всяком случае, он отмежевался от утверждений о прямом участии Соединенных Штатов Америки в антикубинской операции».

Время для этого было не самое подходящее. На этот раз грозовые тучи сгущались у Западного Берлина. Американцы обострили здесь ситуацию до предела к октябрю, когда Германская Демократическая Республика создала вместо условной разграничительной линии между Западным и Восточным Берлином настоящую границу *. Берлинская стена привела в бешенство западногерманских «ультра». Визит Кеннеди в Западный Берлин подлил масла в огонь, но реальные политики понимали, что оснований для вмешательства нет. Международное право на стороне ГДР. Каждая страна сама решает проблему обустройства своих границ.

В дни работы XXII съезда КПСС в октябре 1961 г. в Западном Берлине очень неспокойно. На Фридрихштрассе, у контрольно-пропускного пункта, пушка в пушку стоят американские и советские танки с работающими моторами. Легко представить, насколько напряжены нервы танкистов. Как долго это может продолжаться? Как зыбка, как малоуправляема ситуация, когда от экипажей советских и американских танков зависят судьбы миллионов людей. Один выстрел в Сараево подтолкнул человечество к первой мировой войне, а здесь, может быть, шаг до третьей...

Шло очередное заседание съезда. Кажется, 20 или 21 октября в комнату президиума пришел маршал И. С. Конев и попросил вызвать Никиту Сергеевича для срочного сообщения. Иван Степанович доложил, что моторы американских танков вот уже полчаса работают на повышенных оборотах. Маршал Конев, человек, знающий, что такое война, нервничал. Хрущев задумался. «Отведите наши танки на соседнюю улицу, но пусть там их моторы работают на таких же повышенных оборотах. Прибавьте шуму и грохоту от танков через радиоусилители». Конев медлил: «Никита Сергеевич, они могут рвануться вперед!» — «Не думаю,— ответил Хрущев,— если, конечно, злоба не замутила

* Граница между Восточным и Западным Берлином была закрыта раньше, 15 августа 1961 г. Тогда же на всем ее 46-километровом протяжении начали воздвигать заграждения.

окончательно разум американских военных». Обратившись к помощникам, Хрущев попросил записать это распоряжение и точно проставить время. Поручил редакторам «Правды» и «Известий» подготовить соответствующее сообщение.

Через некоторое время Иван Степанович доложил, что американские танки ушли. Ушли и наши. Никакого сообщения в газетах не появилось.

Наступил апрель 1964 .

Отмечалось 70-летие Хрущева. Приветствие ЦК, фотографии в газетах и журналах, присвоение звания Героя Советского Союза. Торжественный обед в зале для приемов Кремлевского Дворца съездов. К тому времени в начале Ленинградского проспекта на металлической конструкции уже красовался огромный портрет Хрущева во весь рост с поднятой в приветствии рукой. Не помню, но, по-видимому, понизу шла трафаретная фраза типа «Миру — мир».

Славословия Хрущева становились почти нормой. Было, пожалуй, только одно отличие: без прежних эпитетов — «великого», «мудрого»; на «гениальный» не решалась даже сверхподхалимствующая публика. Портреты появляются не сами по себе, а только по определенной команде. Вырабатывалась, укоренялась установка на возвеличивание должности Первого секретаря и его имени. В газетах тоже шло непрестанное цитирование.

Чествование Хрущева не носило того официозного, парадно-отчетного характера, как сталинский юбилей в Большом театре. Вместе с холодными, дежурными словами прозвучали искренние, идущие от сердца.

В тот апрель 1964 г. в Москве было по-весеннему тепло, сияло солнце; казалось, пора обновления природы придаст всем новые силы. Хрущев встречал семьдесят первый год своей жизни с оптимизмом. И уж он-то точно не предчувствовал беды, нависшей над его головой. Еще одно доказательство его политической чистоплотности: не любил интриг, не держал личный сыскной аппарат. На юбилее он был в приподнятом настроении.

Из всего множества тостов, раздавшихся в тот вечер, я запомнил один, по сути, единственный в своем роде. Его не забыли ни моя жена, ни другие члены семьи Никиты Сергеевича. Нина Петровна и на следующий

день так возмущалась, что, не удержавшись, позвонила произнесшему этот тост и сказала ему все, что думает.

Это был тост первого секретаря ЦК Компартии Украины Шелеста, который он закончил здравицей «За вождя партии!».

Так о Хрущеве еще никто и никогда не говорил. Что-то зловещее почудилось мне в этих словах. Видел, как некоторые, будто не заметив протянутого бокала Шелеста, не стали с ним чокаться.

В октябре того же года Шелест обрушился на Хрущева с особенно злыми нападками. Думаю, не сгоряча произнес он «за вождя».

Семидесятилетие — срок подведения итогов, рубеж для размышлений. Тогда, в текучке будней, не было ни времени, ни возможности, ни желания, ни надобности оценивать путь Хрущева с «итоговой» точки зрения. Я и сейчас не взялся бы за такой труд. Те 10 лет потребуют более тщательного анализа, ибо они принадлежат великой стране, великому народу и вписываются в нашу историю не по желанию или нежеланию кого-либо. Было бы неискренним сказать, что я считаю справедливыми передержки, умолчания и по поводу «десятилетия», и по поводу XX съезда партии в особенности. По многим судьбам ударило это перечеркивание тех решений съезда, которые были восприняты с огромной надеждой.

Перебирая в памяти один за другим эпизоды жизни Хрущева, думаю, что трудился он не напрасно. Его партийная деятельность сложилась драматично. Он был политической фигурой переходного периода, и на его долю выпала целая череда сложнейших кризисов. Я упоминал о событиях в Венгрии. А Югославия, Польша, Китай... В ту пору Хрущеву предстояло отыскивать новые принципы взаимоотношений с лидерами многих государств, партий. XX съезд и в этом смысле обнажил серьезные просчеты.

По многу часов беседовал Хрущев с товарищами из братских партий, проясняя истоки недоразумений, стараясь преодолеть разногласия. Самые неожиданные проблемы возникали иногда во время таких бесед. Помню, Никита Сергеевич был удивлен, когда Морис Торез попросил немного замедлить реабилитацию некоторых крупных политических деятелей нашей партии, отложить на некоторое время. «Мы присутствовали на этих процессах,— говорил Торез,— доложили в свои

партии обо всем, что слышали, чему верили. Будет очень трудно объяснить теперь, как мы оказались такими простодушными. Время поможет нам избежать лишнего напряжения. После XX съезда оно и так очень велико». Хрущев уступил.

Летом и осенью 1957 г. в жизни страны произошли два острых события. В атаку против курса XX партийного съезда пошли семь членов Президиума ЦК: Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров. В принципе это было логично. Уже в ходе XX съезда стало ясно, что так или иначе последует более глубокий анализ обстоятельств, повлекших массовые репрессии. А главное, утверждались в стиле руководства новые, неприемлемые для этих людей принципы партийной работы. Выход из кремлевских кабинетов к людям, открытость, правда, демократия. На первый план выдвигалась забота о человеке, не мнимая, не в лозунгах и призывах, а деловая, активная. Молотову претила дипломатия личных контактов. Маленков, Каганович, Молотов помнили о списках арестованных, на которых стояли их резолюции. Эти факты известны. Состоявшийся в июне Пленум ЦК принял соответствующее постановление о деятельности антипартийной группы.

Странное стечение обстоятельств, объяснение которому дать не могу, но оно, конечно, существует, привело к отставке маршала Жукова, к разрыву, который, по-моему, не проанализировал и сам Хрущев. Не раз встречал я Георгия Константиновича у Хрущева, который не просто уважал Жукова, но гордился им. По инициативе Никиты Сергеевича произошло возвращение Жукова в Москву сразу после смерти Сталина. На XX съезде Георгия Константиновича избрали кандидатом в Президиум ЦК, а затем и членом Президиума. В 1955 г. он стал министром обороны СССР. Они импонировали друг другу, не было никаких серьезных противоречий между ними. Была схожесть в жизненных путях. Встречаясь на войне, они находили общий язык. Могу только предположить — никогда не спрашивал об этом Хрущева,— но, видимо, Никиту Сергеевича в то время, когда в руководстве существовала некоторая нестабильность (только что прошел Пленум с «семеркой»), испугала возросшая амбициозность маршала,

принижение им роли партийного руководства в армии. Быть может, Хрущев вернулся к каким-то соображениям Сталина о Жукове? Ведь Сталин отсылал маршала командовать далекими от Москвы военными округами. Кстати, апологеты Сталина не любят говорить на эту тему. Во всяком случае, смещение Жукова не прибавило популярности Хрущеву. Он не мог не почувствовать этого, а быть может, пожалел о разрыве.

Однажды, когда Хрущев уже был на пенсии, он, не по своей охоте, объяснился с женой Жукова. Только что вышли воспоминания маршала, Хрущев не читал их — как я уже говорил, он не любил мемуаров военных. Но как-то зашел разговор о событиях, связанных со смертельным ранением генерала Ватутина под Киевом. По воспоминаниям Жукова выходило, что чуть ли не Хрущев виновен в этом,— не обеспечил генерала надежной охраной. Никита Сергеевич огорчился: «Неужели Жуков так пишет? Он ведь знает, что это неправда». Кто-то из гостей Никиты Сергеевича рассказал об этом разговоре автору. Через несколько дней и раздался звонок жены Жукова. Хрущев напомнил, как было дело. Она принесла извинения, сослалась на забывчивость маршала, пообещала, что ошибка будет исправлена. Во втором издании книги эпизод изложен точно. Однако миллионы людей прочитали воспоминания Жукова в том виде, в каком они вышли в первый раз. Кто-то заметил это разночтение, но таких, конечно, было немного.

Считанные разы я видел Хрущева со слезами горя. В дни смерти Сталина, смерти сестры Никиты Сергеевича — Ирины Сергеевны и еще один раз до этого, в феврале шестидесятого, когда он узнал о кончине Курчатова.

Он и Курчатов в принципе были люди несхожих характеров, стиля жизни, образованности. Хрущев очень ценил деловые качества Игоря Васильевича, его «мертвую хватку» в работе, бескорыстие, смелость. Считал его своим научным консультантом. Тем тяжелее мне писать о том, о чем, быть может, вспомнил Хрущев, когда скончался Курчатов,— об их ссоре.

Часто друзья, знакомые, в особенности биологи — и в моей семье их трое: жена и два сына,— спрашивают, как мог Никита Сергеевич верить шарлатанским обещаниям Лысенко? Отчего он так настойчиво отрекался от любого знакомства с работами генетиков?

Как-то на дачу к Никите Сергеевичу приехал Игорь Васильевич Курчатов. Они присели на дальнюю скамеечку, как бывало не раз, и беседовали там. Час или даже больше. А потом Курчатов ушел, как нам показалось, в обиде. Никита Сергеевич тоже был мрачен. Досада не давала ему покоя, и он втянул нас в разговор. «Борода» — так Хрущев называл Курчатова — лезет не в свое дело. Физик, а пришел ходатайствовать за генетиков. Чертовщина какая-то, нам хлеб нужен, а они мух разводят».

В его словах было столько убежденности, раздраженного апломба, что Сергей, сын Никиты Сергеевича, не выдержал, завязал спор с отцом. Рада поддерживала брата, даже сказала отцу: «Вот увидишь, тебе самому будет стыдно».

Это противодействие, несогласие, дерзость вывели Хрущева из равновесия. Разговор был тяжелый. Мы уехали с дачи угнетенные.

В один из выходных состоялся коллективный выезд в хозяйство Лысенко всех членов Президиума ЦК. Были там и журналисты. «Великий агроном» не скрывал радости. Показывал отличные поля с рядами разных культур, выдергивал из земли кормовую свеклу размером в три кулака, водил по животноводческим фермам, где картинные коровы тыкались сытыми мордами в карманы гостей. Никто не допытывался, каких затрат требовало это образцовое хозяйство.

Потом Хрущев пригласил всех отобедать у него. Лысенко расхваливал себя как мог. И жаловался: не дают развернуться, интригуют. Всюду вейсманисты-морганисты. Хрущев мало вникал в наукообразные речи Лысенко. Его интересовала агрономия, та простая, как ему казалось, практическая польза, какую каждый крестьянин может извлечь, если послушается советов Лысенко.

Он поддерживал Лысенко-агронома, более того, выражал этой поддержкой согласие со Сталиным,— тот ведь не зря держал Лысенко так близко!

Откуда же в Хрущеве, человеке расчетливом и опытном, такое неприятие генетики, такое нежелание вникнуть в ее суть? Даже Игорю Васильевичу Курчатову, человеку, с которым Никита Сергеевич считался, не удалось уговорить его хоть как-то заинтересоваться этими проблемами.

Хрущев не мог ждать. Мушки-дрозофилы, как он

считал, только отвлекали силы, а заставить поля дать больше хлеба надо было немедленно. В нетерпении проще всего надеяться на чудо. Сельскохозяйственное производство, особенно в 1962-м, засушливом году, не вышло на плановые рубежи.

В 1962 г. было объявлено о повышении цен на мясо и мясные продукты. Цена за килограмм мяса повысилась с 1 рубля 60 копеек до 2 рублей. У нас в газете приводились цифры закупочных и розничных цен, говорилось о «ножницах» между ними, о необходимости поднять закупочные цены и тем обеспечить рентабельность животноводства. На довольно длительный срок эта мера оказалась целесообразной, хотя производство мяса росло очень медленно, а в некоторых случаях даже снижалось. О лозунге «Догнать и перегнать Америку» по производству мясных продуктов не вспоминали даже в анекдотах.

В 1963 г. начали ощущаться и перебои с хлебом. В газету шел немалый поток писем по этому поводу. Я созвонился с главным редактором «Правды» Павлом Алексеевичем Сатюковым, и мы решили направить выдержки из таких писем в ЦК. Последующие события носили более чем драматический характер. Хрущев предлагал (и, возможно, это было разумным) ввести на какой-то срок карточки, чтобы прекратить скармливание хлеба скоту. Но престижные соображения перевесили. Решили закупить некоторое количество зерна за рубежом. А в 70-е годы это стало обычным, закупки выросли во много раз. Из экспортера хлеба Россия превратилась в его импортера. Шок прошел быстро. Появились даже «теоретические» обоснования возможности и целесообразности таких закупок. Все большее число районов страны стали относить к зонам «рискованного» земледелия.

В те последние годы своего пребывания на ответственных постах Никита Сергеевич много ездил по стране. Он постоянно уделял внимание развитию производительных сил в республиках, расширению их прав, возможностей, их роли в Союзе. Редакторы центральных газет обычно сопровождали его, так как приходилось давать отчеты с совещаний, рассказывать о передовом опыте. Новосибирск, Алма-Ата, Тбилиси, Воронеж... Хрущев призывал, приводил примеры, критико-

вал; тысячи людей, слушая, вроде бы заряжались его энергией. Но все чаще на этих же совещаниях Хрущев слышал другое: заедают бумаги, вновь в ходу накачки, вмешательства в дела колхозов и совхозов, принижение или полная отмена принципов материальной заинтересованности. Призрак продразверстки витал над полями. Аппарат, за десятилетия привыкший к командно-приказной системе, сумел приспособиться к работе в переименованных кабинетах. Все возвращалось на круги своя... Полноводной рекой лились только обещания. Хрущев им верил и не верил. Сказывалась шаткость его собственных позиций.

Однажды журналисты присутствовали на отчаянном, по сути трагическом, выступлении Никиты Сергеевича в Воронеже.

Поезд подходил к Воронежу рано утром и километрах в ста от города сделал последнюю остановку. В вагон к журналистам вошел собственный корреспондент «Правды». Мы стояли у окон, разглядывая чуть припорошенные снегом дали, и кто-то обратил внимание на странные волны, чередовавшиеся по земле в строгой последовательности. Корреспондент «Правды» пояснил, в чем дело. Не успели убрать кукурузу и, зная, что здесь проедет Хрущев, вывели в поле тракторы, стальными рельсами, как волоком, примяли стебли к земле, чтобы «замаскировать» неубранный урожай.

Мы не знали, нужно ли говорить об этом Никите Сергеевичу. Решили сказать.

Никто из журналистов не слышал, какие объяснения получил Хрущев по поводу «рельсовой» уборки кукурузы от руководства области. Однако и особого смущения местные товарищи не выказали: отговорки всегда были. На совещании в присутствии сотен работников сельского хозяйства ряда областей Никита Сергеевич рассказал об этой истории. Настороженная тишина царила в зале. Хрущев стоял не на трибуне, а у края сцены, говорил не перед микрофоном, но каждое слово было слышно, хотя он даже не прибавлял голоса. Медленно обернувшись к президиуму, с каким-то странным безразличием проговорил: «Может показаться, что я стараюсь поссорить вас с этими людьми,— он широко обвел рукой зал.— Нет, это не так. Просто хочу напомнить, что некогда здесь секретарем обкома был товарищ Варейкис...»

Что он имел в виду? Бесстрашие Варейкиса на XVII

съезде партии или его трагическую судьбу? Это возвращение в прошлое связывалось со временем, когда обман партии считался предательством.

Столько миновало лет после ухода Хрущева на пенсию, после его смерти, но до сих пор иные журналисты и писатели видят главную причину неуспехов сельского хозяйства в насильственном насаждении кукурузы. Поля освободили от капризной дамы. Больше того, даже в хозяйствах, где хотели сеять и сеяли кукурузу, в том числе на корм скоту, приходилось делать это полутайком, дабы не прослыть апологетами Хрущева.

Хрущев хорошо знал достоинства кукурузы. Толчком к его напористому требованию расширять ее посевы послужило несколько обстоятельств. Во-первых, она значительно урожайнее пшеницы. Во-вторых, как раз зерна кукурузы нам не хватало для производства концентрированных кормов. После бесед с американским фермером Гарстом — а это он рассказал Хрущеву о возможности использовать зеленую массу кукурузы с недозревшими початками на корм скоту — Никита Сергеевич твердо решил послушаться совета знающего человека. Он так и говорил: «Надо верить Гарсту, он капиталист и ничего без расчета не делает».

Не знаю, какое количество зеленой массы кукурузы собирали мы в ту пору на силос, как не знаю и того, почему ее сеяли там, где она вовсе не давала урожая.

Отчего у нас самое благое намерение — это относится и к кукурузе, и к строительству крупных животноводческих комплексов, и к закладке промышленных садов — примеры можно продолжить — часто оборачивается бедой, становится делом глупым, разорительным?

За Полярным кругом или в Новосибирской области, конечно, не нужно было сеять кукурузу. А вот как в других местах? И кто за это в ответе? Хрущев?

Не могу вновь и вновь не задумываться: где, в чем просчеты политики Хрущева, в особенности политики внутренней, какой урок дало то время людям моего поколения? Полуправда губительна во всем. Какие бы благие цели ни ставил перед собой человек, он должен опираться на объективные возможности, определяя их путем демократичного, гласного, реалистического и

правдивого обсуждения. Именно так начинал Хрущев. Что помешало ему?

Представьте себе человека, который предполагает, что где-то неподалеку прекрасная магистральная дорога, ведущая к миру, в котором нет несправедливости, безнравственности, бесчестия, где все люди — братья. Он хочет как можно скорее вывести на эту дорогу своих сограждан. Цель кажется ему близкой: еще одно усилие, еще один рывок. Он твердо верит, что его внуки будут жить при коммунизме, что новый общественный строй вот-вот похоронит капитализм. Он утверждает, что стоит назвать точные цифры, и тогда цель сама притянет к себе энергию масс. Он относит срывы и неудачи на счет тактических ошибок, уверенный, что поиск кратчайшего пути к магистрали задерживается только из-за неурядиц. Приходится месить грязь на обходных дорогах, путаться в ориентирах, а иные люди недостаточно активны или вовсе погрязли в мещанстве, тащат на себе в коммунизм слишком много ненужного груза.

Он ратует за автомобильные прокатные пункты, а не за личные машины, за пансионаты, а не за дачи, за энергичный труд на колхозных полях и фермах, а не на личных делянках. Он торопится к коммунизму, общественной формации будущего, хочет достичь сияющей вершины в сроки, отпущенные его современникам.

Провозгласив демократические принципы единственно верными для движения вперед, он вместе с тем все больше вынужден опираться на людей, которые вовсе так не думают. По-прежнему процветает знакомая командно-приказная система. Она вроде бы проста и удобна. Приказы отдаются, однако дела идут все медленнее. Хрущев не отдает себе отчета в том, что именно его непоследовательность тормозит решение экономических, социальных, духовных проблем. В политике отсутствует целостная концепция. Нельзя звать к открытости, состязательности, свободному сопоставлению точек зрения в мире науки и техники и ограничивать действия этих правил в духовных областях жизни. Невозможно быть демократом в КБ и ретроградом в СП.

Многое еще внушает людям оптимизм. Спад кажется временным и преодолимым. Но более ясным становится и другое. Долгий путь в постоянных метаниях, в поисках лучших организационных форм, не задевающих

глубинные причины срывов, форсированный марш «вперед-вперед» вызывают усталость, накапливают раздражение.

Мне кажется, что и сам Хрущев пришел к пониманию того, что ошибки и просчеты лежат в иной, чем он предполагал, плоскости. Его познакомили с запиской харьковского профессора Евсея Григорьевича Либермана, который, анализируя экономическую ситуацию, обращал внимание на принижение товарно-денежных отношений, оптимального планирования и управления хозяйством, материальной заинтересованности, то есть на те главные экономические рычаги, о которых в принципе было известно из работ академиков Леонида Витальевича Канторовича и Василия Сергеевича Немчинова. Их выдающиеся исследования так и не вошли в практику. Эта записка была первым толчком к реформе 1965 г., подготовка которой началась при Хрущеве *.

О чем думал он, отправляясь вместе с Микояном в октябре 1964 г. в кратковременный отпуск на Пицунду? Обычно такие отъезды свидетельствовали о желании сосредоточиться, поразмышлять.

Незадолго до отъезда Никита Сергеевич выступил на последнем в его жизни большом совещании. С горечью говорил о провалах в годовых планах семилетки, называя малоутешительные цифры. А закончил выступление фразой, которая многих насторожила. Звучала она примерно так: «Надо дать дорогу другим, молодым...»

В Уставе, принятом на XXII съезде партии, как известно, оговаривались сроки сменяемости руководящих кадров. Был подготовлен проект Конституции, которая эти положения закрепляла в государственном плане.

На Пицунде отпуск Хрущева носил условный характер. Он сразу же побывал в птицеводческом совхозе, принял японских, а затем пакистанских парламентариев, послал приветствие участникам XVIII Олимпийских игр в Японии, разговаривал по телефону с космонавтами В. Комаровым, К. Феоктистовым, Б. Егоровым. Затем встретился с государственным министром

* 9 сентября 1962 г. «Правда» опубликовала статью Е. Либермана «Совершенствовать хозяйственное руководство и планирование», а затем открыла на своих страницах дискуссию по затронутым в ней вопросам.

Франции по вопросам ядерных исследований. Если учесть, что на все это ушло чуть больше недели, не скажешь, что Никита Сергеевич часто бывал на солнце, у моря или что в душу ему закрадывалось недоброе предчувствие. Меня часто спрашивают: неужели Хрущев не знал, что идет подготовка к его смещению? Отвечаю: знал. Знал, что один руководящий товарищ, разъезжая по областям, прямо заявляет: надо снимать Хрущева. Улетая на Пицунду, сказал провожавшему его Подгорному: «Вызовите Игнатова, что он там болтает? Что это за интриги? Когда вернусь, надо будет все это выяснить». С тем и уехал. Не такой была его натура, чтобы принять всерьез странные вояжи и разговоры Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Г. Игнатова и тем более думать о том, что ведет их Игнатов не по своей инициативе.

А затем, по-видимому, 13 октября, последовал телефонный звонок, который сам Хрущев позже назвал «прямо истерическим». Требовали его немедленного возвращения в Москву в связи с острейшими разногласиями в руководстве. Насколько я знаю, звонил Суслов, хотя называют и Брежнева. Догадался ли Хрущев, в чем истинная причина вызова? Во всяком случае, на аэродроме в Москве, конечно. Его встречал только председатель КГБ тех лет В. Е. Семичастный. Никита Сергеевич сразу же направился на заседание Президиума ЦК.

14 октября состоялся Пленум, на котором Хрущев не выступал. Сидел молча, опустив голову. Для него этот короткий час был, конечно, страшной, непередаваемой пыткой. Но дома он держался ровно.

Анастас Иванович Микоян жил на Ленинских горах по соседству с Никитой Сергеевичем. Они возвращались вместе с тех заседаний Президиума ЦК, на которых велась речь о смещении Хрущева. Я приезжал в дом к Никите Сергеевичу в ту пору. Он уходил к себе молча. Уже понял, что к моменту его вызова с Пицунды под предлогом крайне срочных дел все уже было решено. Перед Пленумом ЦК он сказал: «Они сговорились». Анастас Иванович выразился яснее: «Хрущев забыл, что при социализме тоже может вестись борьба за власть».

Хрущев с чистой совестью мог сказать, что оставляет дела в государстве в большем порядке, чем они были, когда он их принял.

Мысль эта принадлежит не мне, а Марку Френкланду, одному из тех западных советологов, которые пытаются разобраться в том, чем было для Советского Союза «десятилетие Хрущева» (цитирую по «Политической биографии Хрущева», написанной Р. Медведевым). Мнения на этот счет с «чужого берега» разнообразны и любопытны. В начале 1988 г. я встречался с американским профессором Таубменом. Он связывает и сопоставляет деятельность Хрущева, Кеннеди, Иоанна XXIII, считая, что каждый из них хотел изменить мир к лучшему, начал действовать в этом направлении сообразно своим убеждениям, но они многого не успели сделать.

В те 10 лет у нас не только руки, но и голова не дошли до кардинальных решений. В том числе и мысль Хрущева. Возвращая миллионам невинных уважение общества, развенчивая культ Сталина, отвергая террор и репрессии как метод управления делами государства, не только Хрущев, но и широкий круг лиц не поднялись до понимания более сложной истины: гигантскими усилиями народы нашей страны выстраивали общество, из которого, при всех его бесспорных материальных достижениях, исчезал ленинский завет — для социализма превыше всего человек!

Не противоречит ли сказанное тому, с чего я начал свои заметки, и как быть с тем оптимизмом, которым окрашивалась деятельность многих послевоенных поколений советских людей? Или здесь нет никакого противоречия, а просто исчерпал себя «оптимизм неведения»?

Последние слова о Хрущеве на октябрьском Пленуме ЦК в 1964 г. произнес Брежнев. Не без пафоса закончил он короткое заседание, на котором с сообщением выступал Суслов. Вот, мол, Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчиваем культ Хрущева при его жизни. Ну что ж, Брежнев был прав. С культом Хрущева покончили. Думаю, Хрущев никогда не согласился бы на ту роль, какую готовили теоретики застойного периода самому Брежневу. В эпоху «развитого социализма» все больший вес приобретал человек, которого называли «серым кардиналом». Теперь о нем почти не вспоминают. Деятельность Суслова будет оценена с необходимой объективностью. Как нельзя все списывать на Хрущева, так нельзя все ва-

лить на Брежнева. Суслов любил держаться в тени. Не двигала ли эта тень своего хозяина?

И во время освобождения Хрущева, и после давалось немало заверений в необходимости улучшения руководства делами страны, восстановления коллегиальности. Эти заверения были восприняты с надеждой. Однако становилось все яснее, насколько расходятся слова и дела. По сути, взяли реванш те силы, которые хотели спокойствия, благоления, «надежного» вождя — защитника интересов бюрократической группы лиц, отождествлявшей себя с народом и все больше удалявшейся от него.

Смещение Хрущева с высоких партийных и государственных постов хоть и было для многих громом среди ясного неба, однако большого сожаления не вызвало. Это событие нашло необычайно бурный отклик скорее за границей. Почти во всех социальных группах общества обозначились те или иные претензии к Хрущеву. Военным он срезал пенсии; слишком часто проводил сокращения армии. Держатели займов ставили ему в вину прекращение тиражей, забыв о том, что и подписка на займы с 1957 г. не проводилась. Вспомнили денежную реформу, вернее, изменение курса рубля, кукурузу, разъединение обкомов партии, ликвидацию министерств, совнархозы. О недовольстве части творческой интеллигенции я уже говорил.

Этот перечень можно продолжить, равно как противопоставить ему не менее длинный список связанных с именем Хрущева деяний положительных. И прежде всего освобождение миллионов невинных от гнета, репрессий, клеветы, от страха. Для политического деятеля одного этого достаточно, чтобы оставить по себе добрую память. Однако она может быть устойчивой и глубокой только при объективной оценке роли и места личности в историческом процессе.

Прошло почти четверть века с той октябрьской поры, а меня все занимает даже не сам факт происшедших тогда перемен, а до удивления простая «технология» их претворения в жизнь. Практически ни партия, ни страна не услышали никаких аргументов, никаких серьезных обоснований — ни «про», ни «контра». Никаких дискуссий, горячих речей, никакой информации: в апреле кричали «ура», в октябре «долой». Мы так и не узнали, что хотел и хотел ли Никита Сергеевич что-то сказать в час, когда решалась не только его личная судьба.

Местом жительства Хрущева был обозначен небольшой дачный поселок в Петрово-Дальнем под Москвой, у тихого берега Истры. Прошло немало времени, прежде чем к Никите Сергеевичу вернулось душевное спокойствие. Он принадлежал к людям, которые все держат в себе, не дают выхода чувствам. За день он мог сказать всего несколько слов. Бродил по заросшим дорожкам парка. Один. А потом собака дочери Никиты Сергеевича Лены, старая матерая овчарка Арбат, признала его хозяином и всегда сопровождала. Я люблю собак и знаю, что преданность их отнюдь не из-за вкусного куска.

К лету следующего за отставкой года Никита Сергеевич начал изредка ездить в Москву. Побывал на чехословацкой выставке, в театре «Современник» — там он после спектакля поговорил с актерами.

Месяц за месяцем менялись на календаре годы. Иногда к Никите Сергеевичу наведывались наши друзья, друзья Сергея и Юли — Серго Микоян, Ирина Луначарская с мужем военным химиком Рафаилом Стерлиным, Роман Кармен, Виктор Суходрев, Владимир Высоцкий, профессор Михаил Жуковский, Эмиль Гилельс, Евгений Евтушенко, Михаил Шатров. Никита Сергеевич увлекался в ту пору фотографией, и его советчиком тут был Петр Михайлович Кримерман, директор магазина фототоваров. Приезжали товарищи Сергея — инженеры, ученые. В их кругу Никита Сергеевич чувствовал себя особенно хорошо. «Технари» были ему понятнее и ближе гуманитариев.

Хрущев внимательно читал газеты, слушал радио, понимал, как далеко уходят его преемники от прежнего курса, но не комментировал их политику. Думаю, не потому, что боялся или был ко всему безразличен. Видимо, не хотел, считал унизительным, недостойным партийца заниматься досужими разговорами. Если кто-нибудь задавал бестактный вопрос, отвечал: «Я на пенсии».

С годами Никита Сергеевич становился мягче, сердечнее, внимательнее к детям. Дочь своего сына Леонида, летчика, погибшего в авиационном бою под Смоленском, считал своей дочерью. Юлия воспитывалась в его доме. Мать ее, Любу, арестовали в 1943 г., обвинили в связях с иностранцами и без суда отправили на 15 лет в ссылку. Хрущев об этом с Юлей никогда прежде не заговаривал, а тут во время одной из прогулок

стал расспрашивать, как живет сноха, просил передать ей привет. «Можешь гордиться отцом, он был храбрым летчиком, а мама твоя ни в чем не виновата».

Близкие старались навещать Никиту Сергеевича как можно чаще в его дачном уединении, где он безвыездно жил, но мы все заняты были своими делами, и многие часы и дни Никита Сергеевич проводил в одиночестве. Ему было тоскливо. Выручали книги. Он запоем читал — Толстого, Тургенева, Щедрина... Обустроил две теплички, завел огород, проводил опыты с томатами.

Сохранилось несколько листочков записей Нины Петровны о той поре. При всей их краткости это документальные свидетельства родного человека.

Нине Петровне довелось пережить мужа на 13 лет. Записи эти она делала уже в последние свои годы.

«Не помню точно месяца и года, но Н. С. немного успокоился и решил писать воспоминания о своей работе. Он диктовал на магнитофон. Делал он это регулярно по утрам, иногда и днем. Я переписывала с магнитофонной ленты текст. Когда накопилось много страниц, Н. С. передал пленки Сергею, чтобы перепечатала машинистка. Как-то он сидел рядом со мной и наблюдал, как я печатаю на машинке. Моя работа ему не понравилась, я стучу только четырьмя пальцами, а он привык к профессиональным машинисткам в ЦК, которые писали восемью и десятью пальцами, с большой скоростью. Он даже проговорил разочарованно: «Так-то ты пишешь? И когда закончишь работу?» Так пленки с записями воспоминаний Н. С. и страницы с уже напечатанным текстом очутились у Сергея. Я потом пожалела об этом, может быть, с ними не случилось бы того, что произошло <...>

В связи с этим надо рассказать о встречах Н. С. с бывшими товарищами по работе, встречах, которые укоротили его жизнь. К сожалению, не помню чисел, но последовательность хорошо помню. Первая состоялась с А. П. Кириленко. Н. С. долго не возвращался, наконец приехал, очень возбужденный, и сразу пошел гулять к реке. Я тоже пошла с ним. Долго он ходил молча, а потом заговорил. Кириленко вызывал его для того, чтобы запретить ему писать мемуары, и потребовал сдать в ЦК уже написанное. На это Н. С. ответил, что ему могли бы дать стенографистку, и тогда все его воспоминания оказались бы не только у него, но и в ЦК.

Этого сделать не захотели. Отдать материалы он категорически отказался, поскольку они еще нуждались в доработке. Далее Н. С. сказал, что запретить ему писать никто не имеет права, это противоречит Конституции нашего государства. Н. С. напомнил, что царь запрещал Т. Г. Шевченко писать и рисовать, и что из этого получилось? Шевченко читает весь мир, а кто помнит его преследователей? Кроме того, мемуары в нашей стране пишут тысячи людей, им никто не препятствует, а почему ему, Н. С., хотят запретить? Где логика? Н. С. сказал, что он сорвался, повысил голос... На следующий день Н. С. увезли в больницу в машине «скорой помощи» с тяжелым инфарктом. Он долго лечился, а по возвращении оттуда часами лежал на веранде возле спальни, медленно выздоравливал. Доктор Владимир Григорьевич Беззубик приезжал очень часто. А те недели Н. С. внимательно, даже с любовью смотрел на небо, на сосны, на яблони и цветы в саду...

Однажды я задержалась в Москве дольше обычного и не застала Н. С. на даче. Он приехал через два с лишним часа, попросил раскладной стульчик и сел под сиренью у порога. Я ждала, когда заговорит. Позвали ужинать — отказался. Через некоторое время стал рассказывать. Звонили ему по телефону из аппарата Пельше. Пельше сказал, что за рубежом напечатана книга мемуаров Н. С. Хрущева. Как туда попали его мемуары? Кому Н. С. их передавал? Он ответил, что никому свои записи не передавал — ни у нас, ни за рубеж, они еще не приведены в такой вид, чтобы их можно было передавать в печать, он и не передал бы их никогда за рубеж... Пельше спросил, что же это значит? Книга — фальшивка? Как нам выйти из этого положения? Надо опубликовать опровержение... Н. С. согласился. Пельше сочинил текст, Н. С. отверг его и написал свой вариант, который и был опубликован в «Правде». Там было сказано, что мемуары не были переданы в печать ни у нас в стране, ни за границу. Пельше настаивал, чтобы Н. С. вставил фразу о том, что он не пишет и не писал никаких мемуаров. Н. С. не согласился, и опровержение пошло в печать без этой фразы. Визит к Пельше также закончился инфарктом.

Н. С. выздоровел, но не оправился от болезни, долго чувствовал слабость. Диктовать он перестал. В один из дней первой недели сентября (1971 г.), 5-го или 6-го числа, Н. С. вернулся от Рады. Пошел гулять после

обеда, понес стульчик с собой, но скоро вернулся. Ночью у него болело сердце, я дала ему нужные лекарства, боль прекратилась, он уснул. Утром встал, умылся, и опять заболело сердце. Приехал доктор Беззубик с сестрой, сделали укол, увезли в больницу с третьим инфарктом. Н. С. настоял, чтобы ехать сидя, может быть, это ухудшило его состояние. В больнице сам шел по коридору, в палате долго разговаривал с персоналом, а ночью стало ему плохо, и 11 сентября Н. С. ушел из жизни».

Никита Сергеевич несколько раз приезжал к нам в дачный поселок в районе Икши.

В маленьком нашем поселке Никиту Сергеевича встречали приветливо, с почтением. Он становился общительным, как прежде. Любил пойти по грибы, поговорить с соседями — летчиками-ветеранами. В тот день он остановился у опушки леса, попросил моего сына Алешу принести ему складную трость-стульчик. Долго сидел грустный. Сказал нам, что ему неможется, и уехал. Рада словно почувствовала что-то, поехала вслед. Вскоре он был уже в больнице.

Хрущев умирал. Перед смертью попросил Раду принести ему соленый огурец. Рада успела съездить на рынок. Никита Сергеевич поглаживал руку дочери и с трудом говорил: «Ну где твоя мама, она так нужна мне сейчас...» Быть может, он хотел что-то сказать на прощание?

Через два дня после смерти Никиты Сергеевича Нине Петровне было передано, что похороны должны носить сугубо семейный характер, никаких официальных церемоний. «Хороните, как обычного гражданина...»

Так и похоронили.

Знамя, 1988, № 6—7

Р. Медведев

Н. С. ХРУЩЕВ НА ПЕНСИИ

На следующий день после октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК Хрущев уехал из Москвы на дачу, где собрались почти все его родственники. Еще в 1953 г.

Никита Сергеевич поселился в большом и удобном доме в Усово, который был когда-то помещичьей усадьбой. Но Хрущеву не нравился этот дом, и после смещения Молотова семья Хрущева переехала на государственную дачу, которую прежде занимал Молотов. Это был большой, но плохо спроектированный дом.

В первые недели после отставки Хрущев находился в состоянии шока. В свои 70 лет он оставался человеком громадной энергии и железного здоровья. Он привык напряженно трудиться по 14—16 часов в сутки. И вдруг, как всадник, несущийся на полном скаку, он был остановлен и выброшен из седла своими же еще недавно лояльными и послушными помощниками. Хрущев не скрывал своей растерянности. Он часами неподвижно сидел в кресле. Иногда на его глазах можно было видеть слезы. Когда в одной из московских школ директор спросил из любопытства его внука: «Что делает Никита Сергеевич?» — мальчик ответил: «Дедушка плачет».

В начале 1965 г. семье Хрущева предложили освободить бывшую дачу Молотова. Недалеко от поселка Петрово-Дальнее (москвичи приезжают в этот район автобусом от станции метро «Сокол») Хрущеву отвели более скромную дачу, которую построил когда-то для своей семьи И. Акулов, долгое время занимавший пост прокурора СССР. В годы сталинских репрессий Акулова расстреляли, и его дача с тех пор сменила многих хозяев. Конечно, она сильно уступала прежним резиденциям Хрущева. Но у нее имелось важное для Никиты Сергеевича достоинство — большой земельный участок.

Весь дачный поселок в Петрово-Дальнем был окружен большим и высоким забором. Но в проходной дежурили пожилые вахтерши, миновать которых не стоило большого труда. Каждая дача, однако, имела и свой забор. Поэтому при входе на дачу Хрущева появилась еще одна проходная. Для охраны было выделено небольшое подразделение. Несколько человек непрерывно охраняли дом Хрущева, охрана сопровождала его и во время прогулок по окрестным местам, и в лесу, где он собирал грибы.

Хрущеву определили персональную пенсию в 400 рублей в месяц, что было не так уж много, учитывая его недавнее положение в стране. За Хрущевым сохранялось право пользоваться медицинскими услугами крем-

левской больницы и специальным пайком. В его распоряжении имелась машина — просторный старый ЗИЛ, но почему-то с частным номером. Кроме дачи за семьей Хрущева сохранялась большая квартира в столице. Никита Сергеевич не любил ее. Он иногда приезжал по делам в Москву, но за несколько лет ни разу не остался ночевать в своей городской квартире.

Хрущев быстро перестал думать о возвращении к руководству и со временем все меньше сожалел об утраченной власти. Но он сожалел о некоторых своих действиях или, скорее, о бездействии во многих ситуациях. Он сожалел о том, что не довел до конца дело партийных реабилитаций и не отменил приговоров по процессам 1936—1938 гг., а отправил в архив выводы специальных комиссий. Очень сожалел Хрущев о громких идеологических кампаниях 1962—1963 гг. против абстракционистов, обвиняя Ильичева.

— Ему (Ильичеву) нужен был пропуск в Политбюро,— говорил Хрущев.

Вместе с родными на дачу приезжали иногда и художники, среди них бывали и те, кого Хрущев когда-то распекал в Манеже. Теперь Хрущев подолгу и спокойно разговаривал с ними. Он был очень тронут, когда Эрнст Неизвестный прислал ему в подарок книгу Достоевского «Преступление и наказание» со своими иллюстрациями.

Первые два года жизни в отставке были для Хрущева наиболее трудными. Но позднее он привык к своему положению пенсионера и становился все более общительным. Он стал чаще ездить в Москву и прогуливаться по ее улицам в сопровождении жены и охраны. Хрущев стал посещать концерты и спектакли. Так, он с интересом посмотрел пьесу М. Шатрова «Большевики» в театре «Современник». Пьеса понравилась Хрущеву.

Располагая досугом, Хрущев стал много читать. У него имелась громадная личная библиотека, так как в прошлом он мог получать любые из выходивших в стране книг. Иногда Никита Сергеевич смотрел телевизор. Неожиданно для родных он стал слушать иностранные радиопередачи на русском языке. Часто по вечерам слушал «Голос Америки», Би-би-си, «Немецкую волну», глушение которых не проводилось по его же инициативе. Из этих передач он узнавал о многих событиях в нашей стране и за границей и комментировал их. Иск-

реннее негодование вызывали у него попытки реабилитировать Сталина, которые так настойчиво предпринимались во второй половине 60-х годов. Хрущев неодобрительно отзывался о процессе Синявского и Даниэля и, напротив, с симпатией следил за первыми проявлениями движения диссидентов, которое на ранней стадии шло в русле протеста против частичной реабилитации Сталина. Об академике Сахарове Хрущев говорил с симпатией, вспоминая свои встречи с ним и сожалея о резком конфликте 1964 г., связанном с вопросом о Лысенко. К разоблачению и падению Лысенко Хрущев отнесся спокойно и не пытался защищать лжеученого. Сложным оказалось отношение Хрущева к Солженицыну, о котором шло так много разговоров в 60-е годы. Только теперь Хрущев прочитал роман «В круге первом». Роман не понравился Хрущеву, и он сказал, что никогда не позволил бы его напечатать. Здесь была граница, за которую он не способен был перейти. Он стал более терпимым, но не превратился в сторонника плюрализма в культурной и политической жизни. Однако он не жалел, что помог публикации повести «Один день Ивана Денисовича».

Хрущев часто и с большим уважением говорил о Твардовском, просматривал все номера «Нового мира», читал там повести и романы Ф. Абрамова, В. Тендрякова, Ч. Айтматова, Б. Можаева. Хрущев любил поэзию Твардовского — она была ему понятна. Но Пастернака он принять и понять не мог, хотя и жалел об ожесточенной кампании против него в 1959—1960 гг.

Узнав от родных о бегстве на Запад дочери Сталина Светланы, Хрущев не поверил этому. Он давно знал Светлану Аллилуеву, встречался с ней. Для Хрущева казалось очень важным, что Светлана, в отличие от сына Сталина Василия, публично поддержала решения XX и XXII съездов партии и выступила по этому поводу на одном из партийных собраний.

Но, услышав по «Голосу Америки» подробности бегства Аллилуевой, Хрущев был уязвлен и потрясен. Он долго не хотел ни с кем говорить об этом.

Со временем Хрущева стала обуревать жажда деятельности. Неожиданно для родных он увлекся фотографированием. Обеспечив себя фотопринадлежностями, Хрущев добился немалого мастерства в фотографии. Правда, он оставался очень ограничен в выборе объектов. Чаще всего это была сама природа: поле, ветки

деревьев, цветы, птицы. Однако и теперь главным увлечением Хрущева оставалось возделывание земли — сад и огород.

Гордостью Никиты Сергеевича стали помидоры. В 1967 г. он сумел вырастить около 200 кустов помидоров особого сорта с плодами до килограмма весом. Хрущев не ленился вставать еще до восхода солнца — в 4 часа утра, чтобы полить эти чудо-помидоры. Большую часть их он не успел убрать, неожиданные ранние заморозки погубили урожай. Хрущев тяжело переживал это стихийное бедствие. Он не мог жить без экспериментов. Так, например, он увлекся гидропоникой, то есть выращиванием овощей без земли. Заказав трубы нужного диаметра, Хрущев, в прошлом опытный слесарь, несмотря на «преклонный возраст» и «состояние здоровья», сам гнул эти трубы и высверливал в них отверстия.

В первые годы Хрущев страдал от одиночества, его навещали в Петрово-Дальнем только близкие родственники. Постепенно круг людей, с которыми встречался Хрущев, стал расширяться. К нему приезжали некоторые из пенсионеров, знавшие его еще по работе на Украине. Дважды навестил Хрущева поэт Евтушенко, несколько часов провел в Петрово-Дальнем драматург Шатров, которому Хрущев сказал о своем желании написать мемуары. Шатров был очень удивлен при личном общении как простотой и здравым смыслом Хрущева, так и незнанием некоторых элементарных фактов нашей истории и общественной жизни. Навестила Хрущева приемная дочь Луначарского Ирина Анатольевна. Именно Хрущев разрешил открыть в Москве музей-квартиру Луначарского, о чем давно и бесплодно хлопотала семья наркома.

В соседнем поселке имелся дом отдыха, и Хрущев часто заходил на его территорию. Его сразу же окружали отдыхающие, и их беседы затягивались порой на несколько часов.

Кроме соседнего дома отдыха Хрущев во время своих прогулок заходил и на поля близлежащих колхозов и совхозов. Однажды он заметил небрежно и плохо возделанное поле. Он попросил позвать бригадира, который пришел вскоре с председателем артели. Хрущев довольно резко, но справедливо начал ругать их за плохую агротехнику. Руководители колхоза сначала немного растерялись, но затем председатель колхоза, задетый,

видимо, не столько резкостью, сколько справедливостью замечаний, грубо ответил Хрущеву, что он, дескать, уже не глава правительства и нечего ему вмешиваться не в свои дела.

Хрущев долго затем переживал этот эпизод как большую неприятность. Однако в целом отношения Хрущева с колхозниками и рабочими соседних деревень были хорошими.

Однажды в соседнее село приехали крестьяне из другой области. Узнав, что рядом на даче живет Хрущев, они подошли к забору. Сделав что-то вроде подставки, они заглянули через высокую ограду. Хрущев в это время что-то делал на своем огороде.

— Не забижают ли тебя здесь, Никита? — спросил один из стариков.

— Нет, нет,— ответил Хрущев.

При выборах в Верховный Совет или местные Советы Хрущев приезжал в Москву. Он всегда принимал участие в голосовании по месту прописки. Участок, где Хрущев был зарегистрирован как избиратель, заполнялся в день выборов иностранными корреспондентами, которые приезжали посмотреть на Хрущева и задать ему несколько вопросов. Но теперь он избегал пространных разговоров с корреспондентами.

75-летие Хрущева прошло в стране незамеченным. Правда, Хрущев получил из-за границы много телеграмм, в том числе от де Голля, английской королевы, от Яноша Кадара.

С годами Хрущев стал более критически относиться к себе и своей деятельности. Он признавал немало своих ошибок. Но и здесь имелась граница. На многие упреки он отвечал твердо, что так должен был поступить коммунист и что он умрет как коммунист. Представление о том, каким должен быть настоящий коммунист, сложилось у него в 20-е годы.

В 1967 г. у Хрущева произошел первый после отставки конфликт с властями. Во Франции был показан небольшой телевизионный фильм о том, как Хрущев проводит свое время на пенсии. С одним из родственников к Хрущеву приходил кинорепортер с небольшой кинокамерой. Это вызвало недовольство. Была заменена охрана дачи, а ее прежние работники понесли, вероятно, наказание за недостаток «бдительности». Хрущева пригласил к себе член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Андрей Кириленко. В прошлом секретарь одного из об-

комов партии, Кириленко был обязан своим выдвижением именно Хрущеву. И вот теперь Кириленко начал грубо выговаривать Хрущеву, заявляя при этом:

— Вы еще слишком хорошо живете.

— Ну и что ж,— ответил Хрущев,— вы можете отобрать у меня дачу и пенсию. Я могу пойти по стране с протянутой рукой. И ведь мне-то подадут. А вот тебе не подадут, если ты пойдешь когда-либо тоже с протянутой рукой!

60-е годы были десятилетием мемуаров. Хрущев с интересом читал издававшиеся в СССР мемуары, иногда критиковал и поправлял авторов.

Огорчили его изданные в 1969 г. мемуары Г. К. Жукова. Жуков часто встречался с Хрущевым и до войны, и в годы войны. Жуков стал командующим Киевским военным округом, когда Хрущев возглавлял партийную организацию республики. Но Жуков ничего не писал о встречах с Хрущевым, ограничившись упоминанием, что как глава округа он «счел своей обязанностью представиться секретарям ЦК КП Украины... и встретил самое доброжелательное отношение».

Ничего не писали о Хрущеве и авторы других мемуаров, опубликованных после 1964 г., хотя они стали много и охотно писать о своих встречах и беседах со Сталиным. Если же речь шла о Хрущеве, то он превращался в анонимного «секретаря ЦК». Все это лишний раз укрепляло Хрущева в мысли о написании собственных мемуаров. Это желание становилось все сильней. Хрущев не любил писать лично, он привык диктовать. Поэтому он обратился в ЦК с просьбой выделить для него машинистку-стенографистку. Просьбу отклонили, однако Хрущев был не из тех людей, которые отступают в подобных обстоятельствах.

Он начал надиктовывать свои воспоминания на магнитофон. Это были первые наброски, черновики, записи, которые велись без определенного плана и без заботы о литературной форме. Работа становилась, однако, все более интенсивной, она увлекла Хрущева. Создавалась определенная система. С пленки черновики записей перепечатывались на бумагу специальной машинисткой. После этого записи редактировались, приводились в порядок, располагались в соответствии с хронологией и снова перепечатывались. Хотя Хрущев наговорил на пленку около 180 часов, это являлось только началом.

И вдруг «сенсация» — в США вышел в свет первый том мемуаров Хрущева. Через несколько лет там издается и второй том. Из объяснений издателя стало ясно, что он получил в свое распоряжение не отредактированную рукопись, а магнитофонную пленку с голосом Хрущева. Каким образом эта пленка попала за границу, если первоначальная запись продолжала храниться в семье Хрущева? Значит, имелась и вторая запись, вторая пленка. Но кто ее делал и где?

Во всяком случае, публикация первого тома мемуаров Хрущева стала не только сенсацией для Запада, но и неожиданностью для самого Никиты Сергеевича. Эта публикация была объявлена фальшивкой. Хрущев был вызван в ЦК КПСС к председателю Комитета Партийного Контроля и члену Политбюро Арвиду Пельше. Разговор оказался резким. Хрущев здесь же написал краткое заявление, которое на следующий день появилось в газетах. Впервые с осени 1964 г. в печати появилось имя Хрущева. Никита Сергеевич решительно отрицал, что он передавал какому-либо издательству свои мемуары, и осуждал их публикацию. Однако в заявлении не отрицался сам факт существования мемуаров.

Еще летом 1970 г. у Хрущева произошел первый сердечный приступ, и он на несколько недель попал в больницу. Осенью начались переживания по поводу мемуаров. Очевидцы рассказывали, что Хрущев вышел из кабинета Пельше, держась за грудь. Здоровье Хрущева пошатнулось, и он уже не возобновлял работы над своими воспоминаниями.

С наступлением теплых дней 1971 г. Хрущев все меньше работал и на своем огороде. Порой он по нескольку часов сидел неподвижно в своем кресле. В начале сентября Хрущев навестил дочь Раду и зятя Алексея Аджубея на их даче. Вместе с садовником (и охраной) Хрущев пошел в лес. Он порывался собирать грибы, но быстро устал. Потом ему стало плохо, он попросил садовника принести с дачи раскладной стул и долго сидел в лесу. Вскоре он уехал в свой дом в Петрово-Дальнем. Сердечный приступ не проходил, и родные по настоянию врачей положили Никиту Сергеевича в больницу. На следующий день он скончался. Это произошло днем 11 сентября 1971 г. Хрущеву шел 78-й год.

Слухи о смерти Хрущева несколько раз возникали еще в те годы, когда он находился у власти. Однажды сообщение о его смерти было опубликовано в несколь-

ких иностранных газетах. На следующий день Хрущев провел небольшую пресс-конференцию и шутя сказал:

— Когда я умру, я сам сообщу об этом иностранным корреспондентам.

Однако теперь ни жена, ни дети Хрущева не смогли сразу же сообщить друзьям о его кончине. Советские люди ничего не узнали о смерти Хрущева ни вечером 11 сентября, ни в течение всего дня 12-го. Лишь утром 13 сентября, в день похорон, в «Правде» появилось краткое сообщение:

«Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с прискорбием извещают, что 11 сентября 1971 года после тяжелой, продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался бывший Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев».

Никакого некролога напечатано не было, не сообщалось также о месте и времени похорон.

Конечно, от родных и близких Хрущева многие люди в Москве узнали о его смерти еще до сообщений газет. Стало известно, что похороны будут проходить в 12 часов дня на Новодевичьем кладбище. Уже с раннего утра сюда стали подходить люди. Преобладали пожилые, но много было и молодых. Я также подошел к Новодевичьему монастырю к 10 часам утра. Среди собравшихся имелось немало знакомых мне старых большевиков, вернувшихся в Москву из лагерей после XX съезда партии. Однако еще раньше на всех подходах к кладбищу появились усиленные наряды милиции и люди в штатском, монастырь и кладбище были оцеплены войсками внутренней охраны. Никого не пропускали, а на воротах висела большая надпись: «Санитарный день».

Около половины двенадцатого в оцеплении раздались какие-то команды, и милиция быстро освободила от людей проезжую часть улицы. Показалось несколько мотоциклистов, но не со стороны Погодинской или Пироговской улиц, а снизу, со стороны набережной. Московские набережные всегда малолюдны, и маршрут траурного кортежа был определен так, чтобы не привлекать внимания.

Конечно, все журналисты, оказавшиеся на похоронах, описали это событие в своих репортажах. Корреспондент «Вашингтон пост» Роберт Кайзер, например, писал:

«Я присутствовал на похоронах Хрущева. КГБ постарался, чтобы простых граждан не подпускали к Новодевичьему в тот сырой и серый осенний день. Были только переодетые агенты, иностранные журналисты, родственники и несколько близких друзей. Из новых правителей не пришел никто, но ЦК и Совет Министров сообща прислали большой венок. Прислал венок и Анастас Микоян, тихо живущий в почетной отставке. Преемники Хрущева явно хотели, чтобы проводы его из этого мира прошли как можно незаметнее.

Однако некоторый драматизм в событие удалось внести 36-летнему сыну Хрущева Сергею, работающему инженером. Вскоре после того, как открытый гроб установили на платформе возле могилы, Сергей поднялся на кучу вырытой земли и обратился к толпе с речью. Мы все стояли неподалеку в узких проходах между соседними могилами.

— Мы просто хотим сказать несколько слов о человеке, которого хороним сейчас и которого оплакиваем,— начал он.

Потом замолк на минуту, собираясь с силами. Губы его дрогнули. «Небо плачет вместе с нами,— сказал он (закапал мелкий дождь).— Я не буду говорить о великом государственном деятеле. В последние дни газеты всего мира уже высказались об этом. Я не буду оценивать вклад, который внес Никита Сергеевич, мой отец. Я не имею права на это. Это дело истории... Единственное, что я могу сказать,— что он никого не оставил равнодушным. Есть люди, которые любят его, есть и такие, которые его ненавидят. Но никто не мог пройти мимо него, не обернувшись... От нас ушел человек, имевший полное право называться человеком. К сожалению, настоящих людей среди нас немного...»

Когда все, кто хотел, прошли мимо гроба, плачущая жена Хрущева коснулась рукой лба своего мертвого мужа. Остальные родственники сделали то же самое. Затем рабочие закрыли гроб и заколотили его. Над могилой стоял человек с красной подушечкой в руках, к которой были приколоты все 27 хрущевских наград, в том числе и самые высшие. Гроб опустили в могилу».

Следует привести еще одно воспоминание — Эрнста Неизвестного. Он позднее писал:

«После похорон Хрущева ко мне приехали сразу два человека — это был сын Хрущева Сергей, с которым я до этого не был знаком, и сын Микояна, тоже Сергей,

с которым я дружил и который поддерживал меня в самые трудные дни. Они вошли, осмотрелись и долго мялись. Я сказал: «Я знаю, зачем вы пришли, говорите». Они сказали: «Да, вы догадались, мы хотим поручить вам сделать надгробие». Я сказал: «Хорошо, я соглашаюсь, но только ставлю условие, что я буду делать, как считаю нужным». На что Сергей Хрущев ответил: «Это естественно».— «Я считаю, что художник не может быть злее политика, и поэтому соглашаюсь. Вот мои аргументы. А какие у вас аргументы: почему это должен делать я?» На что Сергей Хрущев сказал: «Это завещание моего отца».

Открытие памятника происходило под дождем в одну из годовщин смерти Хрущева. Были все члены его семьи и корреспонденты, была охрана. Никого не пускали на кладбище.

В день своего 70-летия, после вручения ему знаков отличия Героя Советского Союза, Н. С. Хрущев выступил с краткой речью, в которой сказал:

— Смерть для некоторых политических деятелей иногда наступает раньше их физической смерти.

Он не подозревал, что скоро это произойдет с ним самим.

Хрущев потерял свою популярность еще в последние годы власти. И в годы его вынужденной отставки не было в стране ни одной общественной группы, которая хотела бы его возвращения. В эти годы он, в сущности, перестал существовать как политически значимая фигура. Однако в последние 10—15 лет интерес к личности и политической деятельности Хрущева непрерывно растет. Растет и понимание непреходящего значения того коренного поворота в политике КПСС, Советского Союза и всего коммунистического движения, который связан с именем и деятельностью Хрущева. При всех своих недостатках Хрущев оказался единственным человеком в окружении Сталина, способным произвести этот поворот. В годы его власти в СССР было реабилитировано более 20 миллионов человек, хотя многие из них посмертно. Это одно перевесит на весах истории все недостатки и «грехи» Хрущева.

Аргументы и факты, 1988, № 47

Г. Федоров

ПРОВОДЫ...

Официальное сообщение о смерти пенсионера союзного значения, бывшего Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева было опубликовано в газетах только в день его похорон.

...Хмурым сентябрьским утром 1971 г. мы с женой отправились на Новодевичье кладбище на похороны Никиты Сергеевича Хрущева. Никакого официального объявления о дне, месте и времени похорон опубликовано не было, но мы узнали, когда и где будут похороны. Когда мы подходили к Новодевичьему кладбищу, то уже задолго до подступов к нему были поражены огромным количеством войск. Десяток грузовиков, крытых брезентом и битком набитых солдатами, которых было видно со стороны заднего борта, стояли вокруг Новодевичьего кладбища. Бегали офицеры, по рации кричали: «Тринадцатый, ты слышишь? Говорит первый! Прием» и так далее. Было такое ощущение, что этот район Москвы не то оккупирован какими-то воинскими частями, не то какие-то войска собираются выступить в поход. А дальше располагались кольцом вокруг кладбища как бы несколько цепей. Тут были различные милицейские чины, а ближе всего к кладбищу стояли люди в штатском. Среди них было и некоторое количество офицеров в военных формах Министерства внутренних дел с голубыми кантами. На внешнем кольце милицейской цепи жались кучки людей, которых не пропускали к кладбищу. Время от времени кто-нибудь из этих людей тщетно пытался пройти, но их довольно грубо отбрасывали назад. Я подошел к этой цепи и спросил у ближайшего милицейского офицера: «Кто у вас здесь главный?» Он показал мне па немолодого уже полковника милиции. Я подошел к этому полковнику и сказал ему: «Товарищ, мы с моей женой знакомы с дочерью покойного Радой Никитичной, и было бы странно, чтобы в такой день мы не были бы там, возле нее. Пропустите нас, пожалуйста». Он спросил меня: «Вы действительно с ней знакомы?» Я ответил: «Да, действительно». Он махнул рукой и сказал: «Ну что ж, проходите!» Мы прошли, причем — неожиданная удача — миновали сразу несколько кордонов. Я решил использовать этот уже оправдавший себя прием и в

последней заставе. Обратился к ближайшему человеку, который в этой цепи стоял. Он был в плаще типа «болонья», лет тридцати, и я сказал ему: «Пропустите меня, пожалуйста...» Он тут же прервал меня и отрезал: «Нет, не пропущу». Я рассердился: «Ну как же так, вы не знаете, кто я и почему мне нужно пройти. Вы даже не выслушали меня», на что он мне ответил: «Мне это безразлично. Я все равно вас не пропущу». Я сказал: «Ну вот, вы не знаете, кто я, а я теперь уже имею отчетливое представление о том, кто вы такой». Неожиданно он улыбнулся и пробурчал: «Ну что ж, проходите». Мы прошли и оказались перед наглухо закрытыми железными воротами кладбища, закрыты были не только ворота, но и калитка. Оказалось, что и там стоит заграждение. Справа на стене висела бумажка, на которой красным карандашом было написано: «Кладбище закрыто. Санитарный день». Время от времени кто-нибудь из иностранных корреспондентов стучал в железную калитку, кричал, от какой он газеты или журнала. Калитка приоткрывалась, его пропускали, и калитка снова захлопывалась. Перед воротами оказалось человек пятнадцать таких же, как мы с женой, прошедших через кордоны. Стражи же все находились по другую сторону ворот. Я предложил: «Давайте не будем пропускать этих корреспондентов. Что им, больше нашего, что ли, надо там быть?» Мы действительно перестали их пропускать, даже подпускать к калитке. Они кричали, шумели, но мы их не пускали. Вдруг прибежал какой-то генерал, который спросил, в чем дело, что за шум. Кто-то из нас сказал: «Как в чем дело? Мы на похороны пришли, а нас не пропускают». Генерал постучал в калитку и назвался. Калитка открылась, и он приказал: «Немедленно всех пропустить».

Мы прошли. Народу было не очень много. Около 60 корреспондентов, кажется, только иностранных. Как все корреспонденты в мире, они были озабочены лишь тем, чтобы раздобыть побольше информации, побольше заснять своими кинокамерами, фотоаппаратами и записать на магнитофоны. Стрекотали камеры, щелкали затворы фотоаппаратов, раздавался разноязыкий и разноголосый, странный для кладбища гул. Кроме того, было еще человек двести, среди которых немало людей с сединами. В толпе оказалось и несколько наших друзей и знакомых. Немало было и людей, на лицах которых видно было, что они перенесли много страданий. Пола-

гаю, что это были бывшие репрессированные. Среди них мы заметили, например, сестру командарма Якира — Бэллу Эммануиловну.

Семидесятисемилетний Никита Сергеевич лежал в гробу на возвышении, окруженном венками и цветами. В ногах у него находились красные подушечки с тремя Звездами Героя Социалистического Труда * и орденами. Лицо его было значительным, таким значительным и спокойным, каким мне не доводилось видеть его на страницах газет и журналов, на экранах кино и телевидения. Высокий мощный лоб, волевые скулы. Казалось, на лице его запечатлелась какая-то важная дума, которой так и суждено было остаться тайной. Рядом стояли члены его семьи, жена Хрущева, Нина Петровна. Она была в сером пальто, с черной кружевной накидкой. Лицо ее, очень простое, открытое, бесхитростное, чем-то очень привлекательное, было залито слезами. Тут же стояла Рада Никитична с каким-то отрешенным взором. Казалось, что ей очень холодно. Рядом находился высокий мужчина. Он был очень похож и на отца, и на мать, и ясно было, что это Сергей Никитович Хрущев. Тут же стоял Алексей Аджубей с красивым, несколько припухшим и замкнутым лицом.

Выступил какой-то человек. Из-за стрекотания кинокамер, которые репортеры поднимали над головами, из-за их бесцеремонных разговоров слов его я не расслышал и постарался пробраться поближе, что мне в какой-то мере и удалось. Потом выступил Сергей Никитович. Его речь из-за общего шума (а говорил он без микрофона) я слышал только обрывками. Он сказал, что отец его в течение длительного времени занимал ответственные партийные и государственные посты. Оценка его деятельности принадлежит суду истории. Он же может сказать, что Никита Сергеевич желал добра людям и был очень хорошим, любящим мужем и отцом. Затем заговорила старая уже женщина, и, хотя она говорила очень тихо, слова ее почему-то были отчетливо слышны. Она сказала: «Я работала с Никитой Сергеевичем с 1926 года, и мне очень хорошо с ним работалось. В 1937 году я была арестована и заключена сперва в тюрьму, а потом в лагерь и только после XX съезда освобождена и реабилитирована. От имени мил-

* Н. С. Хрущев был трижды Героем Социалистического Труда и Героем Советского Союза.

лионов людей, замученных безвинно в лагерях и тюрьмах, которым ты, Никита Сергеевич, вернул доброе имя, от имени их близких и друзей, от сотен тысяч, которых ты освободил из страшных мест заключения, прими нашу благодарность и низкий тебе поклон. Я понимаю, сколько мужества, смелости и желания восстановления справедливости для этого понадобилось. Мы будем помнить об этом до конца жизни, расскажем нашим детям и внукам». После этого распоряжавшийся похоронами человек в штатском, но с явной военной выправкой сказал: «Прошу прощаться с покойным. Только быстро, товарищи, не задерживайтесь». Присутствующие прошли вокруг гроба, подгоняемые замечаниями штатских стражей порядка, выстроившихся вокруг. Я увидел среди венков и цветов венок с надписью: «Никите Сергеевичу Хрущеву от А. И. Микояна». Тут нас снова оттеснили корреспонденты. Через короткое время я все же увидел, что гроб поспешно опускают в заранее вырытую могилу и засыпают. Не успели еще даже могилу закидать землей, как оркестр сыграл Гимн Советского Союза и распорядитель не то предложил, не то приказал: «А теперь расходитесь, товарищи».

Но никто не уходил.

Мы продолжали стоять под моросящим дождем. Через некоторое время Нине Петровне, видимо, стало дурно. Она пошатнулась. Сергей подхватил ее. Вызвали машину, которая подошла почти к самой могиле. Нину Петровну усадили в машину, и она вместе с Сергеем уехала. Мы подошли к Раде Никитичне. Выразили ей свое глубокое сочувствие, я поцеловал ей руку. Она как-то отрешенно поблагодарила нас и пошла совсем одна.

После того как увезли Нину Петровну, напряжение, которое было среди собравшихся на кладбище, спало. Мы пошли к выходу. Когда вышли за ворота, то увидели, что все заграждения и все кордоны на месте, а толпа на внешнем их обводе еще увеличилась. На месте оставались и грузовики с солдатами. Уж очень кто-то, видно, боялся каких-то возможных, уж не знаю, беспорядков, что ли, эксцессов в связи с похоронами персонального пенсионера союзного значения.

...В соответствии с занимаемыми постами Н. С. Хрущев должен был быть похоронен в Кремлевской стене или возле нее. Но те, кто распоряжался его судьбой и после смерти, решили, что он сего недостоин, что нуж-

но это наглядно показать и потому похоронить его на одном из городских кладбищ, правда одном из самых престижных. Но результат-то получился прямо противоположный тому, что было задумано. Ведь у Кремлевской стены, охраняемой и вполне официальной, редко кто бывает, а вот могилу Н. С. Хрущева оставили народу, для которого он так много сделал. Тут спорили и вспоминали. Случалось, и поругивали, но чаще вспоминали с благодарностью. На пасху клали на могилу крашеные яйца, другую традиционную пасхальную снедь.

А потом над могилой установили памятник, созданный Эрнстом Неизвестным. Это было в пору, когда всеми способами пели бесстыдную хвалу Л. И. Брежневу, превозносили его до небес, а Хрущева если поминали, то только с негативными оценками и эпитетами. Э. Неизвестный, с которым Н. С. Хрущев имел в свое время столкновение на выставке в Манеже, принял заказ на памятник от семьи Никиты Сергеевича, с которым он уже давно помирился. Эрнст говорил мне в пору работы над памятником: «Покойный при жизни испортил мне несколько лет, теперь сделает это и после смерти, но заказ я выполню, я сам этого хочу. Он сто́ит того».

Довольно скоро новые властители поняли, что дали маху, похоронив Н. С. Хрущева в доступном для народа месте. Думаю, что не в последнюю очередь и поэтому было принято типичное для эпохи застоя решение: взять да и закрыть кладбище для посетителей, для всех, кроме имеющих специальные пропуска.

Огонек, 1988, № 33

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АДЖУБЕЙ Алексей Иванович — журналист, зав. отделом журнала «Советский Союз», в 50—60-е годы был главным редактором газет «Комсомольская правда» и «Известия».

АКСЮТИН Юрий Васильевич — кандидат исторических наук, доцент МВПШ.

АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович — бывший посол СССР в Республике Куба.

БОВИН Александр Евгеньевич — журналист-международник, политический обозреватель газеты «Известия», в 1963—1972 гг. был на ответственной работе в ЦК КПСС.

БОЛОТИН Александр Юрьевич — журналист.

БУРЛАЦКИЙ Федор Михайлович — доктор философских наук, профессор, политический обозреватель «Литературной газеты», в 1959—1965 гг. был на ответственной работе в ЦК КПСС.

БУРТИН Юрий Гиршевич — литературный критик, ст. редактор издательства «Советская энциклопедия».

ВАЛОВОЙ Дмитрий Васильевич — доктор экономических наук, профессор, зам. главного редактора газеты «Правда».

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей Андреевич — поэт.

ВОЛОБУЕВ Олег Владимирович — доктор исторических наук, профессор МВПШ.

ВОРОНОВ Геннадий Иванович — в 1961—1973 гг. был членом Президиума и Политбюро ЦК КПСС, в 1962—1971 гг.— Председателем Совета Министров РСФСР.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Лев Николаевич — журналист, экономический обозреватель АПН.

ГРАНИН Даниил Александрович — прозаик, драматург.

ГРОССМАН Василий Семенович (1905—1964) — прозаик.

ЗЕРЧАНИНОВ Юрий Леонидович — журналист, зав. отделом журнала «Юность».

КОБЫШ Виталий Иванович — журналист-международник, политический обозреватель газеты «Известия».

КОНДРАШОВ Станислав Николаевич — журналист-международник, политический обозреватель газеты «Известия».

КУЛЕШОВ Сергей Владимирович — доктор исторических наук, профессор, руководитель кафедры МВПШ.

ЛЕВАДА Юрий Александрович — доктор философских наук, зав. отделом ВЦИОМ.

МАТЛИН Анатолий Михайлович — доктор экономических наук, профессор, руководитель кафедры ВЗПСТ.

МЕДВЕДЕВ Рой Александрович — кандидат педагогических наук, историк, публицист.

МЕСЯЦЕВ Николай Николаевич — кандидат юридических наук, сотрудник ИНИОН АН СССР, в прошлом комсомольский и партийный работник, дипломат, возглавлял Государственный комитет по радиовещанию и телевидению.

МИКОЯН Серго Анастасович — доктор исторических наук, главный редактор журнала «Латинская Америка».

МИРСКИЙ Георгий Ильич — доктор исторических наук, профессор, сотрудник ИМЭМО АН СССР.

МИХАЛКОВ Сергей Владимирович — поэт и драматург, председатель правления СП РСФСР.

НАГИБИН Юрий Маркович — прозаик, драматург.

НОСОВ Евгений Иванович — прозаик.

ПАВЛОВ Сергей Павлович — посол СССР в Бирме, в 1959—1968 гг. был первым секретарем ЦК ВЛКСМ.

ПЕТРОВ Михаил Владимирович — журналист, соб. кор. газеты «Комсомольская правда».

РАЙЗМАН Юлий Яковлевич — кинорежиссер.

РОММ Михаил Ильич (1901—1971) — кинорежиссер и сценарист.

СЕМЕНОВ Юлиан Семенович — прозаик, драматург.

СЕМИЧАСТНЫЙ Владимир Ефимович — в 1950—1958 гг.— секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1958—1959 гг.— первый секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1961—1967 гг. возглавлял КГБ СССР.

СИМОНОВ Константин Михайлович (1915—1979) — поэт, драматург, в 1946—1954 гг. был заместителем генерального секретаря правления СП СССР, в 1950—1954 гг.— редактором «Лите-

ратурной газеты», в 1952—1956 гг.— кандидатом в члены ЦК КПСС.

СТРЕЛЯНЫЙ Анатолий Иванович — прозаик.

ФЕДОРОВ Георгий Борисович — доктор исторических наук, писатель.

ХОДОС Мирон Миронович — в начале 60-х годов был главным инженером раздела «Строительство» ВДНХ СССР.

ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич — композитор, первый секретарь Союза композиторов СССР.

ХРУЩЕВ Сергей Никитич — доктор технических наук, зам. ген. директора Института электронных управляющих машин.

ШЕЙНИС Виктор Леонидович — доктор экономических наук, сотрудник ИМЭМО АН СССР.

В подготовке материалов, включенных в сборник, участвовали также Г. Жаворонков, А. Козырев, Р. Лынев, Д. Макаров, Ф. Медведев, И. Перов, Д. Рунге, В. Тупикин, В. Устюжанин, В. Федоров, Д. Фирсова, А. Шевелев.

СОДЕРЖАНИЕ

«Они смогли снять меня простым голосованием...»

Никита Сергеевич
ХРУЩЕВ

Материалы к биографии

Заведующий редакцией В. М. Подугольников
Редактор Н. Б. Чуканова
Младший редактор Н. В. Квашун
Художник Б. Г. Попов
Художественный редактор Е. А. Андрусенко
Технический редактор Т. А. Новикова

ИБ № 8181

Сдано в набор 01.11.88. Подписано в печать 16.01.89. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 20,16. Уч.-изд. л. 20,17. Доп. тираж 100 000 экз. Заказ № 7345. Цена 2 р. 20 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Трудового Красного Знамени тип. изд-ва «Звезда». 614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.



2 р. 20 к.

